

Октябрь

НОВЫЕ ИМЕНА

16

РАССКАЗОВ

И

ОДНА

ПОВЕСТЬ

С Новым годом!

12 2002

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

12 2002

В Н О М Е Р Е

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Новые имена

Андрей ЕФРЕМОВ. **Любовь и доблесть Иохима Тишбейна.** Рассказ. * Дмитрий НЫРКОВ. **Стихи** *
Ольга БЕЛОВА. **За голубыми небесами.** Рассказ *
Алексей РАДОВ. **Сказки.** * Евгения РИЦ. **Стихи** *
Ольга ШЕВЧЕНКО. **Звезда.** Рассказ *
Дарья ВАРДЕНБУРГ. **Случаи медвежат.** Рассказы *
Марианна ГЕЙДЕ. **Иван Григорьев.** Рассказ *
Гала РУДЫХ. **Такой устойчивый мир.** Рассказ *
Екатерина КАЗИМИРОВА. **Стихи.** * Александр ЩЕРБАКОВ.
Пах антилопы. Повесть * Дмитрий БЛОХИН. **Стихи** 3

Лариса ВАНЕЕВА.
Горькое врачество. Рассказы 124

Михаил ПОПОВ.
Любимец. Измышление 135

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Путевой Журнал

Андрей БАЛДИН. Алексей ПРОКОПЬЕВ.
Конькобег. Гармонист. Ведущий рубрики Андрей Балдин 142

Светлана АКСЕНОВА-ШТЕЙНГРУД. Кто мы? Диалоги в «Диалоге»	171
Ирина ЛИПОВЕЦКАЯ. Воспоминания для настоящего	177
	<i>Золотой метр</i>
Кирилл КОБРИН. Музей	180
	<i>Русское поле</i>
Рубрику ведет Павел БАСИНСКИЙ	184
	<i>Титульный лист</i>
Рубрику ведет Александр ЯКОВЛЕВ	188

Главный редактор
Ирина БАРМЕТОВА

Редколлегия:

Алексей АНДРЕЕВ	<i>зам. гл. редактора</i>
Инесса НАЗАРОВА	<i>отв. секретарь</i>
Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ	<i>зав. отделом критики</i>
Виталий ПУХАНОВ	<i>отдел прозы</i>
Афанасий МАМЕДОВ	<i>исполнительный директор</i>

Общественный совет:

Леонид Баткин, Алексей Варламов, Борис Васильев, Андрей Вознесенский, Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Карякин, Давид Кугультинов, Юнна Мориц, Анатолий Найман, Владислав Отрошенко, Олег Павлов, Людмила Петрушевская, Леонид Филатов, Юрий Черниченко, Родион Щедрин, Сергей Юрский.

Из общего тиража каждого номера Министерства культуры Российской Федерации выкупает для библиотек России 362 экземпляра журнала.

Адрес редакции: 125040, Москва, А-40, ул. «Правды», 11/13.
Телефоны: главный редактор – 214-62-05, заместитель гл. редактора – 214-63-64, ответственный секретарь – 214-34-44, отдел прозы – 214-51-68, отдел поэзии – 214-62-05, отдел критики – 214-71-34, отдел публицистики – 214-60-24, приемная редакции – 214-31-23.

© «Октябрь». 2002. Электронная версия журнала <http://magazines.russ.ru/index.html>
При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Редакция не имеет возможности
рецензировать рукописи и возвращать их по почте.

Учредитель – трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».
Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Компьютерная верстка – Лидия Синицына.

Подписано к печати 21.11.02. Формат 70x108/16.
Печать высокая. Усл. печ. л. 16,8. Учетно-изд. л. 21,6.
Тираж 4500 экз. Заказ № 2519. Цена свободная.

Отпечатано с оригинал-макета в ФГУП
Издательство «Известия» Управления делами Президента РФ.
101999, ГСП-9, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Новые имена

Более двадцати лет «Октябрь» ежегодно отдает страницы двенадцатой книжки журнала молодым. Рубрика «Новые имена» годами служила местом встречи начинающего автора со своим читателем.

Развитие сети Интернет, современные технологии книгоиздания только на скорый взгляд упростили путь авторов – создали иллюзию их присутствия в литературе. Преодолеть рубеж неизвестности, прозвучать в нашем, свободном от цензуры времени, стать «новым именем» – сложно, как и было всегда.

Многолетний опыт работы с молодыми писателями дает коллегам возможность отбирать произведения, наиболее полно отражающие состояние нарождающейся литературы. Основу рубрики «Новые имена» составляют работы, отобранные из редакционной почты. Кроме того, «Октябрь» на своих страницах представляет творческие результаты Форума молодых писателей, прошедшего во второй раз в Москве в середине октября этого года под эгидой толстых журналов и Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, где собрались более 150 авторов со всей страны. Устроители ставили своей целью преодолеть культурную разорванность центра и провинции. Как бы ни сложились в дальнейшем творческие судьбы молодых писателей, участие в Форуме поможет им осознать себя единым поколением. В рубрике также присутствуют работы соискателей премии «Дебют». Мы стремимся составить подборку рассказов и стихотворений так, чтобы она была разнообразна не только интонациями и сюжетами, но и географически – авторы проживают в Москве и Санкт-Петербурге, Челябинске и Нижнем Новгороде, Липецке и Владивостоке, Уфе, Сергиеве Посаде и Переславле-Залесском.

В атмосфере несмолкающих разговоров о разрушенном национальном менталитете мы наблюдаем, как вопреки всему растет новое поколение творческих людей, с интересом всматривающихся в жизнь, умеющих видеть в ней то подлинное, что поможет преодолеть интеллектуальную растерянность.

Андрей ЕФРЕМОВ

Любовь и доблесть Иоахима Тишбейна

РАССКАЗ

Я, Иоахим Тишбейн, немецкий литератор, должен сказать вам, господин журналист, что не верю ни одному вашему слову. Я не верил вам уже тогда, когда вы явились ко мне в первый раз с удостоверением своего журнала. Нелепая выдумка – кому, в самом деле, интересно, когда и как майор-связист Иоахим Тишбейн стал писателем? Читателям журнала это неинтересно ни в каком случае.

Тридцать лет я не устаю изумляться терпеливому вниманию публики к творческим выделениям своей персоны. И уж совсем не могу взять в толк: зачем этой публике подробности моего литературного анамнеза?

Но это было интересно лично вам, и на это я попался. Допускаю даже, что своей идеей вы заморочили голову главному редактору только для того, чтобы увидаться со мной. Надеюсь, что я не сильно разочаровал

вас. Надеюсь также, что главный редактор не догадается, что за счет журнала вы удовлетворяли свое любопытство. Что касается меня, то поначалу я хотел солгать. В том не было бы греха, поскольку ложь для писателя естественна, но мне на беду вы всерьез растревожили мою память. Знай я, что вы бывали в Петербурге, я бы просто отказался от встречи!

А вот за то, что вы прочли наизусть кусок моей прозы из «Дневников монарха», вам не поздоровится! Неужели вы не понимаете, что это все равно, что обольстить невинную барышню с матримониальным психозом обещанием немедленно жениться? Ну да уж теперь что говорить... Тем более что с разговором о моем писательстве снова вернулась надежда понять, что же произошло тогда в Петербурге.

Мой батальон стоял на Фонтанке.

Жестокая несуряница двадцать первого века в том и состоит, что всякому катаклизму проныры из высших сфер успевают придать вид запланированных мероприятий. Жертвы и убытки не так страшны, когда за ними видится привычная фигура нерасторопного, вороватого и не слишком умного чиновника. Наши беды традиционны, как разливы Нила, а стало быть, нечего о них и толковать.

Однако сарказм мой скорее всего неуместен. Имею ли я право предположить, что стоящие над нами могут, но не хотят? Вероятнее всего, эти господа страдают более распространенной формой импотенции и безысходное хотение общего блага причиняет им некоторые искупительные страдания. Мне даже кажется, что они понимают неразрывную связь каждого последующего катаклизма с предыдущим, и тогда их хлопоты приобретают благородный оттенок лжи во спасение. Кто знает, не благодарим ли мы когда-нибудь их за это сравнительно безболезненное погружение в пучину бедствий? Уж мне-то, во всяком случае, не на что жаловаться.

Так вот, мой батальон стоял на Фонтанке.

Думал ли я, что когда-нибудь забуду имена тех начальствующих лиц, чьим распоряжением немецкие связисты заняли два симметричных особняка около городского цирка? И вот забыл, забыл безвозвратно. Но уверенно свидетельствую: цирк не прерывал свои веселые мессы ни на один день, и это, безусловно, говорит о том, что причиной нашего размещения в Петербурге была не война. Нет, не война. Но в ту пору мой кузен Отто Вольцов *бесповоротно* обошел меня по службе, и любой шаг командования вызывал у меня глубокое, ледяное, всепоглощающее презрение. Вот это презрение и стало виной тому, что в памяти моей не сохранилось и следа дипломатических маневров, следствием которых стало наше водворение между памятником великому русскому царю и городским цирком. Решетчатые антенны тропосферной связи окружали великого Петра, и мне порою казалось, что у грозного императора вот-вот лопнет терпение и твердой рукой он положит конец всей нашей суете.

Командование хоть и не догадывалось о моих тревогах в связи с опасным нравом императора Петра (если, конечно, я не ошибался и не путал его с каким-нибудь другим царем), все-таки на свой лад позаботилось о нашей безопасности. Мне и моим офицерам предписано было не разгуливать без особой нужды по улицам Петербурга в форме. Бессмыслица! Идея насилия, аккумулированная в офицере, лишь немногим опаснее той же самой идеи, скрытой в учебнике по тактике. Если бы учебник тактики умел произносить команды, в отставку пришлось бы подать даже моему кузену Отто Вольцову. Рядовой – вот за кем стоит настоящее насилие. Это он превращает колебания воздуха в залпы, бомбежки и штыковые удары. Только в его присутствии существование офицера приобретает смысл, предусмотренный уставом.

Так вот, это русские коллеги догадались, что именно солдатам не следует слоняться по улицам. Потому-то и наружную охрану наших симметричных особняков несли русские.

В первый же день, когда установился этот порядок, произошло невинное совпадение. Внутри здания у турникета стоял ефрейтор Штауфен, не без умысла определенный мною на этот пост. Когда же в восемь часов утра русский ефрейтор заступал на пост с уличной стороны входной двери, я слышал своими ушами: «Ефрейтор Валуа пост принял». Мне бы тогда задуматься об этом.

Теперь уже я вспомнил совершенно точно: мой батальон стоял на Фонтанке.

Я квартировал на Шпалерной улице в одном из тех дворов, которые устроены, как сообщающиеся сосуды. Мое двухкомнатное жилье хранило запах пищи ушедших поколений, и я в безрассудной надежде распылил пару баллончиков дезодоранта. Вековые запахи приняли в свою семью индустриальное благоухание, и теперь я вдыхал все вместе.

Мне полагался автомобиль, и каждое утро он дожидался меня у парадной. Мне полагалось ехать к месту службы в автомобиле.

Я отпускал машину, выходил на набережную и шел к Летнему саду. Кораблик «Аврора» стоял у меня за спиной, шпиль с ангелом светился впереди. Еще и ангел осенял этот город! Я же был в форме. Я был в форме всегда. Теперь уж можно сознаться: я был в форме именно потому, что от меня требовали хождения в гражданском.

Так вот, я проходил сквозь Летний сад, а навстречу мне шли такие же, как я, утренние безумцы. Кое-кто бормотал себе под нос, кое-кто каждое утро прочитывал надписи у подножия статуй, а один мужчина лет сорока останавливался каждые десять метров, задирает голову и глядел сквозь ветви. Потом я узнал, что от него убежал кот и теперь он ищет, не поселился ли неблагодарный в заброшенном гнезде.

Осенью мы останавливались на минутку у костров, где сжигали все, что успело засохнуть за лето. Это была наша жатва. Мы были как члены тайного ордена. Ордена взирающих и проходящих мимо. И моих товарищей по ордену – да! – нисколько не смущала немецкая форма.

В симметричных особняках меня встречали рапортами, и всегда мой автомобиль стоял у тех дверей, куда я положил войти первым делом. Это дьявольская проницательность моего шофера чрезвычайно томила меня, и пару недель я отчаянно сопротивлялся его всеведению. Дойдя до огромной каменной вазы при выходе из Летнего сада, я подбрасывал пятирублевую монету и в соответствии с выпавшим или невыпавшим орлом начинал службу справа или слева от памятника царю. Все зря! С нужной стороны уже стоял автомобиль, и Ранке, склонив голову на левое плечо, дремал за рулем. Теперь я понимаю, что эту штуку с мирным увальнем Ранке проделывал город, но тогда ярился необычайно. Все мне что-то казалось. Чудилось мне в поведении Ранке что-то несовместимое со статусом рядового. Он не смел угадывать мои действия – вот и все.

В один прекрасный день я вышел утром из смрадного подъезда, махнул Ранке перчаткой, а сам нагнулся перевязать шнурок. Ранке медленно переполз в следующий двор, а я, злясь на весь свет, кинулся за ним. В чем я собирался уличить своего водителя?

В третьем дворе Ранке притормозил, и в ту же минуту из подъезда вышла девушка и уверенно уселась рядом с моим водителем. «Ранке!» – сказал я вполголоса. Мотор заглох, шофер вытянулся у открытой двери, и только девушка как ни в чем не бывало рылась в сумочке.

– Здравствуйте! – сказал я, усаживаясь позади.

Вот тут она меня заметила. Серые с прозеленью глаза обежали мой мундир.

– Вы тоже едете? – дерзко удивилась она.

Глядя Ранке в затылок, я отчитал его. Наша гостья между тем и не думала покидать автомобиль. Тогда я спросил Ранке, давно ли он подрабатывает таким образом и как он успевает всякий раз оказаться на месте раньше меня. Тут Ранке всплеснул руками и сказал искренне и горячо,

что он клянется своей матушкой. Однако возникло молчание. Рядовой словно бы выбирал, в чем ему сознаваться под флагом родной матери. В конце концов он решился, вздохнул с тоненьким взвизгом и сказал, что сидящая рядом с ним фрау (вот как, оказывается – фрау!) служит совсем неподалеку и он без труда успеваает подвезти ее.

– Ну ладно, – сказала наша пассажирка, – я виновата. Но если он все время ездит пустой, разве это преступление?

Объяснять ей строгие нелепости военной службы было бы глупо, я снова поглядел Ранке в затылок. Затылок стал лиловым, и он сказал, что нет, за все время он не взял с пассажирки ни гроша. Тут она, наконец, закончила поиски в сумочке, вскинула на нос очки и спросила, долго ли будет длиться семейная сцена.

– Времени у меня в обрез. Чем слушать ваше непонятно что, я лучше пойду пешком. Я ненавижу ходить пешком, но я пойду. А вы молчите, если не можете сказать то, что хочется! Что бы вы делали, не будь у вас этого несчастного? – Она повернулась и ударила свирепым взглядом в многострадальный затылок Ранке.

– Езжайте, Ранке, – сказал я.

– Куда? – спросил Ранке пересохшим голосом.

– Куда подрядились, – сказал я ему тихо, но он-то мою ярость понял прекрасно.

Мы сделали два поворота, объехали вытоптанный садик с площадкой для игр и остановились перед двумя роскошными фонарями у входа в какое-то учебное заведение. Вполне довольная пассажирка справилась с дверцей и ушла, не захлопнув ее. По моим часам выходило, что мы потратили на дорогу полторы минуты.

– Как ее зовут? – спросил я.

– Клянусь матушкой! – сказал Ранке в отчаянии. Нет, это было не моральное разложение вверенных мне войск, это было гораздо хуже. Я поднажал на Ранке и, наблюдая, как меняет цвета его затылок, выслушал всю историю падения.

В один из первых дней отпущенный мной Ранке, как и сегодня, въехал в третий двор, и тут у него заглох мотор. А надо сказать, что мои пешие прогулки водитель воспринимал как скрытую форму недоверия, и заглохший мотор, как ему казалось, мог послужить причиной полного краха военной карьеры. Он стоял в отчаянии, и тут появилась наша знакомая. Ситуацию она поняла моментально, и робкая душа Ранке сдалась без сопротивления. Она сказала, что двигатель заработает, и будет работать без перебоев все время, пока он станет возить ее на службу. При этих словах мотор действительно завелся, а потрясенный Ранке поклялся матушкой.

Когда они приехали на место и солдат понял, как дешево он купил свое благополучие, русская дама захотела еще и вознаградить его за стоворчивость. Кое-как складывая немецкие слова, она сказала, что теперь удача будет сопутствовать Ранке, если он, возвращаясь к месту службы, будет ставить машину в точном соответствии с ее словами. И каждое утро она говорила ему, справа или слева от памятника Петру следует ставить автомобиль. Я чуть не надавал Ранке по шее.

День прошел ужасно. Мало того что вышел из строя резервный канал связи с Берлином. Стоило мне начать распекать виновного в этом безобразии лейтенанта Фогеля, как в цирке тут же оглушительно затрубил слон. И с кем бы я в этот день ни начинал разговор, рано или поздно слон принимался трубить. В конце концов я надел фуражку, вышел на улицу и велел Ранке ехать.

Мы чудом избежали смерти на двух перекрестках. Наконец забились в тишайшую улицу на Петроградской стороне и долго стояли там, пригнувшись к тротуару.

– Послушайте, Ранке, – сказал я, когда молчание водителя приобрело какой-то истерический оттенок, – я не могу поверить, что вы не знаете,

кто она, как ее зовут и что она делает в этом учебном заведении. Какой вы, к дьяволу, солдат, если молодая, хорошенькая дама (ведь она хорошенькая, Ранке?) пользуется вашими услугами и остается чем-то вроде призрака.

– Ох! – Ранке начал трясти коленкой. – Ох, я боялся! Я боялся, что вам не понравится ее имя. К тому же слоны сегодня кричали весь день. Да, она хорошенькая. Очень. Но ее зовут Агния. Господин майор, я чуть не сошел с ума, когда закричали слоны. Я вам клянусь, это она устроила, чтобы они кричали!

– Нет, Ранке, это я клянусь сделать с вами не знаю что, если вы не перестанете трястись. У меня никогда не было и не будет трясущегося водителя!

Ранке успокоился, и мы тихонько проехали безлюдную улицу из конца в конец. Рядом с краснокирпичным зданием он остановился по собственному почину и проговорил удивительно твердо:

– Прошу позволить и дальше. Прошу позволить и дальше возить русскую даму по ее надобности.

– Людвиг Ранке, вы сошли с ума! Вы что, всерьез думаете, что это она заставила трубить слонов? Она что, колдунья?

– Господин майор, она художница. Но слоны, господин майор, – это тоже она.

А все-таки настроение у меня поднялось. Если Ранке думает, что слоны по его части, пусть так и будет. Пусть слоны останутся за ним.

Вечером я зашел в Елисейский магазин и купил бутылку русского коньяку. Я прожил в Петербурге почти семь месяцев и каждый день покупал провизию. Интересно, что во время этой процедуры прочие покупатели смотрели на меня с неодобрительным удивлением. Неужели русские полагают, что немецкому офицеру не следует интересоваться пищей? И вот теперь в Елисейском я впервые ощутил на себе одобрительное внимание стоявших у прилавка людей. Коньяк – вот что пристало немецкому офицеру в России.

Уже в прекрасном настроении я явился к лейтенанту Фогелю. Бедный юноша думал, что утренний разнос будет продолжен, но левой рукой я достал из кармана плаща коньяк, а в правой руке тусклой электрической желтизной засветился лимон, и все недоразумения забылись. Фогель радовался мне так искренне, что раскаяние за утренние распекаания тут же шевельнулось, но это уж было совсем не к месту. Резервный канал связи с Берлином это резервный канал связи с Берлином, и не нужно сюда замешивать ничего сверх положенного.

Хозяйство лейтенанта Фогеля оказалось не в пример налаженной моего. Рюмки были не какие придется, а коньячные, нож был отточен так, что лимон без едких брызг и усилий разошелся на прозрачные колесики, к тому же у молодого офицера нашелся молотый кофе, и я показал ему, что такое настоящий «Николашка». Клянусь, мне было бы обидно, не оцени он эту закуску, но он оценил!

– О! – сказал он. – Просто и впечатляюще. И как надежно задана пропорция кофе и соли. Наш курсовой командир полковник Шлегель говорил об этом рецепте перед выпуском, но подробности скрыл.

– Шлегель подробностей не знает. Разрешаю сообщить ему по электронной почте. К тому же оцените, как вам повезло: вы закусываете коньяк по рецепту несчастного последнего русского императора в его столице. Это чего-нибудь да стоит!

Мы выпили половину бутылки и, не надоев друг другу, расстались в начале одиннадцатого часа. Я шел берегом Фонтанки, из Летнего сада доносились осенние запахи. И по мере того, как из головы выветривался хмель, приходило ощущение мучительного присутствия неразрешенного вопроса. В какой-то момент я чуть не повернул назад к Фогелю, но быстро сообразил, что Фогель тут не при чем, и ходил я к нему не за этим.

Я вошел во двор, поднялся к себе и лег. В середине ночи меня разбудил холод. Я закрыл форточку, лег снова, но заснуть не смог. В воспоминаниях о прошедшем дне был пропуск. Я не мог вспомнить лица Агнии. Стоило мне сделать попытку сосредоточиться, тут же появилась физиономия Ранке. «Ранке, – спросил я, отчаявшись избавиться от настойчивого видения, – какого цвета волосы у вашей русской приятельницы?» Она явилась тут же. В серо-зеленых прозрачных глазах билась ярость. «Я ему не приятельница!» Да, она была темноволосой.

После алкогольных застолий мне не спится. Эти юнкерские забавы чреватые мерзким утренним привкусом во рту, незаслуженными угрызениями совести и какой-то злокачественной жаждой. Я выстоял минуту под нестерпимо горячим душем, пустил холодную воду и несколько секунд наслаждался, ощущая оживающие мышцы. Теперь даже в заляпанном облаками небе над двором появилась голубая жилка. Однако надо было что-то предпринять, что-то осталось несделанным со вчерашнего дня, и теперь я не мог вспомнить. Я подумал, что если к прогулке по Летнему саду добавить обход Марсова поля, то затерявшееся во вчерашнем дне вспомнится. Холодные осенние утра имеют для меня поистине целебную силу. Всего-то и нужно: идти, не торопясь и размеренно.

И тут все вспомнилось. И трясущийся Ранке, и его дурацкая просьба, и слоны трубящие... Вместо утренней прогулки предстояло исследование состояния моего водителя. Да, как ни был хорош Летний сад в начале октября, я не мог оставить без внимания вчерашнюю галиматью. Своего психотерапевта в батальоне не было, значит, придется обращаться в консульство...

Людвиг Ранке подъехал раньше обычного, и я немного потомил его. Он сидел в машине и гадал, не опоздал ли он, а я стоял у окна в кухне и глядел на серую крышу моего авто. Потом я надел пилотку, решив, что нынешнему утру и осенней форменной куртке она подходит больше, чем фуражка, и вышел.

Чтобы вернуть Людвига в обычное состояние, достаточно было махнуть рукой и отправиться в Летний сад. Но тогда осталось бы неизвестным, какую власть успела забрать над ним госпожа Агния. Темноволосая госпожа Агния.

Я трижды обошел свою машину, и решение пришло. Как офицер немецкой армии я обязан был разобраться, что сулит нам этот неожиданный контакт с местным населением.

– Доброе утро, Ранке, – сказал я, усаживаясь. – Представьте себе, что я вас отпустил, и действуйте соответственно. Действуйте так, словно вчерашнего дня не было.

Если бы Ранке мог по-настоящему забыть, он бы наверняка испустил какой-нибудь торжествующий звук. Я видел в зеркале, как на его физиономии разошлись все узлы и складки. Мы медленно переехали в другой двор и встали, где и вчера.

– Ей случается опаздывать? – спросил я Людвига.

– Всегда, – ответил тот. – Однажды я показал ей на часы, и она не разговаривала со мной целую неделю.

– Вы врете, Ранке. Вы не говорите ни слова по-русски.

– Господин майор, говорила она. Я слушал. Иногда, пока мы едем, она успевает сказать что-то по-немецки. Вот позавчера: «*Liebster, Dich wundert die Rede? Alle Scheidenden reden wie Trunkene und nehmen gerne sich festlich...*»

Тут отворилась бородавчатая дверь, и госпожа Агния остановилась, глядя на нас. Приятно было уже то, что она смотрела на нас с удивлением. Я медленно вышел из машины, с оттяжкой распахнул перед нею заднюю дверцу.

– Вас не поймешь, – сказала она, – но раз так, спасибо.

И глаза казались еще светлей от темных волос. Я спросил ее: знает ли она, что военный транспорт – это нечто особенное? Она рассеянно улыбнулась и сказала, что никогда не думала об этом. Автомобиль наш вильнул. «Не говорите с ней, – шепнул Ранке, – вот я ни слова не понимаю, а руки так и отнимаются». Я достал из кармана монету, подбросил ее. Вышло начинать службу с правой стороны. Потом мы приехали, Агния улыбнулась Ранке в зеркальце, обошла машину, просунула руку в приоткрытое окно, коснулась правого плеча Людвиг и ушла.

– Ранке! – напал я на несчастного шофера, – Что это значит?

– А знаете, господин майор, нынешние молодые дамы не говорят такими голосами.

– Ранке, с какой стороны вы оставите машину сегодня?

– Она дотронулась до правой руки.

– Я отправлю вас под арест.

– Нет, все будет в порядке! Только нужно делать, как сказала она.

Лицо у Ранке было застывшее, как у сомнамбулы.

Я еще успел поймать момент, когда она подходила к огромной двери, и вдруг понял, что мне страшно не хочется видеть, как она, упираясь, будет тянуть на себя эту махину с изумрудными пятнами патины. Я уже сделал движение, чтобы выскочить из автомобиля, холодея в то же время от того, что не успею подбежать к двери хотя бы одновременно с ней. Но госпожа Агния остановилась, распахнула сумку, без спешки извлекла оттуда клочок бумаги, провела бумагой по носку туфли, выпрямилась и пошла дальше. Тем временем два молодых человека успели обогнать ее, расстворили дверь, и она прошла за ними, слегка раскачивая левую руку. Молодые балбесы не поняли ничего, я же остался потрясенный. Гармония сегодняшнего утра была спасена.

– Ранке, на набережную!

Тяжелая, страшная Нева лежала меж каменных берегов.

– Людвиг Ранке, поставьте машину слева!

Я отпустил его и дважды обошел Летний сад. Ветер перелетал понижу, и сохшиеся листья скребли землю. Морозов, которые у русских называются утренниками, еще не было, но шаги уже звучали по-новому, и звук их был, как вспышки осенней синевы в облаках.

Когда я вышел из-за памятника Петру, оказалось, что Ранке поставил машину справа! Я решил оторвать ему голову, не откладывая. Но в машине его не было. Я прошел в здание, принял рапорты, выслушал Фогеля (резервный канал связи с Берлином был совершенен), потом потребовал посыльного и приказал найти Ранке живым или мертвым.

Через полчаса Ранке был доставлен. Его физиономия выражала готовность к страданиям.

– Делайте со мной что хотите.

– Ах, так! А как же насчет того, что все будет в порядке, если делать, как она сказала?

– Делайте со мной что хотите, все равно у вас ничего не получится.

Наверное, взгляд мой выражал многое, потому что Людвиг пустился в объяснения. Коротко говоря, суть объяснений сводилась к тому, что госпожа Агния – ведьма.

– Да?

– Да. У меня нюх. Вот и моя берлинская бабка была ведьма. А какие ведьмы в России, вы, господин майор, и представить себе не можете.

– Значит, если поставить машину не так, как она скажет, тебе придется худо?

– Нет, господин майор, если вы меня заставите, то вам и достанется.

– Значит, ты заботишься обо мне?

Ранке скроил пасторскую мину, и я отослал его. Результаты: во-первых, я вступил в сговор с мракобесом-водителем, во-вторых, разговор с госпожой Агнией становился неизбежен. Что же до ведьмы-бабки из Берлина, то я решил вызнать об этом поподробнее, когда события улягутся.

В восемнадцать часов двадцать минут, после того, как ночная смена операторов заступила, я вышел на улицу и наткнулся на лейтенанта Фогеля. Лейтенант горел желанием продолжить вчерашнюю пирушку, и мне пришлось без лишней строгости, но твердо объяснить ему, что если наши пиры станут привычным делом, то это самым неблагоприятным образом отразится на резервном канале связи с Берлином. Фогель опечалился, но не слишком. Подозреваю, что сменившийся с дежурства лейтенант Бауман охотно составил ему компанию.

В восемнадцать часов тридцать минут я стоял напротив гигантских дверей, где скрылась утром госпожа Агния, и ждал. Если учесть, что я понятия не имел, что она делает в этом здании, во сколько у нее заканчивается рабочий день и каков стиль жизни у художников в России, то ожидание мое было безрассудным. Однако я не простоял и десяти минут, как она вышла. Между нами было около двух десятков метров, и я наконец разглядел ее всю. Я разглядел ее так, что мне, помнится, самому стало неловко. Мне стало неловко до того, что я почувствовал биение крови в кончиках пальцев. Тем временем госпожа Агния рассеянно оглядела улицу и медленно двинулась через дорогу. Я думал, что сердце мое разорвется, когда черный «Мерседес», вильнув, объехал ее. И вот она остановилась передо мной.

– Да что же вы на меня так смотрите? – проговорила она. – Нельзя на людей так смотреть. Я увидела вас из окна, мне худо стало.

– Я боялся, что вас уведут.

– Вот еще! Разве я собачка? Это собачек приводят и уводят.

– Да! – сказал я с неуместным восторгом.

– Ох! Скажите лучше, не меня ли вы тут поджидали? Это очень плохо. Неужели вы отдали под суд своего шофера и собираетесь сделать меня свидетельницей?

Я решил покончить с Ранке раз и навсегда и сообщил ей о подозрениях моего водителя относительно ее сущности.

– Очень, очень хорошо! – сказала она совершенно серьезно.

Я почувствовал, что земля уходит у меня из-под ног.

– Здесь кафе, – сказал я. – «Бибигон». Очень странное название.

– Ладно, – сказала она, – я объясню вам, в чем тут дело.

Мы сидели за круглым столом со столешницей зеленоватого стекла, и я старался не смотреть на ее колени. В конце концов я пустился на хитрость: купил коробку конфет и поставил ее между нами. Теперь я смотрел Агнии в лицо, и в голове у меня стоял не то чтобы туман, а какая-то неразбериха с гулами, звонами и раздвоением моей спутницы. Вот эти расплывающиеся картины я запомнил с изумляющей точностью и должен уточнить, что раздвоение Агнии состояло вовсе не в появлении второго такого же образа. Этого я, пожалуй бы, тогда не выдержал. Раздвоение состояло в отделении голоса от телесного облика. Она сидела передо мной печальная, безмолвная и прекрасная, а голос ее обволакивал меня непреодолимой истомой. В голосе Агнии заключалась тайна, едва ли известная ей самой. Эти вибрации, сводившие меня с ума, а на первых порах даже и до невменяемости, всегда заключали в себе нежность. Агния могла гневаться, могла рассказывать про Бибигона, могла находиться на грани обморока – нежность не покидала ее голос никогда. Если сейчас, спустя тридцать лет, я домысливаю некоторые подробности той жизни, реконструирую их, то голос Агнии звучит у меня в мозгу точно так, как звучал в подвале «Бибигон». Когда я стану умирать, я заговорю голосом Агнии. Это очень может быть.

Помню, что ее объяснения касательно Бибигона привели к тому, что мы заказали что-то из индюшатины и бутылку «Мерло». Выпив вина, я почувствовал, что пора и мне сказать хоть что-то. Однако в смятенном сознании не нашлось ничего, кроме подозрений и предостережений Ранке. Удивительно, как благосклонно выслушала Агния эти бредни. Она ска-

зала, что Ранке ей был симпатичен с первого дня, что он добр и что не смотря на внешнюю простоту в нем таится изюмина.

– Дайте мне честное слово, господин Тишбейн. Вы разузнаете у своего шофера все, что он знает про берлинских ведьм. И что берлинские ведьмы знают про русских ведьм.

Я поклялся выковырнуть из Ранке его изюмину.

– А знаете что, – сказала Агния, когда мы шли вдоль Гагаринской к нашим дворам. – Я никогда не прохаживалась с офицером. Смешно?

Я поклонился ей у пупырчатой двери, она рассеянно улыбнулась и скрылась.

Ведьмы! Никогда не слышал ничего интересней! Русские ведьмы не уступают берлинским. И это, без сомнения, так. Я велю Ранке чаще мыть автомобиль.

Я миновал наши сообщающиеся сосуды и вышел на Шпалерную. Сверкающая улица, как гигантский рельс, уходила в сторону Смольного собора. Боже мой, как Агния смеялась! И пальцы, перебегающие по столу. Когда она вставала из-за стола, совершая одновременно множество мелких, незаметных посторонним движений, я ощутил долгий мучительный укол в сердце. Отчего же это? Тогда-то я и осознал, что обручальный ободок светится у нее на пальце.

Я стремительно прошелся до Литейного и обратно. Должно быть, ее муж – средоточие всех достоинств. Я не хотел бы с ним знакомиться, но уверен, что это непременно так. Я очень надеюсь, что он не сочтет оскорблением утренние появления Ранке за рулем моего авто. Ранке нельзя заподозрить ни в чем. Он будет возить Агнию, и пусть это считается данью моего почтительного восхищения. И все, что я узнаю про ведьм, тоже будет почтительной данью...

Но в один прекрасный день ее муж тоже захочет, чтобы его довозили до службы. И будет совершенно прав, потому что иначе это вызов. А я готов. Я все устрою так, что ни у кого не будет вопросов. А сам буду по-прежнему каждое утро гулять в Летнем саду. Помнится, у меня даже слеза навернулась от этих размышлений.

– Герр Тишбейн, – раздалось рядом, – вас пьянит петербургская осень. – Мой сосед по лестничной площадке раскачивался у меня за спиной, и непонятно было, как он умудрился подкрасться незамеченным. – Не поддавайтесь, герр Тишбейн, истребляйте ее хмель алкоголем. Без пощады! Иначе вы пропадете здесь, как в сельве. Вот как я.

Еще некоторое время он раскачивался, потом махнул рукою и поплелся домой. Я дождался, пока он хлопнет дверью, и тоже вошел в парадную. Помню, у меня мелькнула мысль, что через три дня полнолуние. Мысль была не праздная. Лейтенант Фогель держал со мной пари, что в полнолуние пропускная способность резервного канала возрастает необычайно.

Я не спал ночью. Потому-то и остолебенел, когда, выйдя из парадной, уткнулся в свой автомобиль. Полночи я беседовал с воображаемым Ранке и теперь не мог понять, почему он здесь, почему он не ждет Агнию в соседнем дворе. У меня хватило выдержки не накричать на водителя. У меня хватило ума отличить реальность от ночных галлюцинаций.

– Ранке, – спросил я, – что вы говорили о берлинских ведьмах?

Ранке попытался тут же выскочить из машины, но я придержал дверцу.

– Потом. Как-нибудь вы зайдете ко мне и расскажете про свою берлинскую бабушку все, что знаете. А теперь – езжайте. Езжайте, езжайте, госпожа ждет.

По-моему, он боялся, что я отменю свое прежнее распоряжение. Чем Агния нагнала на него такого страха? А впрочем, пусть. Теперь-то я узнаю всю подноготную берлинских ведьм.

Я уже прошел Летний сад до половины, когда моя машина выскочила на набережную. Агния, надо полагать, проспала, а может быть, Ранке уже

отвез куда-нибудь ее мужа. Машина взлетела на мост и скрылась в Садовой улице. Я поймал себя на том, что мне совершенно безразлично, по какую сторону от Петра поставит Ранке машину. Потом я вспомнил пари с Фогелем и удивился, насколько безразлично мне пропускная способность резервного канала в полнолуние. Хотя ожидание полнолуния приобрело новую волнующую окраску. Все дело в ведьмах! И тут впереди я услышал отчаянный плеск и ругань. На берегу круглого пруда у выхода из сада омерзительный человек, схватив лебедя за тонкую шею, тянул его из воды. Кричать лебедь, понятно, не мог, он лишь бил крыльями, а омерзительный человек ждал только момента, чтобы свернуть ему шею.

– Это прекратить! – крикнул я сверху, поскольку пруд Летнего сада находится в значительном углублении. Человек плюхнул лебедя в воду, но не выпустил белой шеи. – Немедленно это прекратить! – Я пустился бегом к месту поединка. Когда я волнуюсь, мой русский становится плох.

Похититель разглядел меня, перехватил птицу левой рукой и решил, что готов к встрече. А вот это было заблуждение, проистекающее единственно из того, что рост мой не дотягивает до метра семидесяти. Я подскочил к негодю и ударил его ногой по лодыжке. Он вскрикнул и повалился в воду. Лебедь величаво отплыл в сторону, а бродяга назвал меня «падлой германской» и проворно вылез из пруда.

– Мокро, – сказал он с укоризной. – А ведь холодно! – И быстро припустил куда-то. Как видно, и у него был угол, где можно было сожрать лебедя, а на худой конец высушить одежду.

С утра в симметричных особняках был почтовый день. Солдатские письма стопами дожидались меня на столе. Разумеется, я не читал их. Глупо и непорядочно читать солдатские письма, не имея к тому оснований. Чтобы знать, что все идет нормально, достаточно убедиться, что сегодня солдат отправляет письмо по тому же адресу, что и месяц назад. Я пропускал письма перед глазами, и все было обычно, пока очередь не дошла до конверта панического розового цвета. Так и есть – Ранке. Адрес на конверте был берлинский, а между тем наш Ранке – парень из Лейпцига и писал он обыкновенно только туда. Мне вдруг стало весело. Это письмо в Берлин, несомненно, адресовано сведущей в ведьмах бабушке, и не позднее, чем через две недели, я получу от Людвиг Ранке полновесный отчет о ведьмах на родине и исчерпывающие предположения о ведьмах в России. Потом пришел Фогель напомнить о нашем пари, потом пришел Ранке и сказал, что он не может ездить на русском бензине, потом позвонили из консульства и сказали, что будет вечер, посвященный дружбе. Я так и не понял, о чьей дружбе шла речь, но уверенно солгал, что болен. Консульский голос посоветовал выпить водки. «Господин майор, водка помогает решительно от всего!» Я обещал выпить. Потом в цирке затрубил слон, и я пошел проводить строевой смотр. Батальонное каре стояло вокруг памятника и на фоне замка выглядело очень внушительно. Я сказал солдатам, что они разболтались, посулил дисциплинарные возмездия, но они все, как один, тарачились на Петра Великого. Рушилась дисциплина! Тогда я распорядился устроить пятисотметровый пробег в противогозах и вернулся в кабинет.

Нет, конечно, нет! У Агнии не могло быть совершенно зеленых кошачьих глаз. Тут какая-то обольстительная видимость. Пожалуй, свет был не тот или еще что-нибудь. Если бы увидеть Агнию днем...

Тут явился капитан Гейзенберг и сказал, что у нас катастрофа. У всего батальона оказались вытаснены из противогоза клапаны. Попросту говоря, мое войско превратило противогозы в маскарадные маски, в фикцию. Я скомандовал бежать еще три километра, а капитан Гейзенберг шепнул мне, что один только Ранке не решился обесчестить свой противогоз. Все-таки Ранке – балбес. А капитана Гейзенберга я невзлюбил еще в Веймаре, где формировался мой батальон. Сообщать командиру о тупости его водителя так, чтобы командир отнес эту тупость на счет своих вы-

соких нравственных качеств. Что это такое? На сцену Гейзенберга, на сцену! Вот будет полнолуние, и можно не сомневаться, что Гейзенберг и его причислит к моим достоинствам. Тьфу!

Я отправил Гейзенберга проследить, чтобы клапаны были вставлены в противогазы, а сам закрылся в кабинете и стал писать на листе бумаги «Агния». Я написал ее имя кириллицей двести пятнадцать раз. По одному разу за каждый день жизни в Петербурге. Ведь она же все это время была, хоть я и не видел ее. Это немыслимо – написать человеческое имя столько раз в один присест! Что-то непременно, непременно должно измениться.

Я писал всеми ручками, какие у меня были. Я писал и представлял себе каждый свой день в России. Когда я взял второй лист, каждая надпись уже подавала голос. Зеленые голоса, фиолетовые, красные, черные... В двухсот пятнадцатый раз я написал «Агния» и почувствовал, что умру, если не увижу ее сегодня вечером.

И я не умер. Я примчался к подвальному кафе «Бибигон» и занял вечерашнюю позицию. В тот вечер мимо почему-то то и дело проходили русские офицеры. Мы вскидывали ладони, отдавая честь, и я, конечно, проглядел Агнию.

– О! – сказала она. – О! О! О! Я нарочно стояла на той стороне и не мешала вам отдавать честь. Как это грозно! И как неисчерпаемы запасы чести у офицеров.

Она не смеялась при этом.

– Вы снова увидели меня из окна? Вы догадались, что я жду вас? Скажите, Агния, вам опять стало худо, когда вы меня увидели?

– Я обрадовалась, как дурочка. – Она сказала это строго и грустно. – Было бы очень печально, если бы вы каждый день поджидали другую девушку. – И тут она взяла меня под руку и повела. Но не в подвал к загадочному Бибигону. Мы перешли улицу, переждали поток молодых людей и вошли в тяжелые двери.

– Скажите, я могу называть вас по имени? Это очень хорошо. Если бы вы сказали, что вас можно называть только герр Тишбейн, ничего бы не получилось. В этом не было бы никакой обиды, просто я не могла бы сказать – и точка. – Она, не торопясь, шла впереди, изредка оглядываясь. Идущие навстречу студенты обтекали нас, поглядывали на мою форму.

– Мы пришли, – сказала наконец Агния. – Здесь я работаю. Садитесь.

Я и представить себе не мог, что у художников бывает так грязно. Впрочем, у меня и не было знакомых художников. Я озирался в поисках того места, которое имела в виду Агния, когда велела садиться, и постепенно в этом опасном хаосе проступали черты неизвестного мне порядка. Порядок начинался с огромного стеклянного шара. В нем не было изъянов, и потому он был жутковат. Когда-то в печи перетопили песок и воздух, и теперь желтоватый электрический свет стоял в нем, как воспоминание о страшном пламени, из которого он вышел. Еще три или четыре стеклянных сферы в гнездах, вырезанных из пемзы, стояли на подоконниках и на столах. И завершался переход к нестойкой материальности круглой запывлившейся колбой. Вода до половины уже испарилась из нее, и какое-то мелкое насекомое лежало на поверхности.

Я обернулся к Агнии. Пока я смотрел по сторонам, она набросила сероватый балахон, подпоясалась и смотрела на меня так, как только портной смотрел однажды, когда шил мою первую парадную форму. Тут я обнаружил высокий табурет, не запорошенный гипсовой пылью, и уселся. «Да!» – сказала Агния. Она подняла крышку сундука, скрытого шуршащими рулонами, и достала оттуда нечто удивительное, рассыпающееся. Она встряхнула это, и кудри скрыли ее руки. «Парик?» – удивился я.

– Да, – снова сказала Агния, возлагая на меня эти кудри, – теперь вы – Лефорт. Вы ничего не имеете против швейцарцев? Нет? Чудно. Знаете, Лефорт был хоть и швейцарец, но орел.

– Я похож на Лефорта?

– Не имею понятия. – сказала Агния. – Совершенно этим не интересуюсь. Посмотрела бы я на того, кто скажет мне, что Лефорт был не такой. А я спрошу: какой? А я скажу, что у меня был немец натурщик. Я отведу вас к заказчику. Вы не откажетесь пойти со мной к заказчику в форме?

Агния говорила и дальше, но я лишился способности воспринимать что бы то ни было. Ее пальцы неумоимо двигались над поверхностью, на которой, по-видимому, возникало мое лицо. Но это была одна лишь видимость. Все явственней я чувствовал ее прикосновения к своей коже, она касалась складок, первых морщин над бровями, очерчивала глаза... Была минута, когда от нежных прикосновений в подглазье у меня едва не хлынули слезы. Потом все было заключено в контур, и я почувствовал, как черты моего лица утвердились каждая на своем месте. Все это заняло минут десять, потом раздался треск отрываемого листа, и пальцы снова побежали по моему лицу.

Через полчаса Агния разрешила мне сползти с табурета, заварила чай и сказала, что я первоклассный натурщик.

– Вы не шевелитесь, Иоахим. Вы не дышите и не чешетесь. Для новичка это непостижимо. Но снимите наконец эти чертовы кудри!

Она подошла и сдернула у меня с головы парик. Кажется, тогда же я поймал ее руку. Рука была крепкая, прохладная и маленькая. И вот что еще: она не заметила этого моего поползновения. Поиграла париком, потом мы на скорую руку выпили чай и вышли на улицу.

– Представьте себе, – сказала Агния, – ему, то есть заказчику, взбрело в голову, что он потомок Лефорта. И вот теперь он хочет, чтобы предок был везде. Он заказал мне даже жилетные пуговицы с Лефортом. Вам не обидно, Иоахим, что вы будете на пуговицах?

А я засмеялся. В тот вечер я вообще смеялся больше, чем следует. Агния спрашивала меня, хорошо ли командовать батальоном, – я хохотал, Агния упрашивала меня продекламировать что-нибудь по-немецки – я ржал, как жеребец. Потом смех вдруг кончился. Справа блестела Фонтанка, а над нами стояли наполненные темнотой своды. Я взял руку Агнии, поцеловал ее в ладонь, поцеловал еще, обнял, прижал к себе что было сил и долго целовал в губы. Когда я опомнился, оказалось, что я держу Агнию на весу. Медленно, медленно я опустил ее на асфальт, и мы стояли, тесно прижавшись. Помню, меня поразило, что я не слышал ее дыхания. Спустя минуту или две она поцеловала меня, потом поцеловала еще, и мы пошли к дому. У двери в ее парадное я спросил: закончена ли работа, готов ли облик Лефорта?

– Нет, – ответила она чужим и глухим голосом. – Боюсь, что нет.

И скрылась.

Два дня мы не виделись. Я думал, сердце мое разорвется, но отчего-то не мог решиться просто пойти и встретить Агнию. Стыдно сознаться, но я ждал каких-то знаков. И дождался. На третий день ко мне в кабинет явился Ранке.

– Сегодня госпожи не было. – сказал он. – Уже третий день, – добавил он.

Очевидно, я не совладал с лицом. Ранке сделал движение, которое могло означать только поспешное бегство.

– Отставить!

– Я думал, вы знаете, – пролепетал Ранке. Он сказал, что подъезжал к известному дому все три дня, и все три дня госпожа Агния не выходила. – Она, может быть, уехала в Москву.

Я остолбенел.

– Почему в Москву? Почему?

– А куда здесь еще можно поехать? – удивился простодушный Ранке. – Не в Сибирь же!

Я выгнал его.

Что же я знал? Я знал ее имя, цвет глаз и наверняка узнал бы ее губы, случись мне поцеловать ее еще раз. Но адреса я не знал, адреса! Она, может быть, лежала больная в каком-нибудь ужасном обмороке. Она, может быть, ударилась, падая. Но тут я вспомнил, что там должен быть муж. Не стану гадать, это не принесло мне облегчения, но скорее всего он перевязал Агнию, когда она ударилась, и уложил ее в постель.

Явился торжествующий Фогель и сказал, что пропускная способность резервного канала... та-та-та, бу-бу-бу... А за его спиной стоял Гейзенберг и твердил, что он свидетель, что все так и было, и что пропускная способность, и что полнолуние... Не помню, как я избавился от них.

– Бог, – сказал я, когда закрылась дверь, – Бог, Бог, Бог, сделай так, чтобы Агния была. Чтобы я увидел ее, чтобы она тоже увидела меня! Бог, я никогда ни о чем не просил тебя, так сделай это! Я не верю, что это трудно тебе, Бог!

Не помню, как закончился день, как я оказался дома. Я спохватился, когда в квартире настала совершенная темнота. Тут я и сообразил, что лежу на постели в ботинках и пилотке. Я сошел на пол, включил свет и непонятно зачем поставил чайник на огонь. Впрочем, это было не так уж глупо. Мне предстояло всю ночь провести у дверей Агнии. Когда я заварил чай, раздался звонок, и я с ужасом понял, что Фогель и Гейзенберг явились праздновать победу над резервным каналом связи. Честное слово, у меня мелькнула мысль выброситься в окно. Вместо этого я пошел и отворил.

Спустя некоторое время я перестал удивляться таким вещам, но в тот момент...

Агния глядела на меня из мути лестничного пространства.

Вдребезги, в мелкие осколки разлетелась забытая в прихожей и сброшенная со столика тарелка, телефонный аппарат слетел на пол, ногой Агния отбросила его в сторону, он хрустнул. Мы двигались, тесно обняв друг друга, так что нельзя было дышать. Плечом Агнии я сорвал со стены зеркало, она, пытаясь освободить губы, простонала что-то, и неуклюжим туром мы прошли по серебряному стеклу.

В комнате что-то падало, рушилось навстречу нам, и мы, так и не добравшись никуда, упали в центре хаоса.

«Свет, свет!» – шепнула Агния мне в ухо обрывающимся голосом. И мы, уже неразделимые, поднялись с пола и снова легли в темноте.

«Дай мне чаю», – сказала она. Когда я вернулся из кухни, Агния была уже одета. «Как жаль, – сказал я. – Я хочу увидеть тебя всю. Совсем».

– Этого не хватало! – сказала она сердито. Потом поцеловала так, что я чуть не лишился ума.

Чайник засвистел в кухне.

– Какие мы чудачки! – сказал я. – Все равно ложиться, а мы сидим одетые. Ведь ты останешься у меня?

– Ангел мой, – сказала она, – да как же я останусь?

Утром, едва я вошел в Летний сад, взлетела ракета. Она медленно ползла к неопрятным облакам и рассыпалась тусклой огненной пылью над царскими апартаментами. Милиционер побежал к Лебяжьей канавке схватить злоумышленника и скоро вернулся в одиночестве. «Это был салют, – сказал человек, который разыскивал кота. – Он пустил ракету и лег на дно. Теперь он вылезет из Лебяжьей канавки и пойдет себе. А всем будет говорить, что попал под дождь». Да есть ли в этом городе нормальные люди?

В тот день мы стреляли в тире на Васильевском острове. Лейтенант Фогель, воодушевленный вчерашним выигрышем, снова предложил мне пари: восемь выстрелов из пистолета и по одному магазину из автомата. Да свершится! Я вбил свои пули в центр мишени, как гвозди, похлопал Фогеля по погону и скомандовал отбой. Я отыграл полнолуние.

Вечером я, холодея, встречал Агнию. Я стоял у «Бибигона» полтора часа. Ужас и отчаяние овладевали мной поочередно. Если бы я мог вычленишь из того, что вчера произошло между нами, осмысленные фразы или движения, я бы, конечно, понял, чем разгневал Агнию. Но выделить нельзя было ничего, а стало быть, и вина моя была безмерна. Когда Агния набежала откуда-то сбоку и схватила меня за рукав, я уже мало походил на человека.

– Иоахим! Ах, Иоахим! Зачем ты здесь стоишь?

– Я тебя жду. Но тебя нет.

– У меня насморк! Ты простудил меня на полу. Скажи мне, может быть у человека насморк?

– Я тебя жду.

– Миленький мой, ты ведь уже большой мальчик. Сколько тебе лет? Вот видишь, тридцать шесть...

– Почему ты не позвонила мне?

– Это сумасшедший дом. Ты был на службе, ангел мой! К тому же мы, кажется, разбили твой телефончик.

– Ты лечилась?

Я жульничал. Не об этом, не об этом хотел я спросить Агнию. Как протекает существование того, ради кого блестит на пальце обручальный ободок? Неужели те часы, что Агния провела у меня, не вселили в его сердце тревогу? Неужели он не терзал свою красавицу вопросами? Да кто же он в таком случае?

Я не спросил об этом ни тогда, ни на другой день. Позже я научился тому, чтобы этих вопросов не было вовсе. Они приходили, деликатно приняв обличье боли. В России я и понял, что боль – благо.

– Почему ты пришла?

– Сначала я заплакала и не могла понять, в чем тут дело. А потом прибежала. Раз уж я здесь, пойдем, поработаем.

Я опять сидел на табуретке в душном парике, а Агния рисовала. Карандаш ее скользил, но ощущения прикосновений больше не было.

– О, мой Лефорт! – сказала Агния, подошла ко мне и поцеловала.

Я плохо помню дальнейшее, но, если бы там случился телефон, мы бы его разбили. Был момент, когда я оторвал взгляд от помертвевшего лица Агнии и увидел нас с нею заключенными в огромной стеклянной сфере. Прозрачный шар высылся на расстоянии протянутой руки. Что было причиной, не знаю, но в тот вечер к нам в шар проникли несколько деревьев из Летнего сада. Их кроны выгибались вдоль границы стекла и воздуха, и ключья уличной тьмы лежали меж ветвей.

В темноте, сопротивляясь ветру, мы дошли до симметричных особняков, и я показал Агнии окно своего кабинета.

– Так вот где сидит главнокомандующий, – сказала она.

Потом я показал ей окна солдатских помещений, потом она спросила: – А это кто?

В первом этаже в комнате отдыха за столом сидел Ранке и усиленно писал что-то, прикрывая ладонью рот.

– Иоахим, это твой шофер. Ручаюсь, он пишет что-то необыкновенное.

Я не поверил ей тогда, но Агнию это не расстроило. Она спросила меня, хорошо ли мне командовать батальоном, чувствую ли я себя завоевателем Петербурга и нравятся ли мне блондинки. Я хотел ответить по порядку на все вопросы, но в казарме грянула музыка, и послышались такие вопли, что я оставил Агнию в темноте и скорым шагом приблизился к одному из особняков.

Я обнаружил своею войску, как ангел с пламенным мечом. Конечно, я обнаружил пиво и личность неопределенного пола. По части дежурил Бауман. Что ж, ему было отмеряно полной мерой.

Я вышел к Агнии, и мы пошли домой. В ее дворе мы немного постояли.

– Послушай, Иоахим, заказчик хочет, чтобы Лефорт был изображен в Петропавловке. Мы устроим сеанс через неделю? Ты будешь на фоне Ботного домика. А до этого, миленький мой, я пропаду. И уж ты не делай ничего такого ужасного. Не стой у «Бибигона», как несчастный песик. Я буду думать, как ты командуешь, я буду гордиться тем, что ты полководец.

– Почему ты пропадешь? Где ты будешь?

В свете, падавшем из окон, я увидел, как глаза ее налились слезами.

– Не спрашивай, никогда не спрашивай. Ведь ты большой мальчик. Ведь ты же знаешь, что нельзя совать пальцы в розетку. Ну и не спрашивай.

И я до сих пор не знаю, к добру или к худу, но послушался ее раз и навсегда.

В своих воспоминаниях о Петербурге я останавливался всегда, стоило мне дойти до этого места. Наши дни представлялась мне анфиладой покоев, сквозь которые мы с Агнией провели друг друга так стремительно и жестоко. Створки дней захлопывались, и тогда в Петербурге не было решительно никакой возможности оглянуться назад. Не было, впрочем, и желания. Каждый следующий час, проведенный рядом с Агнией, был настолько превосходнее предыдущего, что этот предыдущий исчезал, таял, оставался в памяти, как неуловимый миг предвкушения. Теперь мне кажется, что месяцы в Петербурге были именно предвкушением, да только я этого не понял тогда.

Но я не зря сказал о днях, которые протянулись перед нами великолепной анфиладой. В тот день, когда я послушался ее, мы на минуточку вступили в помещение, где была крошечная тьма и беззвучие. Что было бы, окажись я не столь послушен? Может быть, в темноте скрывалось начало другого пути? Может быть, мне стоило заупрямиться и заставить ее поискать это начало? Не знаю, не знаю, не знаю.

Все, что происходило между Агнией и мной, можно назвать теми же словами, что обозначают отношения любой пары любовников, но я-то подозревал в своей любимой иную сущность. Не мог я, как глупый индюк, предъявить ей в один прекрасный день ультиматум: «Или будет, как я говорю, или не будет никак!» Я не был рохлей, я просто знал – скажи я это, и она умрет.

Но кто спасется от собственного лукавства? Чем больше проходит времени, тем чаще я думаю, что не великодушие, а трусость правила мною в решительные моменты. До горячечного безумия я боялся потерять Агнию.

Итак, Агнии не было несколько дней. Наверное, это пошло на пользу службе: в ледяном бесчувствии я подтянул лейтенанта Фогеля, ввел хотя бы в какие-то рамки лизоблюдство Гейзенберга и даже умерил застарелый цинизм писарей батальонной канцелярии.

Когда пошла вторая неделя жизни без Агнии, и безумие, бродившее все время где-то неподалеку, стало заявлять о себе уже не только ночными, но и дневными видениями, пришло неожиданное спасение. В проветренном, вылизанном до канцелярской стерильности кабинете, просматривая солдатскую почту, я обнаружил конверт из Берлина, предназначенный Ранке. Буквы на конверте были выписаны от руки и так твердо, что казались вырезанными. Не берусь описать охватившее меня нетерпение. Я распорядился немедленно раздать письма солдатам и стал ждать. В это трудно поверить, но тогда мне казалось, что вот сейчас откроется дверь, войдет Ранке и приведет Агнию. Прошло полчаса, прошел час. Ранке не было. Я почувствовал, что схожу с ума, убрал документы в сейф, запер его и написал записку Ранке. В трех фразах там было сказано все, что он должен передать Агнии. Записку я вложил в конверт и запечатал. И тут мой водитель явился.

– Господин майор! – провозгласил он подобно шпехталмейстеру и подал мне уже знакомый конверт.

– Ранке, – сказал я, – не перескажете ли вы мне послание вашей бабушки?

Ранке сказал, что это невозможно и что, начав читать, я все пойму сам. Я велел ему присесть и извлек из конверта несколько листов бумаги, плотной, как кровельное железо. Я вопросительно взглянул на Ранке, и он сказал, что мне следует читать без колебаний.

«Мой Людвиг! – было написано тем же грозным почерком. – Когда я прочла твое письмо, первой моей мыслью было – мчаться в Россию и спасти бестолкового внука. Но, благодарение Богу, твоя бабушка Клара еще не лишилась разума, и этого разума хватило, чтобы понять, что тебе, бестолковому мальчишке, ничего не грозит. Видишь ли, русские ведьмы тем и отличаются от берлинских, что никому из попавших в их сети не придет в голову просить о помощи. Храни нас Бог!

Значит, ты тут почти не при чем. Так не смей читать, что написано дальше! Надеюсь, ты лучше меня знаешь, кому отдать это письмо.

Твоя бабушка Клара, которая мало занималась тобой во младенчестве».

Я зашел в булочную на улице Чайковского. Едва я взял бублики, за спиною раздался голос:

– Здравствуй, маленький Иоахим. Как ты жил без меня?

Агния стояла передо мной! Глядела как ни в чем не бывало! Я сделал движение, но она отстранилась, и мы благонаравно заплатили каждый за свою снесь.

– Я, может быть, умру, так мне хочется тебя поцеловать. Но сейчас мы будем вести себя хорошо.

– Почему, почему мы должны вести себя хорошо?

– Ах, Господи! Да ни почему. Просто нужно же хоть когда-нибудь. Но вот что. Сегодня пятница. Бывают ли выходные у немецких офицеров?

И тут я узнал, что завтра мне предписывается подняться в определенный час, сидя у окна, дожидаться появления Агнии во дворе, выйти и следовать за ней в двадцати шагах.

– Примерно.

– Из Берлина пришло письмо про ведьм. Бабушка Клара...

– Потом, потом, про бабушку Клару потом.

Она вышла из булочной и пересекла Литейный так, словно ни машин, ни трамваев не было в Петербурге. На той стороне женщина подбежала к ней, они расцеловались и медленно пошли в сторону наших дворов.

Ни свет ни заря я сидел в кухне и глядел во двор. По выходным дням русские спят безудержно, точно надеясь набраться сна на неделю вперед. В пустом дворе один мусорщик перегонял с места на место следы вчерашней жизни. О, как чудовищны в России метлы!

Я чуть не прозевал Агнию. Она прошла под моим окном так, словно не было никакого Лефорта. Я вскочил и с ноющим сердцем кинулся вслед.

Нева была ужасна в тот день. Всякий петербуржец считает ее красивой, а я как увидел эту реку, так сразу и подумал, что в ней топиться хорошо. Вот что.

Река, разливающаяся весной – это грозное зрелище. Но черная вода, вспухающая поздней осенью, – в этом есть что-то адское.

Мы прошли Троицким мостом, по деревянному настилу Иоанновского перешли в крепость, и двадцать назначенных шагов между нами были соблюдены.

Ветер катался меж стен, как гигантский мяч. Агния подставляла ветру мольберт, и ветер бесстыдно подталкивал ее сзади, она перебрасывала желтый чемоданчик в другую руку, ветер забегал спереди, и волосы ее взлетали. Я не выдержал, подошел и забрал чемоданчик.

– Боже! – сказала Агния. – Я уж думала, не дождусь!

– Но двадцать шагов...

– Все, все, все. На пристань.

Ровно пятнадцать минут продолжалось наше рисование на пристани, известной под именем Комендантской. Меня Агния безжалостно выставляла под брызги и ветер, сама укрылась под крепостной аркой и торопливо принялась за работу. Иногда она помахивала мне ладошкой, и я переходил туда, где было больше ветра, но меньше брызг. Потом она подавала другой знак, и я перемещался в тот конец пристани, где преобладала вода и дышать было почти невозможно. Наконец Агния оставила мольберт, встала, подбоченясь, и долго смотрела, как осыпают меня невиские брызги. На том сеанс и окончился.

«Очень хорошо! – сказала мне Агния, – Осталось совсем чуточку».

Упираясь в пружинящий ветер, мы снова прошли сквозь крепость и некоторое время петляли по Петроградской стороне. Агния смотрела на номера домов и чертыхалась сквозь зубы. Иногда она как будто спохватывалась, останавливалась, и мы целовались. Так мы кружили, пока ветер не втянул нас под низкую арку и Агния узнала двор, оживилась и потянула меня к узкому, лишенному двери проему.

Мы вскарабкались по узкой, будто проточенной червем лестнице, и заспанный человек отворил нам. Он тут же засобирился куда-то, хозяин этой студии, но, прежде чем уйти, провел нас в комнату и строго указал на возвышение, где мне следовало находиться. Он походил вокруг меня и сказал, что фактура ничего и что если даром, так и вообще говорить не о чем. Он ушел, и Агния некоторое время тоже разглядывала фактуру.

– Удивительно, – сказала она, – каким ты боком ни повернешься, тебе идет и Нева, и крепость, и город... Знаешь, мой Лефорт, я думаю, что ты лучше настоящего. О, с настоящим я бы разругалась в пух и прах!

Я достал письмо из Берлина и подал его Агнии. Она долго любовалась конвертом и затем сказала, что за такой почерк не пожалела бы десяти лет жизни.

– Таким почерком что ни напиши, все сбудется.

Агния смотрела на конверт, и лицо ее разгоралось. Я все же напомнил ей, что бабушка Клара – ведьма.

– Увы, увы, – сказала она. – Я и сама хотела бы в это поверить, но твой Ранке не ведьмин внук. Но вот что – ты все равно прочтешь мне письмо. Я хочу, я должна знать, от чего тебя предохраняют.

Я думаю, что спешка при чтении письма не требует особых разъяснений. Но скороговорка моя была прервана, как только я прочел первые три фразы. «Вот как! – сказала Агния. – Чего-то вроде этого я и ожидала». Она послушала еще немного и сказала, что подозрения бабушки Клары насчет татарской крови совершенно справедливы, хотя и несколько прямолинейны. «Однако посмотри, какие у меня скулы. Посмотри же, Иоахим!» Потом мы долго подбирали подходящее слово для наилучшей точности перевода. Когда слово было найдено, Агния спросила: «Почему ты не женат, Иоахим?» «Не получилось». «Да», – сказала Агния с каким-то странным удовлетворением. При этом она обращалась к письму. Еще я помню, что она болезненно внимательно слушала кусок о берлинских ведьмах. «Именно так! – сказала она с восхищением. – Именно так! Но ведьмы от этого чахнут».

Каюсь, мы не дочитали письма. Я даже не помню, вынимал ли я его из рук Агнии, даже не заметил, куда оно подевалось. Только бумажный шорох послышался, когда на пол полетела одежда.

Не знаю, сколько прошло времени. Я проснулся, Агния в наброшенном на плечи мундире сидела рядом. Лево́й рукой она осторожно касалась моей груди, а в правой у нее был кинжал. Помню, меня поразило, что в отполированном клинке не отражалось ничего из мелочи и дерева, разбросанной по мастерской. Только небо, стоявшее за окном, мерцало на стали. Я чуть-чуть повернул голову и почувствовал, как отточено лезвие. «Вот какая у тебя жизнь, – проговорила Агния, изумляясь. – Она раз-

будила тебя, стоило мне провести кинжалом у тебя над горлом». «Я не забуду тебя никогда!» «Да, – ответила Агния, – ты будешь жить долго и никак не сможешь забыть меня. Но знаешь, мы квиты: я тоже тебя не забуду». Она соскочила на пол, отбежала к стене и вложила кинжал в ножны, висевшие под неясным фотопортретом. Вот тут Агния по-особенному вскинула голову, и я понял, что на портрете – она.

Мы еще не раз бывали в этой студии, а я так и не решился спросить, что за человек ее хозяин, и почему портрет Агнии на стене, и почему под ним кинжал. Иногда Агния распоряжалась, и я покупал какой-нибудь провизии. Эти дары принимались, но я твердо знал, что приносить пищу по собственной воле нельзя.

Я зазывал Агнию к себе, но она полагала, что мое жильё нашпиговано подслушивающей и подсматривающей электроникой. «Обязательно, – говорила она, – ведь ты же офицер из-за границы». «Но ты была, была у меня!» «Я не владела собой», – назидательно возражала Агния. «А теперь владеешь?» «Не владею. Но зато на известной территории. Представь себе на минуточку: мы заснем, и ты начнешь храпеть. Или еще того лучше – я буду чесаться во сне. Нет. Нет, нет, нет».

Точно так же я не мог уговорить ее пойти в кино или в театр. Из вечера в вечер мы без усталости бродили по расчерченному линиями Васильевскому или по Петроградской. Мы случайно развели несколько крохотных кафе и отсиживались там в плохую погоду. Уже не помню как, но в одном из дворов на Шпалерной мы свели знакомство с тихим сумасшедшим по фамилии Гнутик. Гоша Гнутик был нелегальный гробовщик. Он жил в подвале и делал непостижимо дешевые гробы из чего придется. Клиентов у него было хоть отбавляй, они приезжали в сумерки и бодро расходились из гнутикова подвала с гробами на плечах. Каждый готовый гроб Гнутик испытывал лично. Он забирался в него, покрывался крышкой и спрашивал ошеломленных заказчиков: «Ну как?»

Однажды на наших глазах он собрал гроб из старых вывесок. Окрашенный снаружи гроб стоял на верстаке, и надписи, обращенные внутрь, наполняли его жилое пространство немymi воплями. В подвале у Гнутика пахло лакированным деревом, а мы иной раз приносили бутылку и выпивали за Гошино процветание. В ту пору я уже частенько ходил без мундира, и Гнутик, по-моему, так и не догадался, что я иностранец.

Как-то в субботу, когда мы выходили из подвала, Агния накрутила на палец стружку и сказала:

– Завтра едем гулять. Ты будешь разводить костер, Иоахим.

Удивительно, как изменила меня Россия. Я ведь думал, что разведение костра – это аллегория, но мне и в голову не пришло поинтересоваться, что за этой аллегорией кроется. Я чувствовал себя готовым ко всему.

И вот, пожалуйста, – никаких аллегорий. Мы с Агнией на берегу Финского залива и собираем разбросанный по песку плавник. Финский залив – плоская вода, и кажется, морем от нее пахнет по недоразумению.

Я сложил собранные нами палки, волглые сучья, обломки досок с извивающимися гвоздями и поджег. Пламя вскинулось с неожиданной яростью, и пустой пляж стал жутковат. Все что угодно могло случиться на этом песке.

Мы отходили от огня все дальше, и выбеленные водой куски дерева почти успевали сгореть. Жар, таившийся у самого песка, набрасывался на новую порцию топлива, и мы торопливо убегали, чтобы набрать еще плавника.

– Хватит, – сказала Агния наконец.

Мы стояли, обнявшись, и смотрели, как рассыпается в прах звонкое сухое дерево. Белая, неправдоподобно белая зола лежала на песке, как преждевременный снег. Дунул ветер и унес остатки костра. Мы сели в нагретый песок и долго целовались так, что была минута, когда мне пока-

залось, что я плачу. Не отпуская друг друга, вытянулись, вжались в нагретый песок, неведомым образом освободились от разделявшей нас одежды и соединились, уже не различая своего тепла и идущего от земли жара. Стекланный шар из мастерской Агнии, наполненный деревьями Летнего сада, на мгновение явился мне и исчез.

– О! – Агния отпрянула от меня и села. Одежда ее была в совершенном порядке, точно мне пригрелось все, что было только что. – Вставай, вставай!

Я коснулся нагретого песка, точно прощаясь с ним.

Мы вышли к станции и долго сидели в гадком буфете. Агнии почему-то пришло в голову угостить меня русским портвейном. Боже мой!

Но прекрасна была обратная дорога. Агния спала у меня на плече, а я выгибал до хруста шею и целовал ее. Она не проснулась.

Стоило мне закрыть глаза, и Финский залив развернулся, как скатерть, заброшенная Господом на землю. Пожалуй, я не понял, когда окончилось видение и начался сон. Вода, чуть пошевеливаясь, стояла передо мной, но мой телесный образ в этом сне отсутствовал. Я, кажется, парил над песчаным пляжем. Потом раскатился телефонный звонок, моя плотская оболочка восстала, а картина схлопнулась.

Дежурный по батальону лейтенант Бауман сиповатым голосом (спал, спал!) сообщил, что в батальон посреди ночи явился старший начальник из атташата и сыграл тревогу. «Ранке выехал!» И тут же под окном раздался осторожный гудок.

Чтобы понять дальнейшее, нужно представить себе некоторые особенности нашего статуса в России. Ясно, что тревожные обстоятельства, возникающие по произволу начальствующих лиц и преимущественно по ночам, не могли завершаться ни угрожающими маневрами, ни развертыванием средств связи где-либо, кроме выделенной нам территории. Оставалось одно: стремительно и грозно отделиться от внешнего мира. Этим-то мои войска и занимались, когда мы подкрались к ним в чудовищной петербургской осенней тьме. Металлические щитки с особенным звуком, который издает хорошо смазанная сталь, закрывали окна, пулеметные гнезда из сверхпрочного пластика, как опрокинутые лукошки, расположились на асфальте, обозначив наши владения. В одном из особняков сейчас, конечно же, сыпались вводные, безжалостно отсчитывалось время, а раскаленные офицеры проклинали начальственную бессонницу. Я решил, что внутрь успеется, и двинулся к постам на задворках наших особняков. На ближней к цирку стороне все обстояло благополучно, и я уже собрался перейти к противоположному подъезду, как вдруг там, под каштанами, послышалась возня, потом торжествующий клекот Гейзенберга, потом захлопали двери, кто-то свистнул... Я перешел дорогу и вбежал в здание.

Проверяющий, офицер одного со мной звания, встретил меня с каким-то даже неподобающим восторгом.

– Прекрасно! – сказал он мне после приветствий. – Слаженность и четкость. Случайный нарушитель задержан так, что лучшего и желать нельзя!

Я спросил: откуда случайный нарушитель?

– Праздношатающаяся дама, – ответствовал майор из атташата. – Вы должны быть ей благодарны, Тишбейн. Кто, как не она, свидетельствует о готовности вашего батальона ко всему! Даже жалко передавать ее милиции. Даю слово!

Господи, да мог ли это быть кто-нибудь, кроме Агнии! Я не сомневался в этом ни минуты именно потому, что не мог взять в толк, что ей тут понадобилось.

Агния сидела в канцелярии под надзором Ранке и казалась совершенно безмятежной. Вот Ранке, тот – да! – выглядел жалко и, видимо, ожидал возмездия. На Агнии была та же куртка и те же ботиночки, что днем. По моему, в ботиночном ранте еще виднелись застрявшие песчинки.

– Что ты на меня так смотришь? – спросила Агния, когда я услал Ранке из канцелярии. – Я не спала, я сидела у окна. Вдруг – машина, потом гудок. Потом опять машина, но в ней уже сидишь ты. Неужели ты не понимаешь? Я хотела посмотреть, как командует мой Лефорт. Командовать – это мужское занятие!

Тут вошел начальствующий майор, а с ним милицейский офицер. Тогда-то я и заметил ужас, мелькнувший в глазах у Агнии. Милицейский офицер принялся творить протокол. Он взглянул на Агнию. «Имя?» «О, да! Имя», – жизнерадостно подтвердил начальствующий майор. Слезы у нее хлынули потоком. Я поднялся и вышел из канцелярии. Там могло происходить все, что угодно. Я определенно знал: ничто, происходящее там, не повредит Агнии, если я останусь за дверью. Майор из атташата повторил русские фразы вслед за милиционером. «Подписывайте», – сказал милиционер немного погодя. Потом за дверью дружно молчали. Минут через пять милиционер вышел из канцелярии. «Она все подписала и теперь плачет», – сказал он мне. «В чем же она созналась?» Милиционер пожал плечами и сказал, что сознаваться ей, в общем-то, не в чем. Дамочка гуляла неподобающе поздно, но уж это дело мужа. «Да, – сказал я, – пусть муж уведет ее домой, и кончим с этим делом». «Муж в отсутствии. Но она живет совсем близко». «Мы подержим ее до света и отпустим». «В таком случае на оборотной стороне протокола вы напишете, что у вас нет претензий к гражданке Линтуловой». «Гражданка Линтулова?» «Это задержанная».

Мы вернулись в канцелярию, где атташат-майор ходил вокруг неподвижной Агнии.

– Мы не настаиваем на наказании, – проговорил он, увидев милиционера, – но порядок действий властей...

Милицейский офицер подал мне протокол. Краем глаза я успел заметить, как следила за моей рукой Агния. Я очень ловко взял злополучный лист. Исписанная сторона лишь мелькнула передо мной. Я начертил отречение от претензий на двух языках, сложил протокол так, чтобы мои надписи оказались снаружи, и подал бумагу милиционеру. Когда офицер ушел, я вызвал Ранке и приказал ему отвезти госпожу куда она скажет. Ранке, хвала ему, в разговоры не вступал. Атташат-майор сказал, что мои действия выше всех похвал и удались.

Потом были убраны пулеметные гнезда, распахнуты стальные ставни и сообщения о событиях ночи ушли в Берлин.

Когда я шел домой, Летний сад был закрыт, и там стоял такой мрак, что отвори мне кто-нибудь ворота, я и то не решился бы войти. Тьма лежала, как облако, как невиданная черная зимняя крона, отросшая за одну ночь взамен летней листвы. Из этой тьмы иногда вылетали огромные черные птицы и качались, раскинув крылья, над Фонтанкой. А на Гагаринской была своя темнота. Она была неопытна. Ей не под силу было вычернить фасады и редкие светящиеся окна. А во дворе она была, как омут.

Подбрасывая ключи на ладони, я поднялся на свой этаж, и неведомо откуда, сверху на меня слетела, пала Агния. Если можно целовать с ожесточением, то именно так она меня и целовала. Она плакала. Наконец я догадался обнять ее.

– Ты меня впустишь к себе? – спросила Агния.

Я попытался, но не справился с ключом. Тогда она взяла ключ и отомкнула замок.

– Ох! Ох! – сказала она, когда мы оказались в прихожей. – Ты понял ли, что сделал?

– Ты не хотела, чтобы я читал протокол. Я его не прочел.

– А почему? Ты понял, почему?

Я пожал плечами и сказал, что догадаться нетрудно и что скорее всего у нее другое имя.

– Да! – жарко и яростно произнесла Агния. – Я ненавижу его. Но если ты хочешь, скажу тебе. Ты хочешь?

– Нет, Агния. Ни за что!

И тут она заплакала так громко и так горько, что мне страшно вспомнить это по сей день. Потом она успокоилась и сказала, что умрет без чаю. Ее в самом деле трясло. Но, пока заваривался чай, мы начали целоваться, а когда очнулись, оказалось, что разбудил нас гудок Ранке. Я махнул ему в окно и вернулся к Агнии. Она успела заснуть, а сброшенное мною одеяло прикрывало только лодыжки. Я накрыл ее, и вдруг мне пришло в голову, что всего этого больше не будет и я никогда не увижу спящую Агнию. Не одеваясь, я прошел в кухню, присел на табурет перед холодильником, на белой прохладной дверце написал сегодняшнее число. И ниже: «Агния спит на правом боку.

Оберегаю память от потерь.

Все то, что раньше было только звуком, простым пятном, лишенным очертанья,

Все отзовется в сердце тяжким стуком и отольется в формы длинных фраз.

Когда, разноголосицей томясь, я разделял недели на минуты, года на месяцы

И постигал их связь,

Мне этот год сначала отдал ночи –

Огромные пространства темноты с прорехами неярких фонарей».

Будучи записаны в столбик, эти слова произвели на меня такое впечатление, какое, должно быть, производили на героиню известной сказки жабы и самоцветы, слетавшие с их губ во время разговора. Стихов я не писал никогда, а этот мутноватый фрагмент, хоть и был лишен известных мне признаков поэтического текста, несомненно, имел к ним отношение. Я сидел голый перед холодильником и перечитывал написанное до тех пор, пока не сообразил, что вот-вот проснется Агния. Тут же я понял, что, во-первых, написанное мне нравится и что, во-вторых, именно поэтому мне стыдно было бы показать ей эти строчки. Чтобы не шуметь водою в раковине, я намочил в чайнике салфетку и смыл стихи. Но вот, оказывается, помню их и сегодня.

Еще час я дожидался, пока Агния проснется.

– Боже, Боже! – сказала Агния. – Я никуда не пойду. Я буду ждать тебя. Ну не смотри на меня так, будто ты вот-вот сойдешь с ума.

– А как же подслушивание и подсматривание?

– Вот так, – сказала она, перекатываясь. – Вот так подслушивание, а вот так подсматривание. И потом: что тебе стоит приказать – пусть не подсматривают.

Первое, что я увидел, придя со службы, были распахнутые чемоданы и Агния, стоящая над ними.

– Да, – сказала она. – Да, Иоахим. Я решила, что ты не будешь возражать. А вдруг мы и в самом деле уживемся?

Красуйся, град Петров! Я чуть было не сознался ей в утренних стихах.

Теперь по вечерам я заходил за Агнией в ее мастерскую, и, если погода не была поистине ужасной, мы гуляли. Если гулять было никак нельзя, мы рисовали Лефорта. Что заключал в себе этот эвфемизм, известно было только нам, но мне уже очень давно кажется, что об этом знаю только я. Еще забава была у нас в ту пору. Мы являлись в какую-нибудь из компаний Агнии, она представляла меня и, словно забыв о моем существовании, погружалась в нескончаемое, хотя и скудное застолье. Проходила четверть часа, и всякий раз кто-нибудь начинал выпытывать у меня подробности нашего с Агнией житья. Нечто подобное происходило и с ней. И какие же потом возвращались к нам слухи!

Примерно через месяц совместной жизни Агния захотела, чтобы я собрал сослуживцев.

– Банкет! – сказала Агния. – Решительный банкет!

Она принесла чемодан посуды, а я остался с мучительными недоумениями. Что это значит? Я достаточно знал Агнию, чтобы быть уверенным: ни о какой имитации свадьбы речи быть не может. И вот опять: мне действительно нельзя было спрашивать ее о том, о чем она не говорила сама, или я просто трусил? Я никогда не был о себе слишком высокого мнения, но узнать в один прекрасный день, что причину моей нелюбознательности во всем, что было тогда, что касалось Агнии, узнать, что причину моей умственной неподвижности была только трусость... Нет, это было бы слишком даже для меня теперешнего. К тому же моя чувствительность в те месяцы была такова, что я, случалось, видел ее сны. И может, очень может статься, что я был труслив ровно на столько, на сколько ей хотелось этого.

Ах, Агния была хороша! Она ошеломила всех, и приглашенные офицеры плотным табунчиком переходили за ней из комнаты в кухню и обратно. Она заучила с моего голоса десяток фраз и манипулировала ими так ловко, что бедные мои офицеры признали за ней отменное владение немецким.

– Господин майор, – сказал Фогель, сверкая глазами, – вы, конечно... Но кто бы мог подумать, чтобы настолько...

И тут я сообразил. Присутствие Агнии, ее обворожительная прелесть были рассчитаны именно так, чтобы самый факт ее существования рядом со мной оказался вдруг в числе моих достоинств. Исчезни Агния в тот миг с нашего банкета, и ничего бы не изменилось. Очень хорошо помню, что меня это на минуту встревожило. Только на минуту.

На другой день мы начали учить немецкий как следует, и я просто забыл о том, что на свете бывают тревоги. Чего только не приходило мне в голову тогда! Однако несомненно было – чья-то воля меня хранит. А как иначе объяснить, что ни разу, ни с кем я не проговорился о своих безумных планах. И покоя, такого полного, глубочайшего покоя, который сошел на меня в эти недели, мне не довелось испытать в дальнейшей жизни никогда.

Тогда же Агния изобразила Лефорта во всех желаемых позициях и даже на крохотных эмальках жилетных пуговиц поставила едва заметную роспись. На одной из пуговиц после обжига у Лефорта появилась чуть заметная улыбка. «Вот ты как!» – сказала Агния изумленно. Из этой миниатюры она сделала себе медальон, а заказчику нарисовала нового, серьезного Лефорта.

Помню, как, придя со службы, я застал Агнию в кухне перед столом, который был завален деньгами.

– Смотри-ка, – сказала она, – этот любитель Лефорта оказался честным парнем. Сколько обещал, столько заплатил. А что ты скажешь, если я потрачу половину, а не скажу на что?

Я рассмеялся, а она тут же расцеловала меня и разделила деньги на две кучки. На другой день у нас был пир. Мы ели устриц, и Агния бестрепетно говорила по-немецки.

– Ich danke! – сказал официант, принимая мзду.

– Да уж, – молвила Агния, и мы ушли, торжествуя.

Она остановила такси в своем третьем дворе. «Ты подожди», – сказала она строго и вошла в бородавчатую дверь. Она вернулась быстро. Я едва успел подтянуться на турнике, который стоял посреди двора в окружении кустов боярышника, как Агния уже вышла. В руках у нее был большой конверт из крафт-бумаги.

– Дай мне слово, что сделаешь, о чем я попрошу.

– Ты ходила за конвертом? – Мне вдруг показалось необычайно важным выяснить, зачем ей этот конверт.

– Дай мне слово.

– Ну конечно!

Агния взяла меня под руку, и мы прошли оставшиеся метры молча, но похрустывая бумагой.

– Значит, ты дал мне слово.

– Ну да! Да!

Мы вошли в парадное, поднялись. В квартире Агния сразу прошла в комнату, извлекла сверток с деньгами из рукава моей шинели, висевшей в шкафу, и аккуратно разложила отмеренную половину в конверте.

– Завтра мы едем с тобой в одно такое место. Не беспокойся, больше я тебя не повезу туда. Но в этот раз... Ты обещал.

– Я позвоню Ранке, он отвезет нас.

– Нет, нет, кроме нас никого! Я хочу познакомить тебя кое с кем.

– А деньги?

– Ему очень нужны деньги. И потом ты сказал, что я могу тратить их как угодно.

В тот вечер я был настойчив, я был настойчив впервые за все время знакомства с Агнией. Она не сказала мне ничего, но глаза ее делались все печальней. Наконец, мне стало стыдно.

На другой день в утренних сумерках мы ехали нетопленным пригородным поездом, и Агния досыпала у меня на плече. Часа через полтора мы вышли на маленькой станции и мягкой узкой тропкой дошли до тихого поселка за дощатым забором. Пока Агния звонила у запертой двери, я успел прочесть написанное серыми буквами на голубом стекле, прикрепленном к доскам.

– Ты не сердись? – спросила Агния, и тут нам открыли.

Как видно, она обо всем договорилась заранее. Нас ни о чем не спрашивали. Неторопливый служитель довел нас до маленького домика, постучался, прислушался.

– Можно, – сказал он.

Из-за двери тоже кричали «Входите».

– Не бойся, – сказала Агния, – не бойся.

Он стоял на пороге комнаты и, чтобы разглядеть нас, прикрывался ладонью от утреннего солнца. Я видел его прекрасно. Когда я был маленьким, мне хотелось вырасти и стать именно таким. Он был высок, строен, а двигался так, что у меня защемило сердце. Он вглядывался в нас сквозь солнечный свет, а потом вдруг выхватил изо рта сигарету, обнял Агнию и стиснул мою руку своей влажной ладонью.

– Ксения! – проговорил он, целуя Агнию. – Ксения! Знали бы вы, как рад я видеть вас с Петром. – Он усадил меня рядом с маленьким столиком. – Рассказывайте все, все как есть.

– Да, – сказала Агния, – рассказывай ему все. – Она так и стояла у двери. – Глеб, его зовут Иоахим.

– Я немец.

Это вышло глупо, и взгляд Глеба лишь на секунду остановился на мне, потом он болезненно сморщился, но Агния кивнула мне.

– Я офицер немецкой армии, я имею дислокацию в Петербурге.

Теперь уж настоящая мука исказила лицо Глеба.

– Где? – спросил он шепотом. Но, услышав ответ, расцвел, сорвался со стула, закружился по комнате. – Чудно! Чудно! Чудно! Вы недаром понравились мне сразу. Здесь, в неустанных трудах, в нечеловеческом напряжении я должен быть спокоен за Ксению. Вы любите ее? Отлично! Значит, вы уберете ее от всего. Прочее меня не волнует. Еще, – он несколько раз перебрал пальцы на руках, – еще полгода, и вы передадите мне Ксению, а сами станете верным и почтительным другом. А как же иначе? Не стреляться же нам! Да, можете не беспокоиться на этот счет – ваше изумление будет таким сильным, что вы сами почувствуете: Ксении оставаться с вами нельзя. Еще раз, какое место вы назвали?

Снова он забился в восторге.

– Вы приезжий, Петр, и вам это простительно, но я не путаю никогда. Скоро и вы научитесь различать. Памятник Екатерине и памятник Петру (да он же ваш тезка!) путают только приезжие. Памятник Екатерине похож на шахматного слона. В этом секрет. А не хотите ли в шахматы?

Он вдруг выбросил на стол коробку с фигурами, и я увидел, что один из углов столика раскрашен под шахматную доску. Тем временем Агния вышла, но Глеб не заметил ее ухода. Он стремительно обыграл меня.

– В чем загадка? Загадка в том, что скверик вокруг Екатерины тоже прямоугольный. Но стоит взяться за верхушку памятника и начать раскручивать сцену, все становится круглым. Очень кружится голова. – Он приставил пальцы к вискам. – Но так лучше играть. И все, вообще все пришло мне в голову, когда все крутилось. А если вы будете раскручивать памятник Петру, ничего не получится, только время потеряете. – Тут вошла Агния, он обернулся к ней. – Ты отдала деньги? Что поделаешь, Петр, вам придется потерпеть. Я наделал долгов, в моем положении иначе нельзя. Ксения, ты объяснила Петру?

– Лучше ты, – сказала Агния.

– Верно! – рассмеялся он. – Кто же лучше меня? Еще немного – и ассимиляция народов будет решена. Мы все будем одно. Но я еще должен многим войти в доверие. Вы даже не представляете себе, сколько здесь всяких людей. И каждый стоит денег. То есть я хотел... – Тут он приставил ко лбу ладони и с минуту молчал. Потом поднял голову, взглянул на нас строго и отчужденно. – Ступайте, – сказал он. Чуть притронулся к моей ладони, равнодушно поцеловал Агнию. Мы вышли.

Уже в сумерках мы вернулись в город, а к ночи у Агнии стремительно поднялась температура. Всю ночь и весь следующий день я не отходил от нее. Вызванный мною батальонный врач сказал, что не находит у Агнии никакого систематического заболевания, но что ее недомогание несомненно.

– Не делала ли она прививок? – спросил он перед уходом.

Едва за врачом закрылась дверь, Агния приоткрыла глаза.

– Миленький, – сказала она, – я никогда не делаю прививок. Прививки – это насилие над судьбой. – Она подвинулась и из последних сил хлопала по одеялу рядом с собой. – Ложись у же.

Мы проснулись, когда внизу загудел Ранке. Агния поцеловала меня, и в глазах у нее не было и следа вчерашней болезненной мути.

– Ты очень хороший, – сказала она. – Знаешь, я думаю, ты ни за что бы не захотел сделать мне больно.

Я обнял ее и прижал к себе так, чтобы почувствовать всю.

– Нет, нет! Иди. Если Ранке будет долго ждать, он потом про нас расскажет Бог знает что. Иди, я прошу тебя! Я не хочу, чтобы про нас сплетничали.

Она едва не вытолкнула меня из-под одеяла, и, помню, эта вернувшаяся сила привела меня в такой восторг, что я умчался на службу, забыв обряд Летнего сада. Торжествующий Ранке довез меня до места и с вызывающим шиком распахнул передо мной дверцу авто. Я вышел, и неожиданное отчаяние овладело мной. Минуту или две я стоял на краю тротуара и никак не мог сообразить, что мне делать дальше. Не могло быть и речи о том, чтобы войти в здание и принять рапорты. Сам особняк, и прилегающий к нему сквер, и замок у меня за спиной приобрели вид и форму каких-то творожистых облачных груд, эти груды были совершенно непригодны для того, чтобы двигаться среди них, отдавать рядом с ними команды, входить в какие-то подробности своей офицерской жизни... Мало-помалу я понял, что должен вернуться и пройти сквозь Летний сад. Что-то должно было состояться, что-то дожидалось меня там, среди голых деревьев и черного от темноты снега.

– Господин майор, – сказал Ранке. Все-таки берлинская бабушка кофем успела с ним поделиться. «Господин майор» – отголоском сознания я отметил, что он повторил это свое заклинание раз пять. Творожистая архитектура вошла в определенные ей рамки, под ноги вернулся тротуар, и как ни в чем не бывало пошла служба. Три раза – да, я помню это совершенно отчетливо! – в тот день я трижды пытался позвонить Агнии.

В первый раз вместо нормальных гудков вызова мне пришлось слушать какое-то кваканье, во второй раз соединение состоялось, но из концентратора в тот же миг повалил дым, в третий раз я наконец дозвонился из уличной будки, но Агния меня не услышала. Однако то, что трубка говорила ее голосом, меня успокоило.

Когда я вернулся домой, в квартире было пусто. Я поставил коробку с птифурами из Елисеевского на столик рядом с телефоном, позвал Агнию, потом заглянул за каждую дверь. Собственно говоря, в том, что ее не оказалось дома, не было ничего особенно тревожного, но тут же явилось утреннее ощущение невыполненного обряда. «Бред! – сказал я громко. – Qwatsch!» – сказал я еще громче. Но ярость моя, выраженная по-немецки, лишь усилила тревогу. Вместо того чтобы раздеться и дождаться Агнии, я помчался в парадную с пупырчатой дверью, и на третьем этаже к моему удивлению мне отворили.

В дверях стояла женщина, виденная мною когда-то у булочной на Чайковского. Увидев меня, она ничуть не удивилась, но сказала, что не знает про Агнию ничего. Потом заплакала.

– Но вы-то, вы-то... Почему вы отпустили ее?

Я спросил: куда? И тут женщина разрыдалась с какой-то яростью, даже замахнулась на меня.

– Простите, – сказала она, утирая сбежавшие по лицу слезы. – Уж вы виноваты меньше всех. Но вам-то она и не простит, если вы ее найдете. А вы ее ищите. Ах, я видела, как вы шли за ней по двору... Ищите ее! – И больше от нее нельзя было добиться ничего.

Вернее всего будет сказать, что от ужаса я одеревенел. Я вернулся к себе, сел, не раздеваясь, к столу и, ничего не ощущая, съел несколько пирожных из коробки. Тогда я не сознался бы в этом никому, но теперь скажу: у меня отнялись ноги. Через полчаса я кое-как поднялся и добрал до ее мастерской. Тамошние служители сказали мне, что за Агнией пришел черный лицом человек с бородой. Я знал его! Его звали Джемал, и мы бывали у него.

Но Агнии не было у Джемала.

– Сяд, – сказал он мне. Он говорил без мягких знаков и еще много без чего обходился в разговоре. Он не знал, где Агния, но – да – заходил за нею в мастерскую по ее звонку.

– Лед, – он хлопнул ладонями. – Лед сколоть, ворота открыть, машина выехать, женщине помочь.

Перед глазами повисли фиолетовые круги. Машина у Агнии... Но ведь я не знал об этом. Чего же я не знаю еще?

Джемал заглянул мне в лицо, вздохнул и сказал, чтобы я искал Агнию в Гатчине. После этого он своим фантастическим русским языком принялся шептать мне о потайных запасниках, о секретном заказе от Мальтийского ордена и, не закончив, склонил ко мне свое темное лицо так значительно, что с отчаяния я вспомнил все. Этот бред, этот несусветный бред был одной из тех фантазий, которые мы с Агнией рассыпали вокруг себя в изобилии.

С того дня началось мое хождение по кругу. Я не мог забросить службу, моя нерадивость обернулась бы немедленным отзывом в Германию, а тогда кто бы стал разыскивать Агнию? К тому же я знал, что женщина с третьего этажа права – Агния придет в ярость, когда я разыщу ее. Может быть, это мне и требовалось. Может быть, по тогдашнему своему малодушию я ждал, что Агния хотя бы прогонит меня. Или прекратит этот кошмар как-то иначе. А это и в самом деле был кошмар. В иных местах наши с Агнией приятели наливали мне водки и, не чокаясь, пили со мной за Агнию. Они, как видно, полагали, что эта деталь поминального чина мне неизвестна. А может быть, жалея меня, готовили к тому, что казалось им неизбежным. Но я-то знал, что Агния жива. Последние десять лет я думаю, что она и ушла от меня, чтобы остаться в живых.

Неужели мне действительно требовалось, чтобы Агния меня отпустила, неужели я был так слаб?

Недели через две я, во-первых, убедился в том, что наши с Агнией выдумки необыкновенно живучи, а во-вторых, в том, что она жива и невредима. Во всей этой карусели прочных, случайных и зачаточных знакомств мне попались один-два человека, знавшие об Агнии хотя и немного, но зато без примеси нашей развеселой лжи. Почему я был уверен в том, что Агния даст им знать о себе? Ведь мне и в голову тогда не приходило, что Агнией могут двигать такие прозаические мотивы, как зарабатывание денег (мог бы, мог бы вспомнить конверт, набитый деньгами и оставленный в поселочке за забором). А между тем как раз эти немногочисленные знакомцы Агнии были из тех, кто временами доставлял ей работу. Мне же они в безумии моем казались в те дни какими-то медиумами, через которых только и возможно удержать связь с миром, где укрылась Агния. Будь я в те дни нормален, я бы сказал, что подружился с ними, но скорее всего они из жалости и любопытства позволяли мне быть при себе. Кстати, очень кстати мы с Агнией не успели наврать им ни черта, а иначе наше сближение было бы невозможно.

Итак, их было двое. Да, двое: старая еврейка миниатюристка и молодой галерейщик, который скоро разорился и запил. Но моей вины в этом не было. Если я не слонялся у одного из них дома, то сидел у себя в квартире, глядя на телефон. Вот беда: у меня не было ни одной фотографии Агнии!

Как-то под утро – без Агнии уже прошел почти месяц – я проснулся с давно забытым беспокойством в теле. Помню, как меня поразила эта юнкерская готовность к движению. Полный тревожной бодрости я вышел из дома и пустился вдоль набережной Фонтанки. Миновав Аничков мост, я понял, что иду к миниатюристке. В этом не было никакого смысла, потому что вчера Соня уехала на неделю к своей родне праздновать Новый год. Я сам провожал ее. Последние дни я боялся расставаться с ней. К тому же в такую безумную рань нельзя было идти ни к кому. Но я шел.

У Сониного дома в темном проеме дворовой арки стояла Агния. Я увидел ее, когда между нами оставалось шагов пять, она словно возникла из снега, пролетающего сквозь темноту. Было мгновение – кто-то еще почудился мне за ее спиной, но шевельнулся воздух, и столб из снежинок и темноты разошелся.

Почему я не кинулся к ней сразу? Почему я стоял и смотрел, как она отводит от лица снежинки? Где-то далеко, далеко в толщах кварталов взвыл грузовик, и Агния вдруг кинулась бежать. Это было так бессмысленно, так страшно и так жестоко, что я был неподвижен, пока не хлопнула дверца автомобиля. Я и автомобиль-то увидел лишь тогда, когда раздался этот звук. Я погнался за ним, но он уже вывернул из двора и исчез.

Что произошло? О мираже не могло быть и речи. Агния стояла передо мной живая и, насколько я мог заметить, невредимая. То юношеское состояние, что выгнало меня из дома, вдруг исчезло, вся сила его обернулась неожиданной жгучей радостью, и, почти лишившись сил, я прислонился к стене, чтобы не повалиться в снег. Я по-прежнему не знал, что произошло, но нынче утром мы оба пришли сюда. И это так! Значит, теперь я сделаю с собой такое, что этот мир Агнии сам раскроется передо мной. И тут же вышла из сумерек неуловимая прежде мысль. Этой мыслью был Глеб. Но теперь мне было известно, что делать и с ним... Я раз и навсегда запретил себе думать об этом несчастном как о чем-то существующем отдельно от Агнии. Пусть Глеб, пусть кто угодно еще! – найти Агнию, найти и объяснить ей наконец, что я уже знаю почти все и не боюсь ничего.

Я еще вернулся к себе на квартиру и напился горячего чая. Потом как ни в чем не бывало прошелся Летним садом и явился на службу. Пользуясь темнотой, я даже созорничал: отдал честь Петру Великому. Старший

писарь лежал с гриппом, и почту у меня на столе раскладывал Ранке. Да, был день почты.

Внук берлинской бабушки до того, как я отослал его, все-таки успел разложить почту в том особенном порядке, когда во внимание принимается только размер конверта. Будь конвертов тысяча, он выстроил бы у меня на столе пирамиду, а так – скромное надгробие рядом с телефоном. Понемногу утреннее возбуждение проходило. Я уселся за стол и принялся думать, как совместить все то, что должно происходить в симметричных особняках, с поисками Агнии. Никогда в жизни у меня в мозгу больше не возникали такие хитроумные сюжеты. Один показался осуществимым, но была в нем какая-то шероховатость. Я потянул к себе самый нижний, а значит, и самый большой конверт из сложенных Ранке. Это наверняка было казенное послание, и я мог без стеснения вырисовать алгоритм своей затеи на безадресной стороне. Я вывел прямоугольник и потянул от него линию книзу. Карандаш запрыгал на нитках, которыми был армирован конверт. Сначала была только досада, лишь позже я сообразил, что именно такие конверты доставляет фельдпочта. Инстинкт командира сработал. Тем же карандашом я вскрыл конверт и прочел несколько фраз над синим оттиском печати. Мне и моему батальону предписывалось оставить Петербург в течение ближайших трех дней.

Я вызвал Гейзенберга, и все закипело. Через два часа уже было ясно, что сборы удадутся. Но я продолжал командовать, распоряжаться, лязгать голосом. К исходу третьего часа ко мне вернулась способность объясняться по-человечески, я еще раз переговорил с напряженным Гейзенбергом и ушел.

Я убеждал себя, что мне нужно все как следует обдумать, но на самом деле, уже проходя мостом над Фонтанкой, знал, что мне делать. Этот город, над которым были подняты ангелы, похожие на распятия, сожрал меня. Меня уже не было. Оставалось нечто облаченное в форму и связанное ритуалами, оставалось то, чему следовало вернуться в Германию.

До позднего вечера я ходил по городу и лишь в темноте пришел на квартиру. Я принял горячий душ, переделся и присел к столику в спальне. Я позвонил в казарму, потребовал Ранке и велел ему не гудеть завтра под окном, а подняться ко мне, чтобы помочь с вещами. «Дверь будет отперта». После я достал два листа превосходной, настоящей слоновой бумаги и написал крупно: «Я не выдержал России. Майор Тишбейн». Прошел в прихожую, открыл дверь. Вернулся. Достал пистолет и подумал, что холод даже кстати, но передумал: сквозняк мог сбросить бумагу со стола, а мне почему-то не хотелось этого. Подошел к окну, и тут снизу раздался истерический хохот. Двое пьяных, мужчина и женщина, жестоко дрались под окном, она же при этом еще хохотала. Потом он поскользнулся, упал, а она со слезами и причитаниями начала поднимать его из последних сил.

Я вернулся к столу, поставил пистолет на предохранитель и с полчаса писал, подгоняемый первой фразой. Вдруг оказалось, что почти ни о чем нельзя сказать прямо. Я вычеркнул все имена, но слова в каждой фразе выдавали меня с головой. Даже самые незатейливые из них нельзя было выстроить по своему произволу. Я почувствовал, как подступает сумасшествие, но не успел испугаться. Истинное обжигающее безумие пришло, и все слова разошлись по местам. Я написал свое имя еще раз и с облегчением взялся за пистолет, но тут мне пришло в голову, что необходимо написать Фогелю. Мне подумалось, что этому лейтенанту моя смерть может показаться чем-то непристойным, и я опять взялся за карандаш...

Я писал всю ночь, и та единственная развязка, которая была для меня желанна в этом проклятом городе, уходила вместе с темнотой.

* * *

Одинокой страны
Безымянные дети –
Только в смерти вольны,
А за жизнь не в ответе.

Но, бессмертья рабы,
Впредь на многие луны
На руинах судьбы
Высекают нам руны.

* * *

Седовласый туман опоясал долину,
И пейзаж, потонув, – бесконечно реален.
Хоть бы проблеск абсурда в сюжет Властелина.
Полумрак неподвижен, как будто навален.
Контур плющится в глину. Мозг слагает былинку.
Под пятой наковален образ мыслей овален.

Ловит форточка жадно силуэт никотина.
Горизонт симметричен по лучу квадратуры.
Ветром спутана грива тумана, как тина.
Классицизма фрагменты стиля поздней халтуры.
Каплет с крыш паутина. Причитает картина.
Я рисую с натуры скопом карикатуры.

В миг остатки сознания посылаю ко псу, и –
В зеркалах подсознания бредоглюк наркомана.
Озираюсь на чувства, сплошь почившие все.
Бич беспечного вихря гонит стадо тумана.
Я трусливо пасую. Мысли в сажень косую
Рвутся вон из кармана. Се завязка романа.



Дмитрий НЫРКОВ

* * *

Смеркалось. И разрез угла
Плыл с тьмою смежен,
Луна по-прежнему кругла,
И воздух нежен.
Он гладил трещины полов,
Тек по карнизам
И застывал у куполов,
На шпиль нанизан.
Склонилась королева-мгла
Над клавином.
Луна по-прежнему кругла,
И в небе синем
Порхают стайки звездных нот,
Подобно нимфам,
И сонм мелодий на комод
Садится нимбом.
Царапает луча игла
По створкам окон.
Луна по-прежнему кругла,
И ночи кокон
Простор окутывает сном,
И мнится в этом
Способность времени в ином
Мазке с рассветом
Вновь воспарить – игрой стекла
Встревожить веко.
Луна по-прежнему кругла,
Как век от века.

* * *

От страны, от жены,
От тюрьмы, от сурьмы
Зареклись без вины
Виноватые мы.
Вкус наживки-блесны
Опаляет умы.
Все потуги смешны,
Кроме веры Фомы.

За голубыми небесами

РАССКАЗ

Ведь того, о чем никто не знает,
почти что и вовсе не существует.

Апулей. Метаморфозы

После смерти Валерка Мохов попал в ад. Само ли так сложилось, покойник ли скроил свою жизнь соответствующим образом, но все пятьдесят два года, отпущенных Мохову на белом свете, пробыл он Валеркой – иначе и не звали, если только служебный долг не обязывал величать в глаза Валерием Степановичем.

То, что он помер, Валерка понял не сразу. Лишь когда из-за привычных темных туч, стучающихся лбами над грязными лужами, из-за волосатых мокрогубых каких-то колобков, выпадающих из этих туч, из-за скалящих гнилые зубы Валеркиных собутыльников, которые виделись постоянно, вдруг засветило что-то легкое, мерцающее, плавно приблизилось и оформилось в двух белых-белых ангелов с резными крыльями, Мохов решил, что это уже не сон и что он очутился на том, другом свете. Он давно не помнил, кто рассказывал ему про свидетельства загробной жизни, как он отнесся к тем разговорам, но в глубине памяти, усохшей и затвердевшей, как ему порой казалось, от нерегулярности пользования, словно звякнула ложечка о стакан, и четкий, звучный голос отдельно произнес: «Умершего встречают два ангела».

Валерка не успел ни испугаться, ни удивиться, только смотрел ошалело на высокие, нежного контура фигуры в длинных одеждах, замершие перед ним, и в голове, которая сразу стала большой, гулкой, пустой, – прямо одуванчик зрелый! – лихорадочно запрыгали слова-мячики: «Во как... Да что же это? Мать моя женщина! Помер, выходит... Ну дела...». Ангелы, скрестив на груди тонкие руки, стояли, чуть склонив головы, и смотрели спокойно, внимательно.

Были они очень похожи: на бледных, без розовинки лицах печалились незамутненные синие глаза, крупные завитки пепельных волос, схваченных надо лбом тонкой тесьмой, мягко ниспадали до узких плеч, изгибались скорбно книзу уголки едва очерченных губ, – но один ангел выглядел моложе и всматривался в Валерку, как ему казалось, пристальней, чем его спутник. Под этим прожигающим, пронизывающим взглядом Валерка оробел, почувствовал себя неуютно, тягостно и подвигился необычности своего состояния, ибо в той, прошлой жизни никогда не испытывал он подобных неприятных ощущений. Жил Валерка всегда легко, играючи. Жизнь отцеживал, будто тертое яблоко: есть сок, сладкий и густой, есть безвкусные сухие отжимки – стоит ли о них вспоминать! Валерка и не вспоминал...

«Ишь, устались, – недовольно подумал, озябнув в свете огромных печальных глаз, – хоть бы сказали чего... – И будто в ледяную воду ухнул: – Я же помер! Елки-палки! И как теперь?.. Сообщить бы надо, сказать... Нету меня, что ли... А я вот он. Живой, значит. Или как? Раз ангелы –

выходит, помер. Так, что ли, это бывает... Помер ведь я! Гроб же надо, костюм... Зайдут-то ко мне когда? Дня три, наверное, один валялся... Или больше? А они-то, с крыльями... стоят... взаправдашние прямо... Дальше-то что?..»

Опять нахлынуло странное ощущение оторванности, тягостного одиночества, ненужности своей, – Валерка даже головой затряс, чтобы его сбросить, – сжался весь, притих, только мыслями суетился по-прежнему, и были они такие жё заполошные, скачущие, мельтешили мошкаррой, и казалось: вот перестанет виться этот бестолковый звенящий хоровод, и можно будет понять что-то главное, существенное, от чего вернутся привычные уверенность и кураж. Но мошкара из обрывков мыслей, полупросов и полуфраз все вилась, все кружилась, из-за чего рябило в глазах и слабели ноги.

«Пора», – сказал вдруг тихим, бескровным голосом ангел помоложе и медленно повернулся к Валерке спиной, прикрытой большими, выпуклыми, с легкой опушкой на концах крыльями. Второй ангел последовал его примеру, и две высокие тонкие фигуры стали плавно удаляться, подрагивая краями сияющих одежд. Не страхом, не растерянностью своей, а каким-то новым, неожиданно возникшим в нем чувством Валерка понял: нужно идти за ними.

Суматошно, сдерживая внутреннюю дрожь, огляделся. Перед ним синела, простираясь бесконечно, широкая пустая равнина. По сторонам, вдаль, куда доставал взгляд, сливались в густую, тяжелую темень края неба и земли, замыкая пространство наглухо. Сами земля и небо между тем были одинаковые: рыхлые, мягкие на вид, сбитые в неплотную, дышащую массу не то облака, не то клубы непрозрачного, причудливо скрученного синего дыма, над которыми низко стлались лохматые пряди тумана. Вокруг был разлит неяркий, нежно-фиолетовый свет, какой бывает в первые минуты зарождения тихих, умиротворяющих вечеров.

Валерка опасливо ступил на клубящуюся под ним синеву, напрягшись и ожидая, что рухнет в это пухлое, невесомое с головой, но тело словно наполнилось воздухом, он перестал его ощущать и без труда заскользил над поверхностью.

Впереди, в нескольких шагах, отчетливо белели фигуры ангелов. Валерка пытался догнать их – и не мог: размеренно движущиеся силуэты, пренебрегая его отчаянными усилиями, что называется, держали дистанцию. Валерка попутно удивился, что совсем некстати вспомнились эти слова из далекой молодости, когда он, приехав из физкультурного училища (куда еще было поступать ему, здоровому, румяному, с оценками по остальным предметам более чем скромным!), на практику в школу, стоял, подбоченясь, на краю лыжни вокруг спортплощадки и, хозяйски озираясь, громко покрикивал на детей, проносящихся мимо: «Куда попер? Держи дистанцию!» Да, счастливые были времена: от распиравшей его силы Валерка нетерпеливо пританцовывал на месте и с удовольствием представлял, до чего великолепно смотрится со стороны – уверенный, сытый, барственно-небрежный... Впрочем, нравился он себе всегда, безграничную уверенность в собственной приятности и правоте не смогли вытравить ни годы, ни обстоятельства...

Валерка предпринял еще одну, из последних сил попытку догнать ангелов, но ни стремительное, как ему казалось, движение ног, ни судорожные взмахи руками не ускорили его панического бега. Ангелы были близко – и были недосыгаемы. Не оглядываясь, они величественно ступали в сиреновом полусвете, и на просторных их одеждах, сбегающих складками, плясали вычурные голубые блики. Валерка вдруг понял, что ангелов ему не догнать, едва не захлебнулся воздухом от страха и, забыв обо всем на свете – как на том, так и на этом, – закричал неожиданно тонким голосом: «Это самое... как вас... мужики!» – и с невыразимым облегчением увидел, что ангелы остановились и повернули к нему серебрящиеся головы.

«А что здесь пусто так? Нет никого?» – затравленно озираясь, выкрикнул Валерка, не понижая голоса, первое, что взбрело на ум. «Кто нужен тебе?» – кротко спросил один из ангелов, успевших подойти совсем близко, – тот, что постарше, – и смотрел выжидающе. «Ну, как же? – तो ропливо забормотал Валерка, ободренный тем, что ангелы вернулись и боясь замолчать хоть на миг. – Дома должны быть, люди... магазины... Брат у меня есть, младше на три года, жена, дочки...» – понес вдруг совсем невпопад, неуклюже рассыпая словесную дробь.

Ангелы молчали, смотрели испытующе, долго.

Наконец тот, что помладше, подступил в Валерке вплотную, подогнул край крыла, разгладил его, и солнечные блески, вспыхнувшие под рукой, стремительно вытянулись длинными язычками к центру, слились в яркое слепящее пятно, постепенно бледнеющее, – ангел поманил Валерку ладонью, тот нагнулся, вгляделся в остывшее солнечное озерцо... На дне его, в кольшущейся глубине, стали проступать кожаные кресла с пятнистыми меховыми накидками, большой ковер на стене, густая медвежья шкура на блестящем паркете, дубовый стол с массивными изогнутыми ножками, который брат с женой купили еще тогда, при Валерке, у них жившем.

Сейчас они сидели за этим столом: брат с женой, ее подруга, часто забегавшая «на огонек» поболтать под рюмочку хорошего коньяка, и незнакомая молодая женщина. «Это невысказано было выдержать», – нервно говорила Татьяна, жена брата, кладя себе на тарелку дырчатый листок сыра. «Конечно! – подхватила незнакомка, обращаясь к Зойке, подруге. – Я до сих пор помню ужас, который испытала. Иду к Татьяне, и меня обгоняет какой-то бич. Опухший, пропитый насквозь, аж сизый. Страхолоудина, одним словом. Меня затошнило, честное слово. И вот Татьяна открывает дверь, я прохожу в комнату, а там этот самый бич в кресле сидит! Я чуть не упала, клянусь».

«Ну, что ты, – с усмешкой протянула Татьяна, терзая дольку лимона, – он уже оклемался к тому времени. А представь, каково мне было сразу это счастье видеть! Стоит замурзанный, вонючий, штанишки затрапезные на нем, короткие, светлые якобы, и «молния» черная впереди торчит. Мыться его отправили, я потом ванну полчаса «Кометом» оттирала. Ни майки, ни носков на нем не было, одни трусы заскорузлые, я их на совок смела – и в ведро, туда же рубаху его и штаны, потому как это все не подлежало восстановлению. И что ж ты думаешь, он хоть немного стеснялся? Да ничего подобного!

Вылез из ванны, халат махровый напялил и напрямиком почесал на кухню. Уселся и давай орудовать: сам себе пиво наливает, куски из тарелок чуть ли не руками таскает. Мы сидим, смотрим на него. Руки трясутся, опух весь, зубов половины нету – ну представь, так жить! Я Тамару, жену его, ни капли не осуждаю, что с девочками от него ушла. Молодец, вовремя ушла, не стала ждать, пока он совсем оскотинится.

Да-а... Сколько помню – всегда с друзьями, всегда в компаниях, и разливается соловьем: я да я. И знакомства у него кругом, и блат, и уважение безмерное. Я его с детства знаю. Пацаном был – только и делал, что хвастал, а вырос – и того хлеще. Здоровый мужик, его слушают, похихикивают, а он знай петушится: и с тем он на короткой ноге, и с этим, и без пропуска на завод только двоих пускают: физрука Валеру и директора, и всю жизнь он тяжелее ручки ничего в руках не держал...

И в тот раз – натрескался он, развалился на диванчике у стола и давай рассуждать. Деловой такой, самоуверенный, ни дать, ни взять аристократ. А хвастать-то чем: отовсюду с работы выгнали, жена ушла, спился начисто. Пустил на квартиру каких-то бомжей, они его за это кормят и поят. Квартира – ты бы посмотрела! – превратилась в натуральный гадюшник, туда алкаши со всего города сползаются, его друзья. Мы, когда заехали к нему из отпуска, в шоке были.

Я руки сцепила, чтоб ненароком за что не взяться, на цыпочках прошла по этой, так сказать, квартире – и бегом в машину. Денег мы ему оставили, продуктов, вещей я из чемоданов целую гору набросала. Через месяц муженек не выдержал: поехал проведать братика. И – представь себе, приволок его сюда, в его затрапезных штанцах. Спасать. На работу к строителям по знакомству пристроил, к дантисту отвел. Каждое утро ни свет ни заря встает, братишке кофе варит и на работу на машине отвозит. Само собой, деньгами на обед снабжает. Вечером таким же манером Валера доставляется обратно. Залегает в ванну на час, не меньше, потом, само собой, подтягивается на кухню. Сначала просил, чтобы рюмочку налили, но мы первые дни пиво ему ставили, а потом сказали – перебьешься.

Стал он отъедаться. Недели через полторы посвежел, оправился, даже притопивать начал, как конь, того и гляди, заржет. После ужина развалится в кресле и видик смотрит до глубокой ночи. Всё до фонаря – мешает нам, не мешает, мы с детьми спать идем, он все сидит. Как-то вечером приезжаем, он в нашей спальне по шкафам лазит, что ищет – неизвестно. Думаешь, испугался? Куда там – рожу отвернул и пошел телевизор смотреть. В другой раз застали его, когда в стенке по полкам шарил, и опять ноль эмоций. В ванной, в туалете бросал все как придется. Я постоянно с тряпочкой ходила, убирала и протирала. Думала, не переживу.

Месяц с небольшим он отработал, и начальник говорит: забирайте его, мне такой труженник ни к чему. Он, оказывается, сачковал как мог и твердил свое любимое, что тяжелее ручки за всю жизнь ничего не держал. Но деньги, правда, ему хорошие заплатили. Еще набрал у нас краски, обоев – ремонт в своем гадюшнике делать, и что мы давали: одежду, продукты, – ни от чего не отказывался. Потом выяснилось: половину дружки растащили, остальное он с ними же и пропил...

Опять муженек к нему поехал, хотел устроить там на работу. А Валера сказал, что не всякая работа ему подходит, он привык быть начальником и жить свободно. На здоровье зато стал жаловаться, и Саша мой договорился, заплатил в больнице, чтобы братика взяли полечить. А через неделю его оттуда выгнали: невозможно, говорят, такого хама держать.

Соседи в один голос жалуются на него, в милицию сдать грозятся, и Саша в каждый свой приезд все квартиры обойдет, всем деньжонок сунет, чтоб не обижались. И ко мне раз за разом подъезжал: давай я опять Валеру привезу, пусть поживет. Но я сказала: если привезешь, из дома уйду, мне его теперь что, усыновить? И ради чего он живет – непонятно...»

Татьяна в продолжение своего рассказа зябко потирала ладони и брезгливо передергивала плечами. Брат сидел молча, опустив голову. Незнакомая женщина и Зойка сочувственно поглядывали на Татьяну и тяжело вздыхали, перемежая вздохи возмущенными возгласами.

Внезапно голоса стали слышаться приглушеннее, слабее, словно кто-то решительно убавил звук, и каждое слово падало на пухлый клок ваты, проваливалось в него и безнадежно вязло. Лица сидящих за столом начали бледнеть, терять ясность очертаний, будто подернутые дымкой, в комнате заметно дрогнули стены, перекошились, ломая рисунок обоев, сложились гармошкой, невидимый вихрь разметал по сторонам вещи, мебель, посуду, все встрепенулось, завертелось, мелькая, и скоро на поверхности прозрачного озера, в которое напряженно всматривался Валерка, бушевал неиссякаемый фейерверк радужных пятен, бликов, теней...

Валерка поднял голову и выпрямился. В висках ломило, хотелось сесть и отдышаться. Ангелы стояли перед ним на прежнем месте и глядели спокойно, с непроницаемым выражением на лицах. «Хочешь смотреть еще?» – приветливо, но без улыбки спросил младший, не отворачивая крыла и с готовностью приподняв освобожденную из одежды кисть руки. «Не надо, нет, хватит!» – постепно, испуганно зачастил Валерка, отступая на шаг и машинально выставив перед собой вскнутые ладони с растопыренными, подрагивающими пальцами. – Не надо...» И тут же порхнула

вороватая мысль: «Интересно, слышали они? Ну Танька, ну тварь...». Валерка прищурился, быстро, искательно обшарил глазами лица ангелов и вдруг разозлился на себя за эту непонятную тревогу, за колючий шипок в сердце, за трепыхавшиеся мысли – никогда прежде, общаясь с людьми, не ощущал он душевных неудобств и ухудшений самочувствия, а тут словно выволокли его на яркий, безжалостный, насквозь пронизывающий свет, и было жестко, неловко, муторно...

Ангелы, ни слова не говоря, развернулись и стали неспешно удаляться. Валерка лихорадочно огляделся. Теперь не было вокруг ни сиреневых сумерек, ни клубящихся дымчатых облаков, причудливо закрученных, – стоял обыкновенный день, под ногами рассыпался вполне земной серенький песок, а над головой маялось блеклое голубоватое небо. «Пустыня никак», – пометавшись взглядом по бесконечному пространству с рассеянными кое-где безлистыми чахлыми деревьями, решил Валерка, стараясь ступать по следам ангелов, слабо отпечатанным в зыбком песке.

Шли, по ощущениям Валерки, уже долго, глазам предсталвал прежний скудный на краски и предметы пейзаж, и беззвучно рассыпался под ногами песок. Странный он все же был: то ли плотная, густая пыль, то ли песок мягкий, который, если зачерпнуть ладонью, в пальцах не заскрипит, – Валерка решил попробовать, наклонился, погрузил руку до кисти в серую зыбкую массу... Ощутил легкое тепло, скользящее движение воды, бьющей из родника, и – замер. Медленно распрямился, забыв о песке и судорожно вытянув перед собой руки; завертел головой, оглядывая себя со всех сторон: нет, не показалось, одет он был в новый, стального цвета костюм с голубой рубашкой, на ногах поблескивали тоже новые коричневые туфли, под ними ощущались гладкие эластичные носки. Валерка почувствовал, как от напряженного усилия осознать, вспомнить момент поразительного переоблачения, от неспособности найти объяснение неким таинственным событиям зашумело в ушах и бросило в жар. Отчетливо помнилось, как лежал он у себя в комнате, прерывисто дыша и сглатывая колкую слюну; как на глазах усыхали и желтели голые руки, протянутые поверх затасканного, измазанного мазутом казенного одеяла, утащенного из-под генеральского «уазика», пока худенький, белокрысыый солдатик отошел пить; как стучали посудой и пьяно бормотали за стеной друзья и квартиранты: сначала они заходили, совали к губам выпивку и закусь, шумно вздыхали и утешали, икая; когда же он стал отказываться, молча отворачивая голову и все чаще падая в пропасть, над которой грузно ползали темные тучи и стукались лбами, – ходить перестали и буднично звенели пол-литровыми и майонезными банками, приспособленными под стаканы. И теперь – этот дорогой шерстяной костюм, рубашка, носки...

Валерка, оцепенев, не опуская деревенеющих рук, смотрел вдаль. Повсюду было по-прежнему пусто, серо, уныло, с отчаянием цеплялись за текущий песок изогнутые низкие деревца. Маялось небо, на котором натужно высвечивало сквозь туман худосочное солнце, словно кто-то долго тер блеклую слюду и протер маленькое неровное отверстие в другой мир, такой же тусклым, глухой, бесцветный... И лишь фигуры ангелов впереди, их белоснежные одежды и крылья были единственным ярким, чистым штрихом, оживляющим тоскливую панораму.

«Я помер, это понятно, – лихорадочно соображал Валерка, не сводя глаз с ангелов, безвольно опустив руки и с трудом делая первый шаг, – но откуда костюм? Значит, похоронили меня... Когда? И где? Была ли музыка?... Кто могилу копал?... Тыфу ты, господи, какая разница. Что же это я ничего не знаю? Спросить бы у кого... В гробу, интересно, меня похоронили, или как... Да в гробу, конечно, неужели в таком костюме просто так бросят?... Тыфу ты, что за ерунда!.. Санька, брат, он и похоронил, кому еще... На костюм вот расколоса, хороший костюм. Туфли опять же, носки... А поминки были? Не помню ничего... Тамарку позвали или нет? Сидели, наверное, в кафе, не у меня же в квартире: там ни стола, ни стуль-

ев... Если Санька заказывал, то хорошо: всего должно хватить – водки, колбасы. Мяса, наверное, натушили с картошкой... А я где был? Тут уже, что ли? А может, еще только будут хоронить. Да где же я, господи?!»

Валерка, чувствуя, как кружится голова, и забыв, что это бесполезно, ускорил шаг, пытаясь догнать ангелов. В лицо вдруг с силой толкнулся ветер, под ногами что-то суетливо зашелестело. Валерка опустил глаза: навстречу, обгоняя друг друга, смешно подпрыгивая и переворачиваясь, катились по песку сухие желтые листья; их становилось все больше, шестящий поток густел, ширился, и скоро Валерка бред, утопая по щиколотку в золотистой лиственной чешуе. Песок внизу налился упругостью, ощутимо затвердел, и под новыми туфлями листья ломались с тихим, жалобным хрустом. Все вокруг неузнаваемо преобразилось: небо плеснуло голубизной, чахлые деревца разогнулись, широко разбросав ветки, рванули ввысь, утолщаясь в стволах и уже покачивались от ветра большими, черными, с облетевшей листвой деревьями. Новые побеги пружинисто вырывались из шуршащих под ногами потоков, устремляясь к небу, расправляя крепнущие стволы и ветви, и Валерка вступил в осенний лес, вдыхая легкий горьковатый воздух и не удивляясь происходящим на его глазах переменам: с ним самим случилось настолько непонятное, загадочное и непостижимое, что обращать внимание на чехарду пейзажей казалось смешным.

И все же лес, пусть облетевший, сиротливый, сквозистый, в отличие от предыдущих путей предоставлял вниманию больше возможностей занять себя: произвольно, вскользь, отмечалось разнообразие сочетаний, которые создавали деревья, кустарники, высохшие стебли цветов и неровности земли. «Да что же, и тут нету ни одной живой души? – опять с тревогой подумал Валерка, пробегая глазами по сторонам. – Что за место, что за лес... Куда идем, – спросить бы...» – ткнулся взглядом в резные фигуры ангелов, почувствовал: нельзя, и, как заговоренный, вернулся к прежним рассуждениям, пытаясь заполнить смыслом провал в памяти, разделивший его существование на две отдельные, столь непохожие части.

Неожиданно впереди, за редким строем деревьев, выдвинулось темной глыбой приземистое, грубых очертаний сооружение. Валерка подошел ближе: на небольшой поляне, среди услужливо расступившегося леса, длинно растянулся то ли дом без окон, то ли сарай, сколоченный из осклизлых бревен, прихваченных зеленоватым мхом. Ангелы стояли по обе стороны перекосившейся, разбухшей двери с большим ржавым крюком вместо ручки и, не меняя позы, смотрели на Валерку в упор. Он не решительно, сбиваясь с шага, приблизился, ощутив знакомый колючий щипок в сердце и не в силах побороть нарастающую тревогу.

– Войди, – негромко, бесстрастно сказал ему ангел постарше, – и вынеси все, что увидишь.

Младший ангел, чуть помедлив, взялся за крюк, потянул на себя, дверь подалась с протяжным, заунывным скрипом, и Валерка послушно ступил за невысокий порожек в сырой, пахнущий плесенью сумрак. Услышал, как громко, со стоном, прихлопнулась за спиною дверь, отсекая свет дня, лесную тропу, перешептывающиеся вороха листьев, – испуганно дернулся, оглянулся, вскинул руки – толкнуться наружу, но сразу понял: бесполезно, нужно делать, что велено.

Валерка подобрался, напряжился, как перед броском, и ушел глазами в дрожащий, мутный сумрак. Над головой, швыряя скудными горстями желтоватый свет, с пронзительным скрипом раскачивалась маленькая электрическая лампочка, окруженная растопыренной юбочкой жестяного абажура, заляпанного грязно-зеленой краской, какой обычно покрывают стены и двери казенных учреждений закрытого типа. В призрачном, колеблющемся этом свете видны были длинные, в несколько ярусов, ряды деревянных полок, тянувшихся вдоль стен, с узким проходом посередине. «Как в армии», – вспомнила Валерке срочная служба, вскоре выхлопченная неотъемлемая обязанность на продовольствен-

но-вещевом складе, где он расхаживал вальяжно, вперевалку, не вынимая рук из карманов, над которыми топорщился складками не первой свежести китель с обвисшим ремнем.

Сейчас Валерка тоже двинулся вдоль рядов, но неуверенно, крадучись. Ноги предательски дрожали, руки с непроизвольным отчаянием хватались за края шершавых, неоструганных полок. Он брел, отмеряя шаги продуманно, скупо, словно платил за каждый из них последней кровной монетой.

Четко, до звона в голове, Валерка понимал, что должен обязательно найти на полках и вынести нечто важное, необходимое, бесценное. Насторожившись, подобралшись, в ключья разметывая взглядом вязкую пустоту, осевшую на растресканных настилах, лихорадочно искал. Полки были пусты. Он не поверил, пошел обратно, низко склоняясь над каждой, заглядывая внутрь и безнадежно упираясь глазами в близкую, непроницаемо-серую стену. Встав на цыпочки, подпрыгивая, осмотрел глухие углы верхних полок, пристынутые белесыми нитями паутины; то опускаясь на корточки, то егозя по холодному полу коленями, заглядывал в нижние темные закутки. Полки были устрашающе пусты.

Валерка распрямился и, бессильно прислонившись к косяку двери, с неистойной надеждой – в последний раз – бросил взор на шершавые полки, охотно выпячивающие бока жидким выплескам света, на глухие, мрачные стены; на пыльный, изборожденный его коленями пол... Пора, нужно было выходить, но Валерка томился, медлил, тяжело переступал с ноги на ногу и пугливо озирался. Вдруг, когда лампочка вверху со скрипом качнула в его сторону хилое тельце, показалось: на ближней полке что-то белеет. Валерка быстро шагнул, присмотрелся. На грубой деревянной поверхности, беспомощно распластавшись, лежал крохотный бумажный лепесток. Еще не беря его в руки, не всматриваясь, Валерка благодаря странному, порой возникавшему в нем чувству, понял: автобусный билет.

Вспомнился тот день резко, ясно, одним объемным кристаллом, спрессованным из разноцветных мозаичных осколков. Вот рано утром, с робостью постучав и неловко потоптавшись на пороге, вошла Захаровна, соседка. Пряча руки под фартуком и порывисто выпрастывая то одну, то другую, чтобы поправить выгоревший платок или легко, ребром пальца отереть уголки ссохшихся в ниточку губ, Захаровна остановилась у двери. Покорно глядя блекло-голубыми глазами на Валерку, обдирающего за столом воблу, негромко, причитая, стала просить съездить в область, забрать из больницы внучонка, – сама ить дальше околицы не была, а мать его слегла, сделай доброе дело, мальчонку третий день как выписали, сам не доедет, а мать думала – сдюжит, встанет, ан нет, а за дорогу дам, сколько надо и сколько скажешь.

Валерка рассеянно слушал, запивая пивом жесткие пересоленные кости, царапающие язык, и хмурился. Ехать никуда не хотелось, голова трещала после вчерашней рыбалки, где словили только традиционного «ерша», тянуло завалиться в саду под яблоней, а вечером – как получится: то ли опять на рыбалку, то ли на танцы. Отпуск, как-никак, ё-моё, законный отдых. «От чего же ты отдыхаешь? – ехидно так, вкрадчиво спросила Татьяна, братова жена. – Или перетрудился сильно?» Да пошла она, Татьяна... плевать...

Захаровна стояла долго, по второму разу, по третьему рассказывала про больницу и про внучка – сделай доброе дело ради Христа! – и все теребила горошистый носовой платок, стянутый тугим узлом: копеечка к копеечке. Валерка, наконец, не выдержал, лениво отмахнулся – ладно, съезжу.

Мальчишку соседского Захаровна с ее дочерью растили вдвоем. Отца, щуплого болтливого мужика, по пьяной лавочке прибило на лесозаготовках, два дня он харкал кровью и несусветно матерился, отказываясь ехать в больницу, а на третий старательно вытянулся во весь свой невеликий рост, посерьезнел и затих. Мальчишка рос хлипеньким, испуганным, говорили – дурковатым, все сидел возле мутного окошка с парадно-блестя-

щами елочными шарами, разложенными на вате между рам, если не был в больнице, а туда его отвозили часто, сначала в районную, потом стали давать направление в область.

Собирался Валерка недолго: сунул в карман Захаровнин аккуратно сложенный червонец, пригладил шевелюру, обулся. В автобусе до райцентра по салону шныряла кондукторша, крикливая тетка с прилипчивыми глазами, и пришлось купить билет... Зато в пригородном поезде Валерка платить не стал, залез на вторую полку, отвернулся к обшарпанной, скучно-синей перегородке и проспал всю дорогу, отдав бесчувственное тело в распоряжение занудной, дергающей вагонной качки.

Перед обратной дорогой, усадив ежившегося мальчонку возле неопрятного, в ржавых разводах и пятнах окна, забросив его гулкой, с острыми углами чемоданчик на верхнюю полку, Валерка сбежал в привокзальный буфет, купил бутылку дешевого красного вина и четыре жареных пирожка с мясом. Билеты снова решил не брать – в крайнем случае сунуть контролеру рублевку-другую. До отправления постоял на перроне, равнодушно оглядывая сквозь марево сигаретного дыма вызывающе-зеленое, с прилепленными по углам белыми завитушками здание вокзала и сладостно ощущая кожей твердую округлость затиснутой в карман бутылки.

Вернувшись в полупустой вагон, отметив не без удовольствия отсутствие соседей и мельком взглянув на мальчишку, стал трудиться над пробкой. Мальчишка спал, неловко изогнув слишком слабенькое, щуплое для своих девяти, что ли, лет туловище, прислонившись к перегородке непомерно большой, коротко остриженной головой и широко, удивленно раскрыв рот, в уголке которого пузырилась капля слюны. Валерка вольно раскинулся по сиденью и, сдерживая нетерпение, без спешки отхлебывал сладковатое вино, рассеянно поглядывая то на мальчишку, на его стоптанные внутрь сандалии, плохо отглаженную, в крупную клетку тесноватую рубашку, выбившуюся из брючек, то на замызганное, мутно отсвечивающее окно. За ним, трепеща пышными зелеными рукавами, срывались в танцующий бег деревья, покачивалась трава, а на бледном небе, среди причудливых переплетений розовых, желтоватых, сизых теней радостно сиял огромный золотистый зрачок солнца, но сверху на него, как веко, уже медленно опускалась клокастая хмурая туча, безжалостно гася яркость и полноту красок.

«Дождь, видать, будет». Валерка, жадно растормошив на столике лоснящийся пакет, вытянул из него бесформенный, в рыжих подпалинах пирожок. Пирожки были холодные, не совсем пропеченные, мяса в них со щепотку, но на закуску годились вполне. Валерка хотел оставить мальчишке парочку, потом один, но елось и пилось так сладко, удобно, что он еще долго, растягивая удовольствие, жевал, пил, откусывал...

Как задремал, не запомнилось, а очнулся от толчка, от шума и топота, возни, суетливых голосов: поезд прибыл на конечную станцию. Валерка неохотно, хрустя суставами, потянулся, тряхнул гудящей головой и, с раздражением оттолкнув ногой назад под скамью выкатившуюся бутылку, встал, чтобы снять чемоданчик с полки. Мальчишка сидел, напряженно приподняв плечи, зажав руки между коленок, и смотрел, часто моргая. Валерка рывком сдернул чемоданчик и молча пошел к выходу, непроизвольно, краем глаза успев заметить, как мальчишка загляделся на топорщившийся у окна промасленный пакет, смятый так, что и не поймешь – пусто внутри или что-то лежит...

В райцентре повезло: встретился знакомый шофер, он и довез их до деревни на старой, гремящей полуторке. Валерка, несмотря на ломоту в висках, был возбужденно-весел, разговорчив и с некоторым усилием подсчитывал, что на остатки Захаровнина червонца можно купить еще бутылку и, пожалуй, хватит на пачку простеньких сигарет...

Валерка крепко сжал в пальцах тот, единственный билет на автобус. В последний раз, до боли напрягая глаза, обошел и оглядел ряды полок и,

поколебавшись, глубоко вздохнув, как перед погружением в воду, толкнул дверь. Окатило ровным, устоявшимся светом дня, шорохом листвы, и свежий, пахнувший дождем ветер стремительно, торопясь, покрыл лицо прохладными мазками. Ангелы стояли на прежнем месте, у крыльца, и глядели выжидающе. Валерка, чувствуя, как тяжелеют ноги, неуклюже шагнул со ступенек и вытянул перед собой руку с зажатым тремя пальцами, намертво, билетом. Ангелы молчали, не двигались. Валерка поспешно, суетливо, решив, что не видят, разжал пальцы, уложил билет на ладонь другой руки, задрожавшей мелко, противно. Вдруг случилось непредвиденное, страшное: порыв ветра шаловливо подцепил невесомый клочок, приподнял, закружил и утащил за собой, как тянут за нитку бумажный бантик дети, играя с котенком.

Валерка ахнул, качнулся вслед вертящемуся лепестку, беспорядочно замахал руками, затоптался на месте, но вокруг уже было пусто, пусто... Он очумело уставился на ангелов: тот, что постарше, смотрел на него устало, без всякого выражения на матово-бледном лице, а младший, опустив голову, задумчиво тербил край поникшего крыла. Наконец тихо, обреченно вздохнул, распрямился и, не глядя на Валерку, потупившись, подошел к старшему, встал рядом. Тот, не меняя позы, бесстрастно, раздельно произнес: «Ожидай нас здесь», – взял младшего за руку, и они не спеша направились мимо Валерки в глубь напряженно застывшего леса.

Валерка, ощущая слабость во всем теле и легкий озноб, потерянно оглянулся, рассчитывая присесть на крыльцо, с которого недавно соспустил, и обомлел. Крыльцо было, ступеньки тоже, но другие и, что самое удивительное, знакомые с детства: он стоял около родного дома. Голова закружилась, сердце гулко бухнуло, и Валерка, расплываясь телом, как медуза, грузно осел на широкие ступени. Дом пустой, мертвый, холодный, с разбросанными повсюду тряпками и невыметенным мусором, – он уже знал это твердо и уверенно, – каким был в день продажи.

Любимому сыну, Валерке, на которого возлагались все гордые надежды и упования, родители отписали дом еще при жизни, которая у обоих оказалась весьма недлинной, но перед смертью успели наказать, чтобы в случае продажи дома поделится выручкой с братом. После похорон матери, ненамного пережившей отца, брат, взявший на себя все расходы, завел было разговор о доме, но Валерка, неопределенно цокая языком и гуляя глазами, дал понять, что время хозяйских распоряжений еще не наступило.

Дом он не продавал долго – наезжал, жил, кутил с друзьями. Когда ушла Тамара и жизнь стала расплзаться по швам, через которые неумолимо уплывали бывшее благополучие, деньги, устоявшийся быт, Валерка начал понемногу пропивать родительские вещи и мебель. Дом ветшал, сыпал рыжей побелкой и выцветшей краской, скрипел, стучал кособокой калиткой, и наконец, поддавшись увещаниям друзей: «Скоро вообще ничего не получишь», – Валерка продал дом почти за бесценок. И, хотя брату он не дал ни копейки, деньги разошлись на удивление быстро...

«Знают ли они? – с зудящей тоской думал про ангелов Валерка, обхватив голову руками и раскачиваясь из стороны в сторону, изо всех сил сдерживая себя, чтобы не обернуться. – Куда они пошли? Сколько мне тут сидеть?» – «А куда торопиться? – вдруг где-то внутри Валерки произнес ясный, насмешливый голос. – Ты же помер!» Валерка встрепенулся, подскочил. Действительно, ведь помер. Ангелы эти. А еще должен быть рай, какие-то небесные мытарства, судить должны... Когда, что? Он сцепил пальцы в кулаки, прижал к груди и, полыхая, прищелкивая зубами, оторопело завертел головой. Впереди сквозил лес, по сторонам сквозил лес, сзади... Валерка медленно, напрягая шею, обернулся. Дома не было и следа – на его месте и дальше тянулся лес, расходясь посередине в неширокую, ровную аллею, в кольшушемся свете которой, не тревожа лиственную россыпь, возвращались ангелы. Валерка ждал их, неудобно замерев, боясь пошевелиться и тщетно пытаясь смирить дрожащий подбородок.

Ангелы приблизились, обошли Валерку, встали перед ним плечом к плечу. Он повернул голову, не чувствуя затекшей шеи, смотрел на них жадно, во все глаза, переводя взгляд с одного осунувшегося лица на другое. Наконец тот, что постарше, поймал мятущийся Валеркин взгляд, накрепко притянул к своим огромным мерцающим зрачкам и бесцельно, с расстановкой проговорил: «Тебе определено осознать свою жизнь», – вяло взмахнул рукой, указывая на что-то за спиной Валерки. Он машинально проследил траекторию движения и ничего особенного не увидел. Тот же пустой, застывший лес, то же низкое небо, та же стелющаяся грива листвы.

Внезапно Валерка почувствовал легкое, но настойчивое прикосновение к своим локтям, направляющее вперед. Ангелы, приблизившись вплотную, вели его к узкой пустынной аллее. Неожиданно ровные ряды деревьев, составлявших аллею, дрогнули, покачнулись и плавно, будто в танце, ступили навстречу друг другу, кокетливо выгибаясь в поклоне, сплели ветки и закружились – все быстрее, быстрее, быстрее, увлекая в дикий хоровод оборвавшееся полотно неба и вздыбившуюся массу листвы. Валерка почувствовал, как темнеет в глазах и оползает тело, но ангелы, что-то громко крикнув друг другу сквозь пронзительное, вьюжное завывание, крепче сжали его локти и вдруг сильно, тяжело толкнули от себя. Валерка осознал, что падает, но, налетев грудью на что-то упругое, мягкое, воздушное, удержал равновесие и с трудом выпрямился. Ангелы стояли рядом, прерывисто дыша, на бледных матовых лицах проступил слабый румянец, а глаза казались глубоко запавшими.

«Больше ничего не можем для тебя сделать, – тихо сказал младший, сдерживая дыхание, – иди...» Валерка сразу понял – куда. Перед ним снова скрипела, раскачиваясь на ветру, разбухшая дверь знакомого склада ли, сарая. Ободренный тем, что вокруг все по-прежнему устойчиво, крепко, что унылое помещение он облазил вдоль и поперек и знает там каждый уголок, Валерка распахнул дверь и, переступая порог, оглянулся. Ангелов не было – будто растаяли, – и тут дверь лениво, нехотя захлопнулась...

В крохотной комнатухе, где он очутился, у серой шершавой стены, на глиняном полу стоял узкий, обтянутый старой кожей топчан, жесткий даже на вид. Ничего другого в комнатухе не было, за исключением малюсенького, с ладошку, оконца под низким потолком. Уже ничему не удивляясь и чувствуя лишь непомерную усталость, Валерка шагнул к топчану и блаженно на нем растянулся, закинув руки за голову и прикрыв глаза. Думать ни о чем не хотелось, но мысли путались, сбивались в лохматый, ненужный клубок, однако ни одна судорожная попытка вытолкнуть, выкатить из себя этот клубок не удавалась, и Валерка понял, что не получится праздно, бездумно лежать, глядя в потолок, как было раньше, до того времени, пока он не умер...

Мысль о собственной смерти опять обдала отрезвляющим холодом и неуютностью, лежать расхотелось, Валерка поднялся и зашагал по комнатухе: три шага туда, три – обратно. «Что-то здесь не так, – размышлял он, имея в виду свою кончину, – говорили ведь: душа бродит по небу, видит сначала рай, потом ад, потом где-то там определяется... А меня потаскали за собой неизвестно где, лес какой-то, пустыня, сараи... Хуже нету, когда не знаешь, что тебе по судьбе предназначено. Там, на Земле, еще ладно – живешь, как крот слепой, про завтрашний день знать не можешь, – закон такой, – но тут-то! Все ведь давно расписано, поминки справляют: девять дней, сорок дней... Ничего не понимаю... Хотя, конечно, на топчане лучше, чем у чертей на сковородке кувыркаться, – да их и нету, что ли? Рай опять же – яблоки, музыка, сплошные цветы – тоже нету? Или не показали? Может, покажут еще, ангелы-то эти... Ждать-то сколько мне, и чего ждать?»

Валерка подошел к оконцу, оказавшемуся на уровне его глаз, выглянул наружу и отпрянул от неожиданности: за стеклом, на травке, играли обе дочери. Наряжали куклу. Кукла старая, облезлая, и девчонки, вырывая ее друг у друга, то цепляли к голове бантик, то завязывали пышный поясик. Валерка сразу понял, что играли дочери в то время, когда он привез

с собой деньги за проданный дом, – жене и девочкам он тоже не дал ни копейки... Никогда не давал, ни с одного случайного заработка, алименты же с него поначалу были курам на смех, а потом и вовсе прекратились...

Валерка, не помня, как очутился на топчане, сидел и мучительно шарил по стене глазами: как же так случилось? Вдруг воображение раскинуло большой, чистых красок веер: Тамара от него не ушла, он заявляется домой с деньгами, дочкам – по кукле и конфет, Тамара улыбается, что-то оживленно рассказывает, тепло, чисто, пахнет сдобным тестом и свежим бельем... Валерка встрепенулся, подскочил, заметался по комнатушке, сжимая кулаки: надо, надо было так сделать! – и от невозможности все исправить, вернуть хотелось упасть, выть диким зверем.

Он не смотрел на маленькое, тусклое оконце, он знал, что за ним – заискивающие родители; рано постаревшее лицо Тамары; брезгливое передергивание Татьянинных плеч; брат, униженно сующий соседям свернутые купюры; мальчонка-сосед с навечно испуганными глазами; запах перегара, звенящие стаканы, крепнущий с каждым глотком кураж – вся длинная, бесформенная, уродливая череда дней и ночей, перемешанных друг с другом...

«Как можно было бы прожить!» – Валерка испуганно метался по комнатушке, скрипя зубами, кидаясь к стене, – она податливо, мягко прогибалась под его кулаками, и ударов не получалось; обхватив голову руками, с тяжким стоном бросался на пол, вертелся волчком, причитал что-то неразборчиво, дальше, рвущее...

Сколько так продолжалось, он не помнил. Показалось – целую вечность. И вдруг ясная, страшная в своей простоте мысль пронзила и обожгла: «Да это же ад! Я в аду!» Валерка медленно поднялся с пола, задыхаясь, добрал до топчана, сел. В голове мутилось, сердце било редкими, болезненными толчками. «Наверняка ад, – как в тумане, поплыло в мозгу, – где еще возможны такие муки...»

Валерка посидел, жалко свесив руки и сгорбившись, пока новая мысль не заставила его взвиться. «А другим-то – что? Убийцам, насильникам – им какие муки? Если такие же – где справедливость?» Он сорвался с топчана, бросился к двери, заколотил в нее изо всех сил, впрочем, ни на что не надеясь. Но дверь вдруг со всхлипом скрежетнула, распахнулась нешироко, и в просвете, на пороге, встал младший ангел. Глядел прямо, сурово и сказал сразу же: «Каждому отпущено по делам его, необходимой мерой и весом, и муки других пусть тебя не беспокоят». «Но неужели могут быть сильнее моих?» – дрожа, холодея, выдохнул Валерка. «Вам не дано знать больше того, что положено», – чуть помолчав, старательно выговорил ангел, и по тому, как он задержался с ответом, по особой внятности произношения Валерка понял: могут! Могут быть муки сильнее!

Но легче от этого не стало и, боясь, что ангел исчезнет, Валерка, протягивая к нему руки, робко, сбивчиво забормотал: «Есть же черти где-то, огонь, грешники разные... Я согласен лучше туда... пошел бы... сил больше нету...», – но под пристальным взглядом смешался, умолк, опустил руки и глаза. Когда решился опять взглянуть, светлая полоса у двери уже исчезла, безжалостно придавливаемая тяжелыми досками; успел крикнуть пронзительно, с горьким надрывом: «Я здесь навсегда?» – однако последний звук его голоса был разбит, раскрошен гулко бухнувшей дверью.

Валерка постоял, до боли в ушах прислушиваясь к тишине по ту сторону жизни (или смерти?) и отчетливо сознавая, что не надо бы ему видеть тусклое, невыразительное оконце за своей спиной. И так же отчетливо, ясно он чувствовал, понимал, что сейчас неодолимая сила развернет его, бросит к замутившему стеклу, за которым... да, да... И ничего уже нельзя изменить?..

Сказки

АУРЕНТИС

Мир подходит к концу. Я смотрю в зеркало, люблюсь собственными красотами. Я прекрасен и юн. Я поворачиваюсь к зеркалу спиной, оно отражает теперь мою спину. Братья Зеведеевы – андрогинная двуединая сущность – по сути, два ангела, черный и белый, видны за моей спиной. Они все время спорят, одновременное звучание взаимоисключающих голосов. Вечный скрип двери за спиной – что-то выбрал, дверь захлопнулась – и слышишь легкий скрип голоса плачущего или смеющегося.

Как всегда, в конце мира встает вопрос о его создателе. Это всех интересует. Бог, боги, высшие разумы. Вдруг мы неправильно выбрали, и нет нашего бога на небесах? На небесах сидит чужой бог, и нашего он сильно не любит. Возможно? Возможно. А может, и нет вообще бога, того, в которого мы верим, и он придуман такими же обывателями? Или есть, но он – мелкая сошка, маленькая девочка-язата, прислуживающая около большого стола брачного чертога. Девочка поднимает юбку. Девочка опускает юбку. Девочка прислуживает. Тут я вспоминаю об одном трактате, в котором встретил хорошее имя бога. Ведь мы выбираем бога по имени. В ряду представителей мировых религий и школ, в цепочке Заратустра – Будда – Христос – Мани находился он, Аурентис, как основатель своей школы и религии пророк. Больше нигде не видел я этого имени, но говорят, что есть. Морфология имени его такова, что нельзя привести его к какому-нибудь известному персонажу, и даже к слову нельзя (вроде «аура»). И ничего о нем не сообщается. Просто он упомянут как всем известный и уважаемый Бог.

Хорошая получается вещь для аллегорий. Забытый всеми бог-пророк, от которого осталось только имя, уставший, отошедший от дел бог-дедушка, праотец всех сущностей, имя его уничтожено, и церковь его разрушена (и вороны над ней, как над помойкой, кружат), и лишь на далеких индийских кладбищах молится ему древняя секта, которой ведомо Слово. Ну и в том же духе можно продолжать долго аллегоризировать и страдать в тон бытию, под которым зачастую понимается погода.

Еще приятно представить, что Аурентис как раз и окажется творцом мира видимого, такой скромный режиссер. На самом деле он подходит полностью под требования, предъявляемые всякими тайными школами и явными религиями к Отцу (Отцу Величия, Верховному божеству, Яхве, Лихме), который должен до конца видимого мира быть скрытым и неизвестным, храня свой теплый свет, и лишь затем явиться очищенным и проснувшимся (от смешения с тьмой или от неведения, не принципиально) субстратами этого мира (эонам всяким). Такие представления есть у многих из тех, у кого вообще есть какие-либо воззрения на этот счет. Аурентис, про которого ничего не известно, лишь его имя (которое может быть формальной эманацией Его подлинного имени), Аурентис явит в конце мира свое лицо, чем всех очень обрадует (праведных, естественно).

Возможно, коряво я изложил аллегории, которые могли бы выглядеть красиво, но сейчас меня не возбуждает ни чуть слышимый запах растертой полыни, ни форточная химия, ни сваренный в собственном сиянии Эрот, ни тем более красоты письма отдельно от страстей. Кроме того – на дворе конец мира, нельзя не делать скидку на мое слегка встревоженное состояние.

В конце мира я повернулся к зеркалу спиной и продолжил любование собственными красотами, сзади о чем-то ворчливо шептались постаревшие братья Зеведеевы. Возможно, шел снег или не шел, но больше, до самого-самого конца, об имени бога я не думал.

ВОЛХВЫ

Если Христос – не Бог, то мы не спасены!

Афанасий Александрийский

Маги шли осторожно, боясь повредить землю. Друг за другом. Гаспар, Балтасар, Мелкон. Маги шли ночью. Их звезда беспокойно мерцала. Гаспар шел впереди, он думал. У Мелкона сильно болели ноги, но он знал, что уже близко. Мелкон слышал, как Балтасар тихо читает «Аша-Вахишта». Запах незнакомой земли был Мелкону неприятен, он морщился. Они шли уже много ночей. Огни их старой родины ждали их. Ждали с доброй вестью. Он обещал, и так будет. Он обещал нового пророка, Он обещал спасение и звезду. Звезда вела их к пророку и спасению в нем. Гаспар больше не думал, только дышал.

Странный вкус проявился у воздуха. Вкус чуда. Они пошли быстрее. Звезда бесстрастно мерцала. Из темноты возникла пещера. Они вошли в нее. Мелкон увидел молодую женщину с некрасивым лицом. Она родила. Еще были мужчина и старуха. Молодая женщина улыбнулась и спросила:

– Вы пришли посмотреть на Него?

– Да, – сказал Гаспар.

– Вы принесли дары?

Гаспар кивнул. Старуха показала младенца. Он спал. Балтасар достал из сумок все, что они принесли Ему. Золото. Шелк. Одежды. Посох. Они скинули на пол пещеры поклажу, упали на колени. Стоя на коленях, они следили за младенцем. Младенец спал. Вдруг вкус чуда исчез. Младенец открыл глаза и весьма благостно оглядел магов. Гаспар протянул руку и коснулся младенца. Но тут же в ужасе отдернул. Он был испуган. Мелкон почувствовал, что что-то не так. Балтасар все еще читал молитву. Но они встали с колен.

– Вот Сын мой, – сказала женщина.

– Мы видим, – сказал Гаспар.

– Он рожден для жизни вечной и спасения этого мира. – Женщина скорее спрашивала.

– Возможно, – сказал Гаспар, – прощайте.

Он вышел из пещеры. За ним Балтасар. Мелкон пошел к выходу, обернулся: люди смотрели на него недоуменно, младенец спал. Принесенное золото не блесло. Мелкон вышел.

В пещере, вместо обещанного Зороастром третьего пророка, они встретили маленького бога, чужого и холодного. Холод – вот что испугало Гаспара. Этот бог не спасет их. Он не для них, они ошиблись. Звезда погасла, пока они шли домой. Гаспар, Балтасар, Мелкон. У Мелкона болели ноги, он чувствовал себя слишком старым, даже древним. В молчании они шли ночью, пока не пришли к своим огням.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ

Жил-был царь, и было у него три сына. Царь был Маздай. А сыновья так себе. Старший сын на охоту пошел. Принес птицу (немного птицы). Пировали. Средний сын на охоту пошел. Принес рыбу (охота была). Пировали. Младший сын на охоту пошел. Ничего не принес. Голодали. Старший сын умер. Горевали. Средний сын умер. Горевали. Младший сын не умер, живой ходит. Сколько сыновей осталось у Маздая-царя? Ни одного. Младший – дурак, он не считается.

Младший сын по дороге идет. Шел, шел, надоело. Сидит. Смотрит – солнце светит. Стал он с солнцем разговаривать:

– Свет мой, солнышко, скажи да всю правду доложи.

Солнце доложило всю правду. Младший сын домой пришел, дома сидит. Сидел, сидел. Потом к царю пошел и сказал:

– Отсутствие отсутствия – не присутствие.

Подумал царь и тоже чего-то сказал. Потом еще подумал и замолчал. Три дня молчал. Решили все затем, что младший сын не дурак. Старому царю стыдно стало, он от царствия отказался и в гору пошел. Залез куда-то и остался там. Ночевал. Потом жить там стал (на горе). Новым царем младшего сына избрали. Помыли (он грязный был), одели, на трон посадили. Царствовал младший сын какое-то время, потом перестал (потому что умер). Вот и сказке конец.

ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ

У царя одного было что-то, поразительно напоминающее трех сыновей. Живет царь, живет. Потом нет-нет, да и посмотрит, что же у него трех сыновей-то напоминает. Не поймет и сидит в раздумье часами (а волк в лесу живет).

Однажды у царя болел живот. Да так сильно, что он кричал. Ходит по дворцу и кричит: «Ей, ей! Дворец мой дворцуженька!» Потом царю надоело кричать (а животу – болеть). Царь лег и стал все время лежать (а волк ходит в лесу). Лежал царь, лежал, а одно ухо у него пропало. «Где ухо-то?!» – гневно воскричал царь и отправился на поиски. Искал, искал, нашел. Обрадовался (а волк в лесу ходит). Надоело царю, что волк в лесу ходит, пошел он в лес, тут волк и съел его.

А то, что напоминало поразительно трех сыновей, на поверку действительно оказалось тремя сыновьями царскими. Обрадовались братья, сели – и давай пировать. А после царство на три части поделили и сделали еще чего-то. Так про Рашмураппи говорят.

ЕЩЕ ИСТОРИЯ ДРУГОЙ СЕМЬИ

Жил-был царь, и было у него два сына. Третий умер в отрочестве. Такая тихая, добрая царская семья. Семья – ячейка общества. Все они сидели там (во дворце) и молчали. Однажды старший сын встал и пошел (ибо сказали ему: встань и иди). И ушел куда-то. Потом второй сын, что был младше старшего, но старше младшего (который умер в отрочестве), также встал и пошел (хотя ему ничего не говорили). Долго ли, коротко ли шел, неизвестно. Далеко ушел. Видит там (в лесу) старший брат его стоит. Стоит без какого-либо видимого занятия. Тот его спросил, чего он (старший) стоит. А старший молчит. Помолчали. Второй дальше пошел. Прошел шагов двадцать и встал. Дальше идти не может. Стояли, стояли, стояли. Долго стояли. Окаменели вконец. Люди по ним погоду узнавать

научились в тех местах. А царь (что во дворце) стал жену искать. Искал, не нашел. Видно, померла в какой-то момент. Расстроился царь, расстроенный сидит. Тут вдруг младший сын (тот, что, думали, в отрочестве умер) входит. А он не умер в отрочестве, как думали. А просто был где-то. Вошел и как ударил царя по лбу дубиной (дубину с собой принес). Царь от этого всего умер. А сын его (что не умер) сел на трон и царствовать стал. Вроде даже иногда какие-то слова говорил, но мало. Вот и сказке конец.

БЕАТА

Давно.

Беата вышла из леса, где росли высокие грибы, и улыбнулась своим ненавязчивым мыслям. Деревья попрощались с Беатой, и прочие лесные существа также махали ей вслед. Луг, где она появилась, был светел, и цели птицы. Казалось бы, странно, птиц видно не было, но было их пение. Еще цикады. Трава пропускала маленькую Беату сквозь себя и смыкалась за ее спиной. Мысли, что были в девочке, односложны и просты. Она органична, несмотря на переизбыток белого в платье. «Пирог. Вкусен. Был», – вспоминала Беата завтрак. Пирог Беата кушала каждое утро в том замке, где родилась. И запивала клюквенным морсом, настоянном на соке хаомы и всяких кореньях. И то, и другое дитя вкушало издревле, не надоело. А было девочке 727 лет от роду. Что так? Да вот. «Жизнь. Скучно. Менять», – решила сим утром юная и покинула замок. Страж ворот, усыпленный солнцем и перманентным потреблением хаомы, не видел, как ребенок распростился со своей обителью. И вот теперь, после двух часов ходьбы, Беата была на лугу. «Далеко. Я», – думала.

Тут – старуха. Стоит в центре луга. Старуха хочет дождя и колдует, колдует. Жжет кусочки муравьев древних и листья неизвестных растений. Молится:

Солнце.
Ты, несущий все живое своими руками.
Вдыхающий каждый день и постоянный.
Путем одним следующий,
Но по-разному каждый день сущий.
Всеблагой и всем благое сотворяющий.
Я, старуха, хочу дождь!

Так старуха (и по-другому) говорит, и птицы (те, что не видны) ей подпевают. Кружится старуха на месте, дует в свой огонь, как будто он без нее не знает, как гореть. Потом старуха раздевается (являя свое сморщенное, сухое тело) и молвит:

Пусть жертвой буду я,
Солнце, твоей.
Совокупись со мной или развей меня лучами.
Но племя хочет дождь – суть – есть.
И пусть я буду жертвой, я, старуха.
О, Солнце!

Солнце усмехнулся. Старуха этого не видела, но поняла, что жертва отвергнута.

Молилась вновь все равно.

Солярный наш.
Уйди за тучи. Лучами бей их.
Умирает племя!

Солнце молчит. Старуха в отчаянии.

Беата. Старухи не видя и не ведая того, что было. Подходит к месту, где старуха (и видит ее).

– Что? Старая (здесь)? Нагая.

Старуха отвечает:

– Дитя, здравствуй. Я – колдунья. Дождь колдую, нужен очень. Ты кто, дитя?

Беата рассказала. Что жила она в замке. Жила 727 лет. Что дочь она разных отцов, которые то умирали, то рождались. И дочь земли (букв. земляная). И что она есть принцип равновесия мира и повсеместного счастья залог. Живет одна, со стражником и куклами. Кукол много. Деревянные, бронзовые, водяные и совсем аморфные. Едой питаться, пить, сны наблюдать и играть в кукол – все ее существование. Но поняла она (Беата), что сама, как кукла, что играют ею боги, служит она для их целей. Скучно ей и грустно. Боль всего мира и чернота – все она выпитывает, как губка. Губка мироздания. И гулять никто не разрешает. Вот, убежала.

Старуха рассказ выслушала. Решила, что перед ней некая малоизвестная Амеша-Спента, только маленькая, спентенок еще. Потом старуха (незнаю зачем) о своем народе поведала немного.

– Я из племени людей. Как звать нас – нам неизвестно, кто такие и откуда – тоже. И кто создал, не знаем.

– Адавокартишеспор-Ла, – назвала Беата имя создателя.

Старуха имени бога не услышала. Так как внутренних ушей у нее не было (не развила).

– Так. Существоем мы, рисуем на воде перьями, также сны мы иногда видим. Я вот с птицами дружу. Но надо нам есть материю. Ты ешь вот? – спросила старуха.

– Да. Нравится. Необязательно. Впрочем.

– А мы иначе уходим, если не едим. И нужен дождь нам, ведь мы земледельцы. А нет его. Тут солнце я прошу в пустыне этой...

– Луг. Здесь, – поправила Беата.

– Ошиблась. Пришла я, в общем, дождь колдовать, не выходит. Хотела себя в жертву обратиться – Солнце не взял.

И замолчала старуха, плачет. Беата же стоит, думает свои ненавязчивые мысли, теревит краешек белого платья, смотрит на свои красивые ручки. Потом сказала (говорит):

– Оденсья. Бабушка. Готовь. Нож. Жертва. Я.

Тут только старуха заметила (ей позволили), что Солнце вожделенно на девочку смотрит и нравится она ему. Недолго терзалась старая. Нож вытащила, Беату умертвила жертвенно. Остатки побросала в огонь, сгорели. Беата отправилась к Солнцу, и у него (в нем) навсегда стала. Стража боги наказали, замок сам собой обветшал и пылью стал. Боги плакали тогда. Солнце тоже плакал. Ведь девочка уже сгорела. Солнце, прельстившийся ребяенком, забыл, что жарок и вечно должен один быть. «Ему грустно, одиноко», – боги знали это и не стали особо наказывать. Но Солнце выплакал половину себя, и теперь есть ночь. Теперь в мире нет больше покоя и равновесия, счастье перемежается с несчастьем, зло появилось. Все дуалистично стало, единение мира (или с миром) единично. Плохое часто происходит.

Кстати, дождь для племени старой колдуньи так никогда и не пошел.



Евгения РИЦ

* * *

Ференц Лист
Упал с ветки
Совсем зеленым,
Совсем влюбленным,
А мог бы стать кленом
Или даже Равелем –
Если бы написал «Болеро»

* * *

Эликсиры Медарда,
Бежал Магомет из Медины,
Мёдом дара
Небесного мазаны губы –
Страницы Корана.
Крана
Башенного вершины.
Злая нынче година –
Магомет бежал из Медины,
Эликсиров Медарда отведав.

* * *

И пришлые работницы
Безжалостно тиранили соски
Коров,
Благодаря за кров
И хлев румяного хозяина.
А батраки ворочали стога.
И не строга
Была хозяйка
И не скупа на ласку.
А Рождество и Пасху...

* * *

– Мы купим маленький домик
И маленький магазинчик
Сцепившись мизинчиком за мизинчик

Мы никогда не поссоримся
В нашем магазинчике
Мы будем продавать разные крупы
Рис, например, или саго

«Сага
о свинье» Вудхауза
Станет настольной книгой
И еще леденцы разноцветные в банке
И хранить сбережения в банке
А если ты умрешь
И оставишь меня одну
Я, наверное, больше никогда не усну
И буду ночами выть на луну
И еще мороженое, которое лижут –
Слегка
Першит в горле
Зимой мы будем кататься на лыжах
И на коньках
А еще соль, спички, всякую ерунду
Я от тебя никогда не уйду
– А я от тебя.

* * *

Скоро
(Какое сегодня число?)
Осень наступит.
Будет холодно и красиво,
Как в старых романах.
В карманах,
Как табачные крошки меж швов,
Завалается август,
И все кругом станет усталым.
А я не устану,
Я стану вокзалом,
Встречающим тех, кто вернулся с курорта,
Последним журналом,
И чьим-то осколком,
И мыла кусочком забытого сорта.



Зывезда

РАССКАЗ

Утро начинается с этого мокрого казенного звука. Уборщица остервенело чавкает тряпкой и ее швабра маятником тупо и зло перебрасывается от стены к стене. Вшут – вшут, вшут – вшут, вшут – вшут...

Все. Начало отсчета. Новый день.

Следующий звук – тяжелые шаги Лодова. Шаги необычные, с при шаркиванием: наступил – пришаркнул, наступил – пришаркнул... Плюс к этому при каждом шаге его мотает из стороны в сторону, как будто пол начинен зарядами тока. Сам-то он уже привык, а другим смотреть – ну сплошное мучение. ДЦП.

Совершаю первый променад в сортир. Лодов бредется, стоя у умывальника, мучительно извивая лицо.

– П-п-привет! – говорит он и так поводит головой, словно хочет боднуть.

– Привет, как дела? – говорю. И замечаю, что голос у меня хриплый и угрюмый. Видимо, машинально подстраиваюсь под него. Моля, и у меня все коряво. Чтоб на равных.

Лодов начинает мотать головой и мучиться. С речью у него тоже проблемы. И зачем я только спросил про дела?

– Хы-хы-рошо. Вчера ба...ба... бати-и-иы-нки купил.

И начинает медленно и подробно рассказывать про то, какие это замечательные ботинки. Заикается, взрываясь на горловой «ы», основной связующей всех его звуков, но некоторые слова ему все-таки удается проскочить гладко. И тогда глаза его радуются. Радуются этой маленькой победе над собой.

Хороший он человек, Игорек Лодов. Умный и талантливый. Жаль только, никто этого не знает. Физическая неполноценность слишком уж явно ассоциируется с умственной. Впрочем, когда он не говорит и не ходит, он совсем как нормальный.

– Ка-ыричневые... сы- сы шнурками...

– Молодец, – бубню.

Мы вместе выходим из туалета.

Шарк, шарк, шарк. Я почему-то ссутуливаюсь и прихрамываю. Опять же не специально.

– Чи-ыго с ногой? – интересуется Лодов.

– Подвернул, – вру, – ходить нормально не могу.

– А-а, – Лодов понимающе кивает.

И мы долго идем по длинному сырому коридору. Он – шарк, шарк, и я – прихрамываю. На равных.

Впереди – большие выходные. Студенты почти все разъезжаются по домам. Остаются вроде нас с Лодовым – не студенты, не аспиранты. Так. Присосавшиеся к жилью. Пока не выгонят, пока есть пустые комнаты. Комендант – добрейший мужик, впустил. А мог бы кому-нибудь сдавать. За деньги. Стало быть, в ущерб себе. Вот оно – добро человеческое, когда просто так.

«Крышу», правда, нужно немного отработывать. Я, например, числюсь плотником – иногда врезаю дверные замки. А Лодов – электрик. Выдает студентам лампочки и заменяет розетки. Старые на новые. Но работа случается редко: наши студенты – люди научного склада, физики-математики, и дверей не выбивают. А если выбивают, то сами и чинят.

Большие выходные надо хорошо проводить. И я иду в магазин.

На вахте очередь к телефону в два человека. Лерочка Ивасенко ласково сюсюкает в трубку:

– Мамочка! Да, да, слышу... вышли мне немножко денежек... да... все очень... что? Очень все дорого... на учебники... да... нам учебники самим надо покупать... что?... нет, в библиотеке не дают..

Это она врет. Нехорошо, конечно. Сжимает трубку, а ноготочки у нее все нежно розовые. Только на них сколько денег. Милая девочка, племя младое, незнакомое.

Мы соседи. И через тонкую стенку я однажды слышал, как она о ком-то исповедовалась подруге.

– Знаешь, – говорила серьезно, – я хочу быть его подметкой. Его подстилкой. Я хочу мыть ему ноги в тазике, как мусульманская жена...

Охранник Саша протягивает мне через окошко руку.

– Уходишь?

Народу мало, ему скучно от своей рабочей невостремленности – вот и цепляется со словами.

В магазине я долго стою около витрины, выбирая между кильками с хлебом и портвейном. На то и другое вместе мне не хватает трех рублей. Просить в долг неудобно. Я здесь уже и так задолжал червонец.

И вот я стою, в который раз пересчитывая деньги. Потом все-таки прошу записать на мой долговой счет еще три рубля. Вроде шутя. Вроде – стоит ли о такой мелочи и говорить?

Продавщица швыряет в меня кильку, и та весело мчится по длинному прилавку. Но заруливает немного не туда и громко падает на пол.

– Извините, – улыбается продавщица. Это ее изъявление превосходства надо мной.

Я молча нагибаюсь и подбираю. Берущие в долг – не обижаются.

Когда возвращаюсь, Саша во всю ширь своего квадратного тела стоит в проходе и беседует с какой-то девушкой. Смысл разговора прост – она хочет пройти, а он не дает. Она пускает в ход паспорт, деньги, мольбы и угрозы, а у него сегодня скучный день без происшествий. Должен он получить хоть какое-нибудь удовольствие от службы?

Дело к истерике. Саша чувствует. У него ведь работа с людьми. Психолог.

– А дебоширить не будете?

– Нет, нет! – радостно заверяет она, втягивая носом назревшие слезы.

– Ну даже не знаю...

Еще немножко подержать. Тронуть нерв. Но чуть-чуть, без пережима. Это обостренное чувство меры тоже профессиональное.

– Ладно, паспорт, – соглашается, наконец, Саша, недобро поглядывая на меня. Если бы свидетелей не было – он выбрал бы деньги.

Девушка торопливо и неряшливо роется в сумочке.

В лифте едем вместе. Оказывается, она к подруге. Подруга ее – Нина Рябова. Спокойная, крупная женщина. Спать я как-то раз прижал Нину к подоконнику в тупике (там, где стоит жестянка из-под горошка, доверху наполненная бычками). И мы целовались. Сначала она вырывалась (по-

рядочная женщина!), а потом затихла и обмякла (слабая, не способная противиться страсти). У Нины были теплые и большие губы. Как у лошади. Впрочем, я ничего не имею против лошадей.

Помню еще, она приходила ко мне однажды ночью, но я уже был чересчур пьян и желание спать сильно перевешивало остальные. А Нина стала гладить меня по голове и шептать: «Пьяный мой, любимый, ты только спи, спи, не просыпайся, а я на тебя смотреть буду...» Под это я заснул.

Ей, Нининой этой подруге, тоже на пятый.

Из 518-й раздаются вопли. Она вздрагивает и спрашивает: «Что это?», но я только пожимаю плечами – не выдаю наших секретов.

На самом деле, конечно, знаю – это Алла, аспирантка, бьет своего лопухого сынка. Наверное, опять побывала у бывшего мужа, выгнавшего ее из дому вроде за измену. Но в Алле я такого не предполагаю, думаю, просто отделаться хотел. А она каждую неделю ходит к нему и приносит новые доказательства своей невиновности, потом возвращается ни с чем и лупит Витьку.

(Я думаю о том, что человек слаб и против своих обидчиков почти никогда не восстает. Но желание-то ударить все равно остается и требует выхода. Кого – не важно. Того, кто рядом.)

Впрочем, мирятся они быстро, сидят (оба в слезах) обнявшись, и Алка просит прощения.

Сам Витька относится к побоям философски:

– Мне что, ерунда, драться-то она все равно не умеет. А ей облегчение. Он разумно выбирает тактику подставления щеки.

Нинина подруга идет дальше по коридору. Я провожаю ее глазами до двери.

День проходит обычно: вяло и незаметно. Вечером встречаюсь с Витькой на кухне. Оба готовим картошку. Разница в этапах: я уже жарю, а Витька только чистит, почему-то откусывая и сплевывая отросшие глазки вместо того, чтобы пользоваться ножом. Чистит, сплевывает и подводит итоги своего дня, по-мужски делясь со мной:

– Тяжело с женщинами. То плакать, то драться.

И умудренно так качает головой.

Темнеет рано. То ли вечер, то ли ночь. По этажам одиноко алеет Погодин. Он из зарабатывающих, комнату снимает сам, не бедный родственник – не чета нам с Лодовым. (Хотя и с нами пьет, не брезгует.) Сугубый демократ. Только костюм спортивный носит ядовитого красного цвета. Не те ассоциации.

Сейчас ему хочется ночного тепла в чьей-нибудь постели. Из кармана у Погодина торчит и мерцает горлышко зеленой бутылки. Он идет и стучится во все двери – где откроют...

Мне тоже хочется тепла. Можно даже без постели. Просто попить чайку. Из кружки в цветочек с по-домашнему отколотым краешком.

Я стучусь к Лерочке Ивасенко. Лерочка открывает дверь и отступает на шаг. Мол, входи, все равно скучно.

– Чайку?

Я киваю.

Лерочка включает чайник в розетку и режет на тарелку огурец. Задумчиво берет кусочек, начинает протирать им лоб. И личико у нее при этом такое сосредоточенное... Милая девочка...

Я ставлю бутылку портвейна. Мол, мой вклад.

Пьем чай. В какой-то момент беру ее за ладошку. Не отдергивает, а смотрит греховно в глаза. Пробует себя на всех (нравится–не нравится – все равно). Пробует в себе женщину.

Прижимаю к себе. Скорее, скорее, пока не одумалась. Кожа теплая, гладкая, живая. Милая, милая...

И вдруг холодно:

– Да вы что?!

И еще, одергивая поправленную мной кофточку:

– Да вы что... подумали что...

Ухожу. Поражение. Когда их много, то уже не унижает. Просто злит. Злит. (Еще и портвейн у нее остался.)

Я нищий – Лерочка чувствует. Мои ноги она не захочет мыть никогда. Такие девочки созданы для успешных людей в качестве дополнительного подарка. А мне – Нина Рябова с теплыми, большими губами. Знай свой шесток.

Что-то тихо вскипает внутри. Я возвращаюсь за бутылкой. Лерочка появляется за дверью уже в одних трусах. Усмехается, увидев меня (какой настырный!). Стоит себе, ничуть не стесняется. Дразнит.

Я говорю, что за бутылкой. Она хмыкает. Внутри вскипает, вскипает... и тут я разворачиваюсь и хватаю ее за волосы. И трясусь. Усмешечка ее моментально исчезает. Она боится. Маленькая испуганная девочка. Я кусаю ее в шею. И пальцами по позвоночнику, покауда не кончился. Не бойся, я не страшный. И вдруг она сама тянется ко мне. (Поняла. Я теперь не просто алкоголик. Я – мужчина. Дикарь. Завоеватель.) Но я оттягиваю ее за волосы от себя и толкаю. Лерочка падает на кровать. Глаза полузакрыты. Ждет...

А я ухожу. Моя маленькая месть.

Мы квиты. И у меня бутылка.

В моей комнате все стены завешаны рисунками Лодова. Там одни рыбы. Игорек рисует их с завидным постоянством и дарит мне по несколько штук чуть ли не каждый день. Из всего разнообразия фауны он выбрал именно это животное.

Я как-то спросил: почему, а он ответил – в них есть гладкость. Я сначала подумал, что Игорьку нравится, что они скользкие, обтекаемые, но потом догадался – он имел в виду гладкость движения. Плавность. Вот что так завораживало его. Вот что было для него недостижимым идеалом. Они как бы стояли на разных полюсах: рыбы со своей скользящей грацией – и изломанный, шаркающий Лодов. Волна и зигзаг. Вязкое безмолвие и спотыкающаяся речь.

Рисую, Игорек просто решал загадку движения, навечно поставленную перед ним природой.

Я не спеша глотаю портвейн и смотрю на этих рыб. Безусловно, Лодов достиг совершенства. В рыбах есть что-то притягивающее. Я пока не знаю что.

Когда мы пьем, Лодов часто говорит, что движение рыбы не давалось еще ни одному художнику. Это, мол, в тысячу раз сложнее пантеры в прыжке и антилопы в беге, вместе взятых. Я соглашаюсь. Ты гений, Лодов, говорю, гений. И Игорек улыбается, не возражая.

Приходит Погодин с какой-то широколицей кореяночкой. Алкоголь по запаху чует. Он долго рассказывает о сложностях своей работы. А кореянка щурит и без того узкие глаза. Для нее Погодин – звезда. Уж не знаю, что он ей там наплел. Его рыжеватые усы торчат в стороны. Он – на телевидении (недосягаемая высота!). Пишет тексты для юмористической программы какого-то второстепенного канала. После каждой его шутки раздастся записанный хохот якобы зала – помощь телезрителю. Чтобы знал, где смеяться.

Мы пьем. Погодин режет мне глаза своими красными одеждами. Он говорит о деньгах, о том, что собирается уже покупать квартиру. (Сколько можно так жить?!)

На шум застолья приходят Нина и Алла. За ними маячит Лерочка.

– У меня там замок что-то... Не посмотрите?

Какой замок, Лерочка? Потом, потом, заходи...

Вошла...Ресницы опустила. Даже порозовела. Не узнаешь.

Погодин за спиной корейнки делает мне какие-то знаки лицом. Подмигивает, кивает на Лерочку, двигает бровями. Мол, откуда таких берешь, скажи место. Или уступить просит – не пойму.

Но это не про тебя, Погодин. У женщин, чтоб ты знал, обостренная интуиция. И Лерочка не к тебе тянется, не на тебя смотрит. Чувствует.

Женщины ждут веселья.

Погодин опять начинает рассказывать про свою работу. Теперь, видимо, уже для Лерочки.

– Главное – в самом начале бросить зрителю кость! Повести, протащить за собой сквозь преграды реклам... А это нелегко – зритель так избалован сейчас... Пятнадцать каналов, пульт – сиди и щелкай! вот и все! и зритель навсегда потерял!

У Погодина заметно краснеют щеки – то ли от страха перед перспективой потери, то ли от готовности бороться.

Приходит Лодов. С бутылкой. Глаза светятся. Он рассказывает, что кто-то с шестого этажа (при переезде) подарил ему аквариум. Осталось только купить рыбок, и тогда-то уж он решит проблему рыбьего движения... Лодов говорит долго и от возбуждения совсем тяжело. (Погодин морщится, пытаюсь различить смысл, а корейнка презрительно приподнимает верхнюю губу и смотрит на Погодина: мол, переведи, что это он там такое бормочет.) А я понимаю и тоже радуюсь. *Теперь начнется совсем другая, новая жизнь, не то что раньше.* Да, Лодов, другая, конечно, другая.

За это мы пьем.

Мне хочется выгнать наглую корейнку, которая смотрит на Лодова так, будто сидит не на коленях у шоу-сценариста, а по меньшей мере на троне, а о рыбах знает только то, что их можно есть. Но я ограничиваюсь тем, что оттягиваю веки к вискам, а из нижней части лица делаю даунскую физиономию. Корейнка не видит. Погодин виновато улыбается: мол, сами понимаете, не выбирал, уж что нашлось. Лодов хохочет.

Корейнка обнимает Погодина, воодушевленная его речью. Нина придвигается ко мне. Пьем.

Игорек тоже хочет женщину. И говорит свое «ы». И тянется к Лерочке. Она не отталкивает (его, калеку, жалко), только сжимается, втягивает голову в плечи. Ей неприятен Лодов. Она жалобно смотрит на меня. Ищет защиты. И мне тоже он вдруг становится неприятен.

– Старик, – говорю я.

Мне хочется сказать что-то в том духе, что девочка молоденькая, не привыкла еще к мужикам, ты бы полегче, Лодов...

Но Лодов (и ведь умный человек!) забывает о том, что ДЦП, что он не такой да и пьяный. Забывает про свою «ы» и лапает, и лапает Лерочку, мною уже воспитанную и для себя вскормленную.

Я не ревную, нет. Чего мне ревновать к Лодову? Он меня просто злит. А Лерочка пришла с повинной. Сама. Ко мне. Может испугаться. Пропадет ночь. Что он, не понимает, что ли?

И я беру Лодова за ворот его фланелевой рубахи и выставляю за дверь. Лодов бьется в моих руках и мычит. Худой, бородатый, с навечно замороженной мукой в глазах... Он изворачивается и то ли от испуга, то ли со зла больно бьет ботинком мне в колено. *Ах ты, падаль, немощь!..* И вдруг я на-

чинаю ненавидеть его, это живое доказательство несовершенства мира, природное отклонение. Может быть, именно из-за тебя – вся жизнь по диагонали, потому что от постоянного твоего присутствия начинаешь верить, что красоты больше нет. А когда только-только она забрезжила, ты тянешься к ней руками...

И вся моя злота сосредотачивается на нем.

И я ненавижу его, и бью, бью, бью...

Из комнаты выбегают.

– Хватит, хватит. Перестань! – кричит Лерочка.

Хватит! мол, разрешила мне, ей то есть достаточно, она отомщена... Дура! Думает, я за нее, за честь!...

Прибегает охранник Саша. Он отрывает меня от Лодова. Потом почему-то передает Погодину, и тот (интеллигентный человек!) не знает, как меня держать, – неловко обнимает со спины вместе с руками.

Нина Рябова плачет и причитает:

– Выгонят... теперь выгонят... уж теперь точно. Почему, почему вы его выпустили?

Саша возвращается вместе с разбуженным, а оттого злым комендантом. Они о чем-то говорят. И щебечет Нина (заступается). Кто-то еще приходит на шум. Фоном мелькает Витька, подмигивает мне – что случилось, неважно, все равно на твоей стороне... А Лерочки не видно. Ушла. Ей нельзя попадать в истории.

Вежливыми тычками Саша ведет нас с Лодовым к выходу.

Ночь на грани утра. На улице пронзительно холодно и сине. Страшно ноет, стучит маленькими молоточками колено. У Лодова разбито лицо. Несколько капель крови застряли и застывли в светлой его бороде.

От холода мы инстинктивно жмемся друг к другу. Я хочу ему сказать – прости. Прости, старина, не знаю, что нашло...

И вдруг он сам.

Поворачивается ко мне, показывает пальцем куда-то в небо (вон, смотри) и силится:

– Зы-ы...зы-ыы... зывезда.



Случаи медвежат

РАССКАЗЫ

МЕХАНИКА

Слева грохот – меня обгоняет грузовик, я могу разглядеть обрывки масляных тряпок, намотанных на штыри между кабиной и кузовом. Сзади вопят – за грузовиком мчится красная легковая, правое стекло опущено, торчит голова.

– А-а-а! – вопит голова.

Ей весело.

Мне страшно. Кручу педали все быстрее, надо проскочить перекресток, пока никого нет справа. Проскакиваю, впереди троллейбус. Там остановка – троллейбус сейчас прижмется к тротуару. Слева я его не объеду – машины не разбирают дороги, снесут меня как кошку. Пригибаюсь к рулю, беру вправо и лечу вдоль борта. На светофоре красный свет, я не останавливаюсь. Разгоняюсь, пропускаю еще один красный, следующий – зеленый, только слегка сбавляю скорость, пересекаю Кольцо и въезжаю в Центр.

Впереди замечаю палатку, где коптятся на прутьях оранжевые куры. Ее дверь открыта, внутри сидит толстый грузин в грязно-белой майке – огромные руки лежат на коленях, – смотрит на улицу.

Подъезжаю к окошку, достаю из кармана деньги и тыкаю пальцем в бутылку воды.

– Холодную?

Я киваю.

Он открывает холодильник, сгибает широкую спину и заглядывает внутрь.

– Может, колу? У нее крышка завинчивается.

– Давайте.

Он ставит передо мной бутылку, кладет сдачу.

– Так удобней. Когда крышка завинчивается.

– Спасибо. – Я отхожу в сторону и прислоняю велосипед к забору.

К палатке подходят двое в темно-зеленых ветровках. У них загорелые лица и выцветшие глаза с черными точками зрачков. Они останавливаются и начинают разглядывать куриц. На противоположной стороне улицы улыбается человек в полосатой футболке, измазанной белой краской. Он перебегает через дорогу, и двое здороваются с ним за руку.

– Работаешь?

– Работаю.

– И мы работаем. Есть будешь?

– Только что. Лучше пива.

– А Христофоров?

– Христофоров у начальства.

Они громко смеются, широко открывая рты и закидывая головы вверх. Грузин выглядывает из окошка и тоже смеется.

Мне больше не хочется воды, и я ставлю недопитую бутылку на асфальт. Мужчины уходят с курицами и пивом, грузин прячется в палатку. Мимо спешат люди в плащах и ботинках, и я больше не знаю, куда мне ехать.

– Да.

Прижимаю липкую трубку к уху.

– Привет!

– Привет.

– Что делаешь?

– Ничего.

– Слушай, давай я к тебе приеду?

– Ну...

– У меня время кончается!

– Я не знаю.

– Давай быстрее!

– Ладно.

Вешаю трубку и сажусь на велосипед. Он живет за рекой, на юго-востоке. Значит, надо ехать до музея, потом через площадь, переехать мост, второй мост, прямо по трамвайным путям, по Кольцу до театра и оттуда по прямой, а там уже совсем близко. За полчаса доеду.

В лифт велосипед не влезает, я тащу его на руках. Первый, второй этаж, правая педаль задевает ступени – перехватываю повыше, третий, четвертый. Он уже открыл дверь, стоит.

– Позвала бы с улицы. Давай помогу. Ну и грязная же ты.

Он втаскивает велосипед и запирает входную дверь.

– Пойдем.

Залезаю в ванну и сажусь на корточки. Надо мной висят его джинсы, футболки, носки и свитера.

– Стирал. Голову помыть?

Сижу, как пес, в ванне и терпеливо жду, когда меня вымоют. Сверху на меня падает черный сырой носок, я передергиваю плечами.

– Извини.

Он вылавливает носок, выжимает и закидывает обратно на веревку. Подает полотенце.

– Все. Чистая. Чайник поставить?

Окно комнаты выходит на запад. Солнце лежит на пыльном полу, на брошенном журнале, на его ботинках у кровати.

– Классный был мультфильм с лифтом. – Он переворачивается на спину и закидывает руки за голову. – В коробке с карандашами недавно прошел дождик. Или «Карусель».

Я вытягиваю ноги и говорю:

– На лугу, на лугу, на лугу пасутся...

– Нет, не так! Далеко, далеко, на лугу пасутся... А еще про налима. И про апельсин. Много нас, а он один. Мне всегда было волка жалко.

Я беру его руку и прикладываю к своей щеке.

– Ты что?

– Подожди.

Он хочет отодвинуться, потом смеется и говорит, что я могу держать его за руку только две секунды.

– Раз, два, – считает он.

– Подожди, – говорю я.

– Хорошо, пять секунд. Раз. Два. Три. Четыре.

Он выдергивает руку и говорит, что я слишком сильно сжимаю пальцы.

– Извини.

Я натягиваю на себя одеяло, и мы лежим молча. Тикают часы. Он толкает меня плечом.

- Пора работать.
 - У тебя выходной.
 - Я на дом работу взял. Денег дадут.
- Я опускаю руку вниз и поднимаю с пола его рубашку.
- Пойду чайник поставлю.

Сажу за столом и смотрю, как он моет чашки.

- Я вчера бросила работу.

Он ничего не говорит.

- Так и сказала: идите к черту.

Намыливает блюдце, наверное, раз в пятый.

- Слушай, – говорю я. – Поможешь мне другую найти?

Он выключает воду и оборачивается.

– Мы уже говорили. Что ты хочешь делать? Не знаешь. Как я найду работу, если ты не знаешь, что делать?

- А ты знаешь?

– Я могу делать все что угодно.

- Только тебе это не нравится.

– Дело не в этом!

- Ладно, я поеду.

Он помогает стащить велосипед на первый этаж и провожает меня до угла.

- Пока, – говорю я.

– Пока, – говорит он и хлопает ладонью по седлу.

Я киваю ему, сажусь на велосипед и уезжаю на север.

Уже поздно. Мать спит, пес забрался к ней на кровать и устроился в ногах. Выхожу из комнаты, она что-то бормочет.

- Я тоже, – говорю я.

На кухне брат жарит картошку.

- Будешь?

Он ставит сковородку на стол, достает из холодильника сыр. Мы едим картошку и запиваем чаем.

- А тебе страшно было, когда ты перевернулся?

Он молча жует, потом говорит:

- Я не успел испугаться.

– А потом страшно?

Он допивает чай и наливает себе еще.

- Я такой счастливый был, что живой.

Подцепляет на вилку кусок картошки и начинает вертеть его перед глазами.

- А тот грузовик уехал?

– Уехал.

- И не нашли?

– Не нашли.

Брат откидывается назад. Я пересчитываю картошку на сковородке. Пять больших и две маленькие.

- А что с работой? – спрашивает брат.

– Найду другую.

Он кладет локти на стол и смотрит на меня.

- Хочешь анекдот про скворца?

Звонит будильник. Десять. Мать ушла на работу, брат уехал еще ночью. Встаю, на кухне съедаю два бутерброда с сыром, одеваюсь. В прихожей надеваю кеды, открываю дверь и вывожу велосипед. Пес сидит в коридоре и тихо бьет хвостом по полу.

- Не скучай.

На улице сквозь пыль и солнце проносятся машины – легковые и гру-

зовики, черные и желтые, красные и белые. Подъезжаю к мостовой и останавливаюсь. Мне надо только переехать бордюр. Стою и смотрю на переднее колесо.

В мою сторону несется красная легковая. Я вижу, как опускается правое переднее стекло, как высовывается голова с разинутым ртом.

Я нажимаю правой ногой на педаль, цепь начинает движение по кругу, и переднее колесо опускается на мостовую.

СЛУЧАИ МЕДВЕЖАТ

Козинаки кончились, и мы захотели пить. Купили колы, выпили всю бутылку. Совсем скучно стало.

– Даже в школу хочется, – сказала Вилка и рыгнула. – Газы.

Ненавижу, когда она так делает. Я ее стукнула по шее, она меня по голове. Мы начали пихаться и пыхтеть. Тут к нам подошла женщина в розовой кофте и спросила про двух мальчиков. Так что нам пришлось перестать. А то не слышно, что эта женщина бормочет.

– Я говорю, вы здесь двух мальчиков не видели? Один в синей куртке, другой в очках.

– А куртка темно-синяя или светло-синяя? – спросила Вилка.

– Куртка синяя! – разозлилась женщина. – Так вы их видели?

– А очки... – начала Вилка, но женщина вдруг задрала голову и зарычала:

– Чтоб вы лопнули, спускайтесь сейчас же!

Мы с Вилкой тоже задрали головы. Видим – на крыше девятиэтажки стоят двое.

– Убью! – взвизгнула женщина.

– Слушай, – Вилка дернула меня за рукав, – полезли на крышу!

Я посмотрела вверх. Высоко.

– Как эти мальчишки! – У Вилки сразу глаза заблестели. – Побегает там – и обратно. Памухин говорил, что в его подъезде крыша не заперта. Пойдем!

Я не трусиха, я просто осторожная. А Вилка ничего не боится – как бешеная.

Пришли мы к памухинскому подъезду, набрали 104 – номер квартиры.

– Да, – ответила памухинская мама.

– Добрый день, – сказала Вилка в микрофон. – Мы одноклассницы Пантелея. Скажите, пожалуйста, он сейчас дома?

– Дома, сейчас я его позову.

Зашуршало. Вилка подмигнула мне и высунула язык.

– Это кто? – спросил Памухин из домофона.

– Здорово, Памуха, как живешь? – гаркнула Вилка.

– А, это вы! Что надо?

– Открой дверь.

– Зачем?

– Не твое дело.

– Как это не мое? – возмутился Памухин. – Это ведь я вам буду дверь открывать.

– Ладно, – согласилась Вилка. – Хотим на крышу залезть.

– Я с вами!

– Еще чего!

– Дверь не открою.

– Черт с тобой! – сдалась Вилка. – Открывай.

Запищало, дверь щелкнула. Мы вошли в подъезд, сели в лифт и поехали.

Памухин ждал нас на девятом.

– Только тихо, – прошептал он. – Это запрещенные действия.

Он залез по железной лестнице наверх, открыл люк и выбрался на крышу. Мы полезли за ним.

Ух! Как я оказалась на крыше – ноги сразу стали как после кваса. Не ходят. И пузырьки в коленках.

А Памухин с Вилкой скачут и орут:

– Ура! Люди!

Это они тем, кто внизу. Но никто не слышит и головы не поднимает. Земля далеко.

Я тоже за компанию подпрыгнула, но, ей-богу, мне гораздо лучше стало, когда Вилка наконец сказала:

– Все! Пора вниз!

Мы стали спускаться.

И тут выскочила тетка. Толстая, большая, в фартуке. Луком воняет. Обед, наверно, готовила.

– Опять на крыше были! Русского языка не понимаете!

И хватает Вилку за волосы. Вилка как заорет басом! Тетка от неожиданности ее выпустила, но тут же вцепилась в памухинское ухо. Памухин заизвивался, как червяк, и выскользнул из теткиных пальцев. И тетка, конечно, схватила меня. За воротник. И не отпускает. Мне мое положение совсем не понравилось. Если меня Вилка или Памуха хватают за воротник, я дерусь. Но не буду же я с теткой драться! А вдруг тетка как раз желает со мной подраться? И даже не столько подраться, сколько меня отодрать?

Тут я рванулась, оставила тетке воротник и помчалась вниз по лестнице.

Выбежала из подъезда – а там стоят Вилка и Памухин с хворостинами в руках.

– Мы думали, она тебя в милицию поволочет, – сказала Вилка. – Хотели отбить. А где воротник?

Как будто неясно! Затащила меня на крышу и еще спрашивает!

– Силой тебя никто не тащил, – сказал Памухин. – Нечего обижаться.

А я уже не обижалась. Мы пошли на рынок есть хачапури и по дороге раз десять рассказали друг другу, какая толстая была тетка и какая мертвая у нее была хватка.

После хачапури Памухин сник.

– Она наверняка моим родителям все рассказала. Как я теперь домой пойду?

– А ты не ходи, – посоветовала Вилка.

– А жить я где буду?

– В шалаше.

Ну дает! Еще вчера говорила, что шалаш – это наша тайна и больше ничья. Мне, конечно, шалаша не жалко. Если Памухе некуда податься, пусть живет.

Мы прошли вдоль железной дороги мимо гаражей, залезли в кусты, чуть не вляпались в собачью кучку и добрались до шалаша.

Мы с Вилкой его четыре дня строили. Большой получился. Все трое туда влезли, даже место осталось.

– Хорошо здесь, – сказал Памухин. – Только на чем я спать буду?

– Мы тебе одеяла притащим. И подушку, – пообещала Вилка. – Я прямо сейчас могу гонять.

И выскочила из шалаша. Как бешеная. А мы остались сидеть. Посидели минут десять, потом Памухин говорит:

– А что ты все время молчишь? Вилка все болтает, а ты молчишь. Нет, мне нравится. Я даже на тебе женюсь после школы. Только отрасти длинные волосы, а то не девчонка, а... Ай, больно же!

Тут, наконец, прибежала Вилка.

– Мама дома, я одеяло не смогла взять. Зато у меня вот что есть!

– Зачем мне шило? – удивился Памухин.

– Будешь метать его в голубей и жарить их на костре. Мы ведь не сможем снабжать тебя едой в достаточном количестве. Родители что-нибудь заподозрят, если мы будем таскать из дома много продуктов.

– Я не люблю мясо, – сказал Памухин.

– У тебя нет выбора. Захочешь есть – съешь даже школьную манку.

– А мне нравится манка, – сказал Памухин.

– Тогда и голуби понравятся. Можешь потренироваться.

Памухин взял шило и вылез из шалаша. Мы с Вилкой тоже вылезли посмотреть, как он завалит голубя.

– Справа ходит жирный, – зашипела Вилка.

– Да вижу я! – отмахнулся Памухин.

Он пригнулся, прищурился, размахнулся и как...

– Мама! – заорал голубь.

– Это не голубь, – сказала Вилка. – Сматываемся.

Мы выскочили из кустов и помчались вдоль железной дороги. За нами бежал здоровенный мужик с бородой набок. Но мы быстро бегаем. Нас троих даже посылали на городской марафон защищать честь школы. Правда, мы там избили пятьдесят вторую гимназию, и нас сняли с дистанции. Но мы все равно очень быстро бегаем. Так что мужик нас не догнал.

А мы бежали, бежали и добежали до Вилкиного двора.

– Ладно, я домой, – сказала Вилка.

– Тебе за шило не влетит? – спросил Памухин.

– Ерунда, – фыркнула Вилка. – У нас еще четыре штуки. Пока!

И ускакала.

– Я тебя могу проводить, – сказал мне Памухин.

Я пожалала плечами, и мы пошли. Памухин мне рассказывал историю про сорок штук медвежат. Они попали в метель, и у половины из них выпали лапы. А потом медвежата пришли домой и сели пить чай. Когда Памухин придумает продолжение, он мне его расскажет, а я вам расскажу. Но он еще не придумал.



Иван Григорьев

РАССКАЗ

Иван Григорьев, мой одноклассник и большая сволочь, стукнул меня лицом о решетку раздевалки, так что я несколько секунд созерцал всю одежду, сброшенную поспешными соучениками в руки недовольных дежурных. Были там синие и серые пушистые предметы, часто ярко-розовые и лимонные, и редко-редко висели кожаные, крепко пахнущие куртки, а справа красная вязаная перчатка жалобно выкинула в воздух пять пальчиков.

Иван Григорьев не любил меня за то, что я был шулер. С его точки зрения все жиды были шулерами, с его точки зрения я был жидом, наконец, с его точки зрения я был шулером. С этих трех точек зрения Иван Григорьев смотрел на меня, как суровый троеликий бог, и устанавливал для меня кару – быть ли мне битым лицом о железку, или книжкой по слабому темени, или просто презираемым за мое тройное убожество. Я не мог похвастаться столь разительной аргументацией. Я просто Ивана Григорьева не любил, а вся память моя протестовала против моей нелюбви и не желала расставаться с начертанием Ивана Григорьевого лика, потому что по нему хотелось ступать, как по каменной лестнице, вырубленной в скале. Это лицо я помню до сих пор на черно-белой фотографии с откусенным правым нижним краем, за которую я чуть не задушил своего кота и пощадил его лишь потому, что Иван Григорьев остался нерушимым, завис над белой бархатистой пропастью, под которой начиналось отсутствие края.

Иван Григорьев не зря считал меня шулером, а с разумением дела: все карты были как карты, одинаковые, с провалившимися отражениями длинноносых фигур, а мои были с невидимыми наколками, по которым я с нелюбезной ему легкостью определял, что было прекрасно, а для чего – как для этого лица и всего, что ему сопутствовало, – места не было в моем разумении. Своим непредсказуемым битьем он воспитал во мне память, так что стоило разбудить меня ночью и спросить – кто ты есть, чего хотел, я бы ответил: я шулер, я жид, я хотел бы наступить разок на лицо Ивана Григорьева и посмотреть, точно ли оно из камня или только выглядит.

Однажды я был голоден и пристроился к очереди в столовой, не слишком длинной очереди с Иваном Григорьевым в сердцевине. Он по каким-то своим причинам заметил меня и предложил – чудо – стать рядом с ним, а чудо состояло в том, что он хотел меня ударить, но придумал для этого способ не совсем обыкновенный для стоящего в очереди за пирожком с вишней. Он меня спросил: ты вот говоришь, что Бог есть, а объясни мне, что это значит: «Бог создал человека по своему образу и подобию», если он создал человека – мужчину и женщину. Значит ли это, интересовало Ивана Григорьева, что Бог – и мужчина, и женщина? И стоило мне начать отвечать на этот бессмысленный вопрос, как Иван Григорьев купил три пирожка с вишней, сунул один из них в рот свой и так вот, с пирожком во рту, удалился.

Меня охватило тогда отчаяние, потому что не было сил моих удержаться недруга и спросить: кто такой мужчина? Кто такая женщина? Кто такие жида и почему они шулера? Что значит – сотворил? Мне нужно было родиться заново, и Ивану Григорьеву нужно было родиться заново, чтобы мы могли говорить, и я ломал в руке пятирублевую монету в отчаянии, что не могу сломать его шею с такой же легкостью; мне казалось тогда, что вся очередь смотрит на меня и говорит: шулер! Фальшивомонетчик! Ты стоишь среди нас с этой дрянной штучкой в руках и думаешь, что можешь взять за нее хотя бы стакан чаю, а здесь только что был Иван Григорьев, который взял три пирожка и мог бы взять больше. Вся очередь состояла из мужчин и женщин ростом от метра до двух, и каждый, в зависимости от размера, мог либо стукнуть меня головой в живот, либо вылить на меня сверху миску горячего супа. Я не выдержал и ушел прочь, я устал от их дыхания, смешавшегося с лавровым листом.

Всегда к моим рукам, к моему телу, ко всей моей фигуре приставала грязь. Кажется, и грязь была наколота на мою кожу, потому что, сколько я ни тер свои бедные руки над раковиной в школьном туалете, они все равно оставались как будто дымом подернутыми. Жалкий обмылок казался ожиревшим сердцем какого-то мелкого животного, и мне было противно брать его в руки. Я стоял, и тер, тер одну ладонь о другую, и не ведал, что мне с ними делать.

В пятнадцать лет я для чего-то начал курить, может быть, для того, что хотел сделать свою жизнь чуточку тяжелее. Мне хотелось сплевывать желтые сгустки и давиться частым кашлем, как будто меня изнутри выколачивали железным пестиком. Тогда мы все кашляли, один за другим, заглушая учителя, и на разные голоса. Мой кашель был таким, словно кто-то ударяет носком ботинка в надутый воздухом бумажный пакет. Кашель Ивана Григорьева был внушительнее, как будто ударяют ботинком в пакет, наполненный водой. Мне хотелось посмотреть, как Иван Григорьев после очередного приступа кашля испустит дух и растечется по изрезанной крышке парты, а я, чтобы не выглядеть холодным, тоже мог кашлять и тоже мог в конце концов умереть. Мне сильнее было жаль его, чем себя, потому что моя смерть была отмечена шершавыми наколками, как все, чего я старался касаться, а его – совершенно гладкой и пахнущей, как любая смерть, как все, чего я старался избегать, поэтому я не желал смерти ему, для которого умереть сейчас значило бы навсегда остаться без ответа на вопрос: как Бог умудрился создать человека, мужчину и женщину, по своему образу и подобию? Мне чудилось в смелых моих мечтах, что я отвечаю Ивану Григорьеву: интересно другое, как Бог умудрился создать не мужчину и женщину, а меня и тебя, Иван Григорьев? Но он презрительно говорил мне: действительно, шулер ты и жид, как? – тут же растворяясь в моих предательских грезах.

В пятнадцать лет я не только начал курить, но и – как сказать об этом? – начал растворяться сам. Меня давно уже перестали мучить: Иван Григорьев потому, что ушел из школы в какую-то более подходящую для него часть мира, а остальные потому, что притерпелись к моим мукам раньше, чем это сделал я сам. Но мука осталась, и осуществлялась теперь сама по себе, той частью моего существа, которую прижали – скорее прижали, чем ударили, – к раздевалочной решетке, чтобы я мог не замечать ее, вовсе не замечать, как не замечаю дорожной разметки, а я уже привык к этой боли, которая раздирала мою правую щеку несколько лет кряду, и принимал свою боль легко, легче даже, чем опьянение, которое могло закончиться головной болью, или бессонницу, которая тоже могла закончиться – и в самый неподходящий момент. Бывало, я весь день ходил с закрывающимися глазами, и из цифр в моей тетради вырастали странные лики и лица, и только боль оставалась в моем лице, в детских моих щеках, в каждом пальце и даже в каждой шариковой ручке с размочалившимся колпачком. Я слишком серьезно относился к предметам, чтобы

выпустить их из виду, если они становились ближе или дальше. Мой интерес к предмету, будь тот мал или велик и прозрачен, пропадал лишь тогда, когда бывал мною принят, понят на свой лад и отпущен. Тот предмет, слишком приближенный ко мне, так и остался, расколотив на куски мою память, мою совесть, ибо сколько мысленных убийств, мысленных самоубийств на моей совести с этих пор! Если бы я по крайней мере создал столько воображаемых персонажей, сколько убил, то мог бы поспорить с «Войной и миром» по количеству действующих лиц. Увы, каждую секунду в моей голове совершался маленький смертный грех, и вся моя жизнь превратилась в затянувшийся Страшный суд. Иной раз мне казалось, что я уже умер и просматриваю собственные прегрешения из какого-то отдаленного места, которое все было занято моим телом. Мне было не страшно. Посмотреть на женщину с вождением для меня тогда стало проще, чем выпить стакан воды. Выпить стакан вина – проще, чем погрузиться в сон после долгого-долгого дня. Кажется, вся красота нарочно вылезла тогда на Божий свет, чтобы я мог, как слепой по шершавой книге, прочитывать ее там и сям, чтобы мне в моей смерти было не так страшно.

По улице, рассеченной залежами сиреневых кустов, ездили синевые прямоугольные троллейбусы. Внезапно их рога падали на спину, точно у подстреленного животного, и тогда все выходило на улицу и шли пешком до следующей остановки, а я, пользуясь случаем, шел до полного изнеможения. Мне мало было начавшегося бронхита, мне хотелось сплевывать на землю что-нибудь более существенное и менее осязаемое, от чего сотрясло бы не только мое слабое, кривое тело, но и земля. Весной трудно удивить чем-нибудь землю, она и так почти сплошь покрыта черными корками бывшего снега и шоколадной размазней собачьих экскрементов. Что-то большее должно было остаться от меня, большее даже, чем все мое тело, которое так и не выросло с тех пор. И что-то, несомненно, более уродливое, чем оно, потому что я не был достаточно мал, был просто невысок, то есть почти высок с маленькой оговоркой. Уже никто не называл меня ни шулером, ни жидом, уже спрашивали меня о чем-нибудь малосущественном и дожидались ответа. Упорно дожидались, словно бывали потом чем-нибудь вознаграждены. Все мои одноклассники были заняты, очень заняты, мне всегда казалось, что своим вниманием они оплачивают мое коротенькое существование, что потом, когда я перестану быть и начну медленное адское вращение по своей прожитой жизни, им будет с лихвой возвращено их внимание. Даже их красота переставала подчас волновать меня, как если бы мне были вручены на время прекрасные предметы, и я дрожал от страха их поломать.

Моя школа представлялась мне замороженным местом – я мог там быть, мог говорить и знать, что это кончится. Исчезновение Ивана Григорьева только подкрепило и пропитало мою убежденность, ведь он всего лишь двумя годами раньше отошел в ту часть мира, которая никогда более не пересечется с моей. Он стал для меня стократ недоступнее оттого, что теперь не мог бы мне его задать. Это стало теперь тем, что называется «детство», – некоторым золотым веком, в котором каждый из нас имел ценность нераспечатанного сосуда с вином, и лишь самые безрассудные были уже им опьянены. Я был из таких, безрассудных, которым с той поры уже не требовалось событий, не требовалось и тел для того, чтобы жить. Я вынужден был с тех пор всю оставшуюся жизнь питаться этой запретной жидкостью, которую никто не мог со мной разделить. Я безропотно принял в свою память сотню лиц, которые были и старели вместе со мной, у которых были имена, сладкие или ненавистные для моего слуха. Тщательно пытаться теперь отводить глаза, делая вид, что вспоминаю, кто был тот и кто была эта. Может быть, это могло стать ответом моим Ивану Григорьеву: Он, Бог, помнит равно лица и имена женщин и мужчин и всю старость, которая проявится в их лицах, стоит подышать на них и проте-

реть рукавом. С той лишь разницей, что вместо любви моя память стягивала на себя неприязнь и ужас и неприязнью пополам с ужасом закрепляла во мне ускользающие черты. Будь благость присуща мне хотя бы в малой мере, и для меня различия, проведенные в мыслях и воспоминаниях, перестали бы быть существенными, и я перестал бы знать о том, кто такие женщины, и кто такие мужчины, и, наконец, кто такой Иван Григорьев; но получалось так, что лезвие, производившее эти различия, входило слишком глубоко и расчленило вместе с воспоминаниями собственную мою душу. А душе моей претило всякое разрушение, всякая смерть, которая означала другую, нелюбимую мной красоту. Душе моей больно было связывать человеческие лица, человеческие руки с той невидимой стеной, о которую они расшибаются, оставляя вместо себя иероглифический след, совершенный и бесполезный. Всякая вещь прочнее, чем мертвое тело, и мне нравилось смотреть на такие вещи – стеклянные, мраморные, железные, вышитые шелком или переписанные от руки. В них была неумолимая твердость, которую могла одолеть эрозия, но они не распадались сами по себе, изнутри. Сами по себе, казалось мне, распадаются те, кто остался в моей памяти и пошел дальше, ничем не связанный, свободный далее от обязанности жить. Мне чудилось, помнить о них и опасаться их гибели – единственный способ как-то удержать их существование, и крепче всего удерживалось существование тех, не любимых мною, не любивших меня, словно я платил какую-то жестокую дань за свою нелюбовь и за их нелюбовь. Потому в самые неожиданные моменты – в час звучания музыки, в час звучания мудрых и хорошо оформленных слов, обращенных ко мне, я неожиданно вспоминал какого-нибудь ивана григорьева и с увлечением набрасывался на это воспоминание, словно был голоден и месяц не видел живого человека, и, лишь утолив свою память, с удивлением понимал, что помню его имя и его лицо. Тогда меня внезапно отбрасывает на много лет назад и я маюсь неослабевшей жалостью к этому бедному, крепкому, каменному существу, и мне хочется быть сильным, хочется раскрошить камень, хочется снова родиться – совсем одному, в совсем другом месте, большем, чем мое тело, большем, чем моя память, потому что я слаб, все еще слаб, все еще способен на убийство. Может быть, то, что разумел Иван Григорьев под своими «жидами», «шулерами» и прочим, было всего лишь нераспознанной попыткой сказать: «Ты – убийца, возможный убийца, что еще хуже. Ты делаешь из меня красоту; свою бледную шулерскую красоту, которую невозможно видеть глазами. Ты не даешь мне покоя – и десять лет еще не дашь мне покоя, за это я тебя не люблю. Тебя следовало бы задушить в колыбели, а память твою разделить среди нуждающихся». Если это так, если это правда, то я не смею с ним спорить.

Когда мы заканчивали школу, когда мы пили кислую непрочную жидкость, от которой пьянел язык, но не голова, мой одноклассник сказал: «Иван вот в него, – и указал на меня, – влюбился с первого, можно сказать, взгляда». Мне было лестно это слышать. Я хотел бы, если бы это было возможным, быть любимым камнями, деревьями, луной, всяким живым и неживым предметами. И я знал, что это – ложь, жалкая попытка моего одноклассника сказать какой-нибудь парадокс. Потому что, если верно, что камень, дерево, Иван Григорьев могут быть влюбленными, то им надлежит быть влюбленными не в меня. Я – камень, дерево, грязь на их пути. Они следуют своим путем, а я остаюсь неподвижным в своем круговом аду. Я тщетно выдаю свою память о них за любовь, не будучи в состоянии измыслить другого пути для спасения. С тех самых пор, в который раз говорю, с тех самых пор.

Такой устойчивый мир

РАССКАЗ

Вдвоем легче справиться с напастью, чем одной. Поэтому нас двое: я и еще я, две меня. Ну, может, три. Это никакая не параноя, это игра. Чтобы справиться с напастью, нас непременно должно быть несколько...

Стояла осень. Холодная, уже не золотая, не разноцветная, а серая какая-то (от цвета), стальная (от холода) и противная (сама не знаю почему). Теперь уже не осталось никакой надежды шеголять загорелыми коленками, потеть на пляже, пить спрайт на улице и созерцать до потери сознания пыльную, но такую милую зелень, ничего не остается другого, как влюбиться и растормошить себя. Иные впадают в спячку, мрачнеют, окунаются в дела, рисуют заботу на лице, которую не спрятать под макияжем, мерзнут, читают детективы по вечерам, укрывшись пледом, одеялом, проливают горячий чай на шлепанцы и нудно ругают себя, безруких, иные деловито готовятся к зиме, закупая впрок шерстяных носков связки – я же не хочу. Просто не хочу. Я уговариваю себя не хотеть этого, чтобы не заснуть и чтобы не плакать, потому что всякий раз, когда кончается лето, с ним как будто кончается жизнь. И это уже было. Были слезы и безутешные страдания, и даже осенние влюбленности были, но наполненные все теми же слезами. И пора это все прекратить. Раз нельзя исключить осень из мирового распорядка, необходимо исключить себя из осени. И коли единственный доступный мне способ продолжить жить – это влюбиться, нужно просто оставить дурацкие страдания на долю другой девочки, а самой немного развлечься. И хотя та другая девочка – это тоже я, но ведь все же другая, и я могу, цинично затягиваясь пахитоской, приговаривать, наблюдая за ней: «Ну что, милочка, не пора ли наделать все те забавные глупости, что ты обычно вытворяешь, чтобы нам было над чем посмеяться потом?!» Она сумрачно вздыхает и несется на подвиги. И ей тоже легче, в конце концов отдуваться придется вместе, а вместе веселей.

Каждое утро теперь начиналось примерно одинаково – в полной темноте зашторенной комнаты издевательски звенел будильник, обрывая только наметившийся счастливый конец сна. Я открывала глаза и убеждалась, что атмосфера по ту сторону одеяла все так же похожа на арктическую: я опять легкомысленно забыла закрыть форточку. Несколько минут проходило в добродушной укоризне – моя склонность к чистому воздуху доведет меня в конце концов до пошлой простуды. Однако сегодняшнее утро, кроме прочей гадости, было щедро расцвечено всеми оттенками страха перед новой работой, на которую накануне меня угораздило устроиться. Кажется, я мечтала о такой работе и вроде вчера вечером была в полном восторге. Не помню, чему я так радовалась, дура. Сейчас мне придется идти куда-то, сесть за компьютер в окружении совершенно чужих и совсем не обязательно благожелательно настроенных ко мне людей. Вполне возможно, и даже наверняка, они будут критически ко мне присматриваться, сверлить мне спину недружелюбными взглядами, они

могут, с них станется, отчитать меня за что-то и даже уволить! Я содрогнулась и подавилась кофе. Может, мне не ходить туда? Черт с ними, с деньгами, у меня их все равно никогда не было. Значит, хуже мне не будет. «Ну что я потеряю, если не пойду туда? – нудила я себе под нос, меланхолически подкрашивая ресницы. – Жила же я как-то...» Тут перед глазами незначай проплыло укоризненное мамино лицо, и я смирилась. «Пораженка!» – заклемила я свое отражение в зеркале, и оно виновато захлопало глазами.

Наполненная до отказа мрачной решимостью, я вошла в офис и молча уселась на свое новое рабочее место. Ничего. Я прислушалась к своим ощущениям – мерзопакостный страх гулял во мне, как ветер в чистом поле. То и дело ко мне подходили люди и знакомились с моей спиной.

«Это наш новый дизайнер», – слышала я комментарии начальства и внутренне сжималась. Я не ходила обедать, не пила кофе, не присаживалась к общему столу поболтать. Ради общего благополучия и дабы не создавать паники, я прилепилась намертво к стулу и пялилась до красноты в глазах, до зеленых зайчиков.

Так прошла неделя. Никто не стал говорить мне гадостей, сыпать кнопки за шиворот и разводить костер под моим стулом. Изредка ко мне робко подплывало начальство справиться о делах, но, видя панический ужас в моих глазах, отчаливало... Позже я узнала, что начальство – милейший Константин Эдуардович – голос повышает крайне редко, что кофе можно пить больше, чем в этом нуждается организм, что дизайнеры – существа ранимые и не от мира сего, поэтому их жалеют и вроде бы понимают и даже подкармливают пряниками. И вообще это действительно та работа, о которой я мечтала. Осень на время перестала казаться мне воплощением конца света.

Где-то через месяц, в один прекрасный дождливый осенний день, я потихонечку скосила глаза на соседний компьютер. То, что по соседству работает еще один дизайнер конечно не могло пройти мимо моего сознания с самого начала, но косить глазами в первый же день казалось мне верхом легкомыслия. С тех пор я регулярно произвожу эту гимнастику для глаз.

«Вот оно и случилось», – сказала я себе в тот же вечер, рассеянно забредая в чужой подъезд. «Вот так всегда со мной», – продолжила я свой внутренний монолог, пытаясь открыть дверь квартиры авторучкой. «Надо это как-то остановить», – неубедительно увещевала я себя, но и в этой борьбе с легкостью победил кто-то другой. «Это плохо кончится», – и тут я была права на все сто.

Я включаю свой домашний компьютер и в телефонном справочнике нахожу его фамилию. Долго смотрю на нее, изучаю адрес и телефон, я не знаю, что мне делать с этой драгоценной информацией, я просто люблю тем, как буквы складываются в слова, и незаметно прихожу к выводу, что его фамилия самая красивая на свете.

И тут мне на помощь явилась та другая я, которая (не в пример мне первой) была и хороша собой, и уверена в себе.

– Ну что, голуба моя, втрескалась? – весело спросила она, развалившись в моем любимом кресле.

– Вроде того.

– Что делать будем, планы есть?

– Нет пока, – растерялась я от такого напора.

– Значит, будем признаваться! – отрезала красотка.

– С ума сошла? – Я опешила.

– А что? Подходишь к нему и говоришь: «Привет, Сашка, как дела? А не прогуляться ли нам, Сащок, сегодня к тебе в гости, а то я тут уже месяц работаю, а в гостях еще не была».

– Это вульгарно! – возмутилась я. – Я так не хочу!

– Нет? Ладно. Дождешься, когда он будет уходить с работы, и тоже

засобирайся. Выйдете вместе, вам, естественно, окажется по пути. Захвати свои новые перчатки, кстати. Размахивай ими у своего носа и заметь невзначай: «Вот, дескать, перчаточки новые. А как хочется чего-нибудь французского! Вот так выйти утром в осенний туман в новых перчатках, под зонтиком, купить в киоске толстый журнал, какой-нибудь «Французский дом», и идти на работу, а вокруг дождь, а в руках в яркой обложке дорогой журнал. – Это ты так рассуждаешь на ходу. – А вот, кстати, миленькая кондитерская, ее недавно открыли и еще не успели испортить. Давай зайдем. Саша, там делают такие умопомрачительные безе...» Ну или там какое-нибудь французское словечко вспомни, ты ведь учила язык в школе. Вы зайдете в кондитерскую. Эти безе положат вам в коробочку, перевяжут ленточкой, и вы пойдете дальше по жизни, а ленточки будут развеиваться на ветру, а безе шуршать в коробочке, и жизнь будет казаться такой праздничной... А поскольку пирожные нужно есть, а не только носить в коробочке, пригласишь его к себе домой на чашечку кофе с пирожными. А дома – пожалуйста, вот ванная, можно помыть ручки, а в ванне как раз белье замочено. Невзначай бултых его в ванну! Ах, какая я неловкая, ах, какой кошмар! И пока он будет сушиться, вы познакомитесь с ним ближе некуда.

– Что ты мелешь? Бред какой-то! И вообще я не хочу приглашать его к себе домой, ты же знаешь, я не люблю гостей, а тем более так сразу...

– Не сразу, вы же уже в кондитерской вместе побывали!

– Все равно, лучше к нему...

– Ну так и скажешь: «Лучше к тебе».

– Дура ты, Ирка! – огорчаюсь я. – Тебя бы на мое место.

– Я и так на твоём месте, душа моя. Но чахну и прозябаю от твоей застенчивости.

– Все шуточки...

– Все драмы...

Мы препираемся еще с полчаса, пока, наконец, она не становится серьезней. Со стороны наш диалог – это же учебник по психиатрии в картинках.

– Ладно, выкладывай: что ты надумала?

Я смущаюсь.

– Может, письмо ему написать, – говорю я, краснея.

Она хохочет, вот же стерва.

– Может быть, нам еще на дверь его ходить смотреть. Как в дозор, каждый вечер! Мы это уже проходили! Забыла, как моталась в Каменск-Уральский? Тащила междугородным автобусом битых четыре часа, и в снег и в зной, потом пялилась пять минут на дверь – и обратно. Ох, уморишь ты меня! Давай, показывай, что ты уже накропала.

– Да я еще...

– Давай, давай, не валяй сама знаешь кого!

Я вытаскиваю лист бумаги и протягиваю ей. Естественно, она читает вслух и с выражением:

«Привет! Как ты думаешь, что приключилось со мной?»

Я просто проходила мимо;

Я провожу социологический опрос населения;

Я гуляю по твоему подъезду каждый вечер;

Я сошла с ума;

Я влюбилась.

Нужное подчеркнуть. Я влюбилась. На дворе потрясающая осень, капли дождя в свете фонарей тушуют блестящий воздух, размывают очертания предметов. Я пугаюсь смутных теней и весело бежу по лужам. Я брожу по длинным коридорам твоего подъезда, прислушиваясь к звукам, я стою и смотрю на твою дверь. Мне хорошо и весело».

Она некоторое время выразительно смотрит на меня поверх листа, потом берет карандаш и жирно обводит строчку «Я сошла с ума...»

– Переработать! – бросает она мне и брезгливо роняет испорченное письмо на пол. – Добавить поэзии и иронии, смутные тени убрать, подъезд тоже. Мне стыдно за тебя, ты же стихи пишешь, и вдруг такая чушь. Слушай, – она тревожно придвигается ко мне, – а может, ты влюбилась?!

Так бы и стукнула ее по лбу, еще издевается! Подбираю письмо с пола и иду переписывать, в конце концов она права, вкус у нее хороший. Я вычеркиваю и смутные тени, и подъезд и в результате переписываю письмо заново.

...Я сижу и смотрю с отеческой заботой, как эта дурашка мучается с письмом. Бедная девочка, иногда мне кажется, что я старше ее лет на десять, хотя это, конечно, невозможно. Она, разумеется, потащит это письмо и сунет под его дверь, вот только она не подумала, как завтра будет смотреть ему в глаза... Ладно, значит, на работу придется идти мне, уж я-то смогу разговаривать с ним как ни в чем не бывало.

– Да, голуба, а подпись ты не ставишь? И не ставь, иначе не интересно, никакой интрижки, он скорее всего догадается, кто автор, но мне кажется, я сумею его запутать.

– Ты?

– Ясное дело, на работу ты больше не пойдешь, туда буду ходить я. Или ты хочешь припереться туда завтра красная и потная от смущения и лепетать разные глупости? Или, может, ты думаешь, он после этой писанины кинется тебе на шею? Что-то я сомневаюсь.

– Знаешь, я об этом не подумала...

– Вот и замечательно, значит, решено.

Мы заучиваем адрес и выходим в ночь. Бродить по ночам в одиночку еще то удовольствие, но Ирочка ни за что не попрется при свете дня, хорошо хоть темнеет сейчас рано и не нужно дожидаться двенадцати ночи. На лице у нас глупейший предпраздничный восторг, движения суетливы, перед выходом мы разбиваем банку с водой для цветов, поставленную высоко на пианино, чтобы случайно не разбить (можно только гадать, как мы до нее добрались), мы опрокидываем себе на ногу гладильную доску и забываем запереть входную дверь.

– Ты хоть представляешь, куда идти? – спрашиваю я Ирочку.

– А Бог его знает, найдем!

И впрямь нашли.

– Ты, поди, специально подобрала себе близко живущий предмет, – ворчу я. – Накладно нынче ездить в Каменск-Уральский.

Она не отвечает, я чувствую, как нарастает паника. Сердце стучит, руки делаются ледяными и начинают противно дрожать.

– Что будем делать, если нас заметят? – деловито спрашиваю я.

Воображение рисует полную драматизма картину. Я подхожу к заветной двери и втыкаю записку, а снизу уже слышатся шаги, кто-то поднимается по лестнице. Я, понятное дело, срываюсь с места и спринтерски бегу... Куда? Его этаж последний, бежать некуда, а шаги все ближе и... ага, слышится его голос, он не один, ему отвечает женщина. Значит, предмет возвращается с женщиной, а тут ты со своими детскими выкрутасами. Ирочка стонет и умирает на ходу. Ладно, без женщины, он возвращается один, но бежать-то все равно некуда. Хорошо, пусть будет полумрак в подъезде, значит, я бегу в глубь коридора и застываю там, в глубине, вжавшись в чью-то дверь. Предмет поднимается, подходит к двери, кстати, еще бы не упасть в обморок, а то ведь и такое бывает. Вытаскивает он нашу записку и читает, дальше все происходит по полной программе – хмыканье, недоуменное пожатие плечами и естественный разворот всматриваясь в лицо на сто восемьдесят градусов. Я как представляла его лицо с выражением идиотского изумления, мне стало совсем плохо. Значит, он подходит ко

мне и говорит... тут воображение дает сбой. Что бы я сказала на его месте, застукав в аналогичном положении кого-нибудь из сослуживцев? Я бы искренне пожалела его и сказала бы что-нибудь такое, протягивая ему найденную записочку: «Твое? Пройдемте, гражданин!» Ну да, я, естественно, пригласила бы его в гости, но не хотела бы оказаться на его месте, глупость ведь полнейшая.

А ведь он может и не заметить моей записки, он может оказаться дома, и еще неизвестно, когда он выйдет из своей квартиры, а вокруг бродит масса злоумышленников, только и подкарауливающих девиц, втыкающих записки, чтобы потом эти записки стибрить.

– Я всуну записочку, позвоню в дверь и убегу, – подает слабый голос Ирочка.

– А он выскочит из квартиры и догонит.

– Я быстро убегу!

– Ладно, – вздыхаю я, – значит, будем быстро убегать.

Я решительно направляюсь к подъезду.

– Подожди! Надо купить цветок!

– Какой цветок? Ты в своем ли уме?

Она права, надо купить цветок, белую розу, например, так романтичнее, и к тому же ее сложно не заметить. Нынче столько развелось этих голландских дылд, что по росту больше напоминают небольшое деревце, чем нежный цветок, в конце концов этой штукой в случае чего вполне можно отбиваться от наседающих злоумышленников и даже от самого «предмета», вздумай он действительно наступать нам по башке.

С деревцем под мышкой я крадучись подбираюсь к заветной двери... Несколько дверей на этаже отгорожены массивными железными воротами. Они бы еще ров вырыли, ну почему никто не заботится о влюбленных?!

– Ну и ладно, – бормочет Ирочка, пристраивая розу вместе с запиской к звонку, – пока он откроет эти ворота, мы вполне успеем убежать.

– Ишь ты, какая рассудительность! – отвечаю я. – Не оборви провод.

– И цветочек хорошо, что купили, иначе бы он точно наше письмо не заметил.

Однако сил у нее уже нет.

– Возьми себя в руки! – зловеще шепчу я. – Нам еще бежать.

По-моему, она опять умерла. Я звоню в дверь и без всякого низкого старта срываюсь с места. Где-то в районе третьего этажа торможу. Тишина. Никто нас не преследует. Я вернулась. Послание с деревом на месте. Я снова звоню в дверь и на этот раз прислушиваюсь: звонок слышен, значит, работает. Его просто нет дома. О'кей, возвращаемся к первому варианту, прислушиваться теперь нужно не к двери, а к шагам вниз. «Интересно, где это его носит по ночам?» – Ирочка потихоньку возвращается к жизни. «Где, где! – ворчу я. – На свидание ходил». Ирочка опять умирает, и я на цыпочках иду вниз. «Даже скучно, – думаю я, ныряя во мрак улицы, – все прошло на удивление гладко». А если что-то с первого раза удается, это рождает нездоровое желание продолжать в том же духе. «Побегаем мы еще», – уныло констатирую я, медленно возвращаясь домой.

Дома тишина и покой, несмотря на открытую дверь нас никто не ограбил, а вот в душе опустошение. Слишком много пережито за последние два часа, но дело сделано, и теперь нужно ждать последствий. Ирочка тихонько плачет в уголке, а я слишком устала, чтобы ее утешать, да и утешать-то ее толком не в чем, ей ведь мерещится, что завтра на работу Саша придет с сияющими глазами и непременно признается ей в любви, как будто он только и ждал малейшего толчка извне, чтобы высказаться. Откуда эта наивность, в каких облаках она витает? Ежу ведь понятно, что ничего подобного завтра не произойдет, или, скажем, вероятность такого развития событий крайне мала, не невозможна, а крайне мала, но это почти то же самое, что невозможно. А она ухватилась за эту крохотную

долю, и тешит себя, и лелеет ее, и раздувает до гигантских размеров, и в результате, глядишь, уже свято верит, что именно так и произойдет. Я заворачиваюсь в белый пушистый плед, рука натывается на кота, мгновенно включается и тихо урчит моторчик под моими пальцами. Мы успокаиваемся. Мы пьем чай с травами и сливками из огромной чашки, бормочет и жалуется телевизор в комнате, пахнет печеным...

Я лишь немного волновалась, идя на работу на следующее утро. Я сразу же выкинула из головы весь тот ворох советов, которыми меня снабдила Ирочка, в конце концов записку-то писала она, пусть она и боится, а мне просто любопытно.

Он пришел позже, когда я уже окунулась с головой в работу. Я весело поздоровалась с ним и снова уткнулась в монитор. Уж это мне предвзятое мнение! Конечно, мне показалось, что он немного напряжен и несколько демонстративно делает вид, что ничего не случилось, но тем не менее бросает заинтересованные взгляды. Ирочка устроилась где-то на самом краю сознания и сидит тихо. Я строго-настрою приказала ей не высовываться, она и не высовывается. Мы работаем, никто не лезет ко мне выяснять отношения. Оно и понятно, полная хата народу, какие уж тут выяснения. Полный штиль, как я и предсказывала, даже скучно. Самое время закурить. «Нет! – встречает Ирочка. – Я никогда не курила на работе, это твоя дурная привычка!» «Молчать! Смирррна! – грозно кричу я. – Как же ты предполагаешь иначе нам побыть вдвоем?»

Я тихонечко подхожу сзади к Саше и с любопытством рассматриваю его рыжий затылок, он оборачивается и смотрит на меня снизу вверх, поблескивают стекла очков.

– У тебя нет ли сигаретки? – застенчиво спрашиваю я.

Он удивлен:

– Разве ты куришь?

– Вот решила закурить, дурной пример...

– Пошли! – Он встает, на ходу вытаскивая две сигареты из пачки.

Мы идем в курилку. Я начинаю рассказывать какие-то анекдоты, мы смеемся, потом следуют истории из жизни, сигареты заканчиваются, и я прихожу к выводу, что: либо он не нашел-таки в двери никакой записки; либо он и не думает, что автором этой глупости могла быть я.

Если он все же догадывается о моем авторстве, то тогда он, судя по всему, принадлежит к тому типу людей, которые ради собственного спокойствия предпочитают закрывать глаза на факты, которые их по каким-то параметрам не устраивают. Впрочем, есть еще один вариант: он догадывается, но предпочитает не вмешиваться. Поскольку я сама все это затеяла, ему интересно, что я предприму еще, как стану расхлебывать кашу. Вполне доброжелательный сторонний наблюдатель. Это нравится мне больше. Рискованно думать о человеке, которого я люблю, плохо, эдак можно и разлюбить! Я сама мысленно смеюсь своим рассуждениям. А если так, что ж, будем расхлебывать, не зря же я все это затеяла. Пусть даже не я, а мой романтический двойник, ну так даже интересней. Все-таки он удивительно симпатичный, этот Саша, в своей клетчатой потертой рубашке а-ля ковбой.

Я настойчиво добиваюсь совершенства этикетки для какой-то там газированной воды сурового фиолетового цвета (должно, смородина). В чем только не приходится добиваться этого самого совершенства: то тебе водочные этикетки или, к примеру, буклеты для библиотек, а то еще реклама мебели, ферросплавов, лифтов и лифтостроителей, подсолнечного масла, тракторов, пуговиц и одежды, пошитой заключенными, или того хлеще – научно-информационный обзор далекого института, производящего бомбы. Сидишь, бывало, любовно чистишь эту бомбу, замазываешь старательно всякие царапины на ней, чтобы бомбец выглядел как живой, и думаешь про себя: «Засунь-ка подальше свои пацифистские взгляды и делай, что говорят, кто тебя спрашивает! Клиент платит! И не инте-

ресует тебя качество водки или той же чернильной газированной воды, для которой ты создаешь шедевральный этикетку, работа у нас такая». Как-то Саша выразился по этому поводу. «Знаешь, – говорит, – чем дизайнер отличается от художника? Художник – существо доброе и отзывчивое, потому что свободное, а дизайнер – желчное и мрачное, потому что зависимое». Шутки шутками, а, однако, пора обедать.

– А не пора ли обедать? – обращаюсь я к Саше.

– И то правда! – радостно встрепенулся он.

Мы идем в столовую. Там мы снова веселимся в промежутках между глотанием. Вполне непринужденно. Удивительная выдержка у этого человека, ведь ни в одном глазу! Может, действительно он не получил записки?

– Надеюсь, ты не собираешься тосковать по ночам? – с тревогой спрашиваю я Ирочку вечером. – Не вздумай портить нам сон.

Нет, конечно, мы читаем книжку, болтаем по телефону и даже пыгаемся в очередной раз преставить мебель, но, устроив кавардак в комнате, быстро устаем и бросаем это занятие. И сон у нас превосходный. Вот только мечты у нас теперь особенные. И письма. Я уже не помню, что я там сочиняла на ходу, не всегда успевая записывать. Наверное, мне все же хотелось как-то объяснить свое поведение, найти достойное оправдание ему. Кто-то говорил мне, что писать письма – нелепо, а анонимно – еще того хуже. Ведь, в сущности, я вторгаюсь в чужую, незнакомую мне жизнь, и кто его знает, как могут обернуться для него все мои выкрутасы. Сколько раз воображение рисовало картины, одна страшнее другой: вот он подкарауливает меня где-нибудь у подъезда и со злостью швыряет мне в лицо письма, он говорит, что их нашла какая-то там его женщина, и теперь они в ссоре, и виновата в этом я. Или он потешается надо мной, показывает письма своим друзьям, и они вместе смеются, хотя это меня как раз меньше всего волновало. А иногда, возвращаясь домой, я надеюсь увидеть такую же сложенную записку в моей двери. Я говорю себе: «Я только ищущу, ищущу человека, который думает, как я, который на мои письма посмотрит так, как я смотрю на них». И тут же вставал вопрос, а как же все таки я на них смотрю?

«Предсказуемость мира. Разве не хочется хоть изредка, чтобы произошло нечто, сломавшее эту предсказуемость? Все что угодно: и быть смешной и нелепой, попадать в дурацкие ситуации, и быть отвергнутой, и быть принятой за кого-то другого, и ждать чуда, изо дня в день, не признаваясь себе в этом, пряча даже глубоко от себя это ожидание, – но каждое утро вставать, и смотреть в окно, и ждать... Чтобы сломалась однажды эта железобетонная конструкция мира, чтобы мир перестал быть правильным и предсказуемым. Стоять под окнами, смотреть на дверь, вкладывая в эти простые действия весь смысл от самого начала. И увидеть хоть отблеск понимания в глазах рядом.

В чьих глазах искать свое отражение?»

Я пыталась объяснить...

Я регулярно, как на работу, ходила и оставляла свои письма в его двери. Я писала сказки о летающих кротах, я сочиняла истории о картине мироздания, письма были то длинными, то короткими.

Читал ли он эти письма? Каждый раз я задавала себе этот вопрос, когда встречалась с ним в офисе. Может быть, мое волнение как-то передалось ему, во всяком случае он казался взволнованным, но я, кажется, утратила трезвый взгляд на события и начала погружаться в мир иллюзий.

Я забыла перчатки, девочки сказали, что подождут меня на улице. Мы после работы собирались идти за шляпкой для Насти. Я влетела в офис, взяла перчатки и вдруг увидела, что Саша один, он был погружен в работу

и не заметил, как я топчусь у двери и смотрю ему в спину, прижимая к груди перчатки. Задумчиво я спустилась вниз и в вестибюле уселась на диванчике в твердом желании дожидаться его во что бы то ни стало, я думала о всех потерянных возможностях, о том, что я могла бы сделать то-то и то-то, а вместо этого только мечтаю.

– Сидит! – провозгласила продрогшая Настя. – Мы ждем ее, мерзнем, а она сидит!

Лариса выглядывала из-за ее спины.

– Точно, сидит, – удостоверилась она. – Ты чего сидишь-то?

– Размышляю, – не признаваться же, что поход в магазин вылетел у меня из головы. Я со вздохом поднялась с диванчика: не судьба.

Если судьба может диктовать, может заставлять или препятствовать, то ведь она может и хранить. Кого же в таком случае она хранит? Его или меня? Занятая этим неразрешимым вопросом, я потащила в шляпный магазин.

– Ты уверена, что эта шляпа мне не идет? – спросила Настя, глядя мне в глаза. – Что, неужели так плохо?

– Отвратительно, – задумчиво уверила я ее.

– А мне кажется, очень хорошая шляпка, – возразила Лариса.

Я глядела, как Настя примеряет шляпы, и вдруг вспомнила, как однажды решила на поступок. Я примерно в таком же магазине не устояла перед восторгами продавщицы. Та уверяла, что в фетровом ведерке, которое я напялила на себя, я чудо как хороша. Купив это сомнительное произведение шляпного искусства, я пошла на свидание. И вдруг в одной из витрин увидела свое отражение. Со мной сделалась истерика. Если это чудело, отражение которого складывалось пополам от смеха в витрине, претендует на то, чтобы его любили, ему следует внимательней относиться к тому, что украшает его голову. Я сняла с себя шляпку, зачем-то оторвала подкладку, лихо прихлопнула ее сверху ладошкой, отчего днище ведерка перекошилось, и снова водрузила себе на голову. Без подкладки ведерко повисло у меня на ушах, и в таком виде я продолжила путь. Я хотела поразить своего кавалера экстравагантным видом и своей оригинальностью, я предвкушала, как мы вместе посмеемся. Кавалера в условленном месте не оказалось, хотя я умудрилась почти не опоздать на свидание. Должно быть, его нежная организация не выдержала появления привидения и он успел ретироваться. Тогда я подумала, что обладая редкой способностью портить так хорошо начинающиеся дела и сводить на нет собственные усилия. Уж как я его любила, как я ждала этой встречи! Впрочем, было это, дайте вспомнить, лет десять назад...

А на следующий день в конторе намечался праздник. Чей-то день рождения.

– Вот он, наш шанс, – шептала Ирка, потирая руки. – Мы им воспользуемся, уж будь уверена.

– А как? – крестинистически разводила я руками.

– Как-нибудь, балда! Предоставь все мне. И не паникуй!

Я бывала в разных компаниях, на разных праздниках. В горах с тушенкой в банках, разогретой на костре, в избушке посреди заснеженного леса с тремя бутылками водки на двадцать человек и в апартаментах с горой закусок под засушенные улыбки на лицах хозяев. Все компании веселятся по-разному: под гитару, под магнитофон, под спиртное – в конце концов не веселятся никак, а просто едят. На моей новой распрекрасной работе я еще праздников не отмечала. Поэтому сидела тихо в сторонке и наблюдала. Когда стол был накрыт, мы заняли с Сашей соседние места, и душа моя запела. Она пела и пела, и когда в мою рюмочку драгоценной рукой наливалось вино, и когда дивный голос рядом спрашивал, не положить ли чего в тарелочку, и когда долгожданный локоть слегка задевал мою руку. Я и вино не пролила мимо, и колбаска в горле не застряла. Чудеса!

– Главное – уйти вместе, – настраивала меня Ирка. – Будь начеку.

Я отмахивалась от нее, купаясь в неожиданно свалившемся на меня счастье.

Вышли на улицу все вместе. Кто-то рассаживался по машинам, я же, достаточно веселая от напитков и еще непонятно от чего, выразила желание пройтись пешком. Я глянула на Сашу и поняла, что звездный час не ограничился стенами конторы, он намерен длиться и дальше, поскольку мой предмет решил идти пешком вместе со мной. Из-за меня созрело в его голове такое верное решение или это воля случая – не имело значения. И в этот момент я в очередной раз впала в кому. В первые секунды Ирка еще пыталась растормошить меня, чертыхаясь и бранясь, потом, видя тщетность попыток, плюнула и взяла правление в свои руки. Я не слышала, о чем они говорили по дороге, кажется, Ирка беззастенчиво заигрывала. Она растягивала как могла дорогу до дома, давая мне шанс очнуться. У нее, видите ли, закончились сигареты и нужно сделать крик до киоска, чтобы их купить. Но в киоске не оказалось ее любимых сигарет (когда она успела сменить марку?), и пришлось идти в магазин. Саша охотно следовал за этой наглой выдрой, а я стонала и металась, но в себя не приходила. В магазине ей вдруг пришла в голову мысль, что она недостаточно пьяна, ей, дескать, в этот вечер хотелось выпить до чертиков и надо бы купить чего-нибудь. И что вы думаете! Купила! И, естественно, перед родным подъездом она вдруг заколечивалась. Как же так? Она что же, будет одна все это пить? Разве это правильно? Ну, пожалуйста, ненадолго ведь можно зайти в гости? Где у него были глаза, остается возопить, он что, не понимает, что эта стерва его заманивает? И вот так, в полном составе, втроем, вернее, вдвоем с половиной мы вваливаемся к нам в квартиру. Однако негодяйке этого показалось мало, с милой улыбочкой (зарраза!) она вспоминает: «Ах, ты же играешь на гитаре, может быть, сходить за гитарой?» Околдовала она его, что ли? «О'кей! – говорит. – Схожу».

– Но ты вернешься? – многозначительно глядя в глаза.

– Обязательно, – заверяет Саша и скрывается за дверью.

– Просыпайся, соня! – ликует Ирка. – Слышала? Через полчаса он вернется!

Я мгновенно прихожу в себя.

– Гадина, – говорю я слабым голосом, – что ты творишь? Он не вернется!

– Вернется, – заверяет меня гадина. – Я тебе его заманила, считай, он у тебя в кармане. Разве ты не этого хотела?

– Ох, не знаю... А зачем ты его за гитарой отправила? – давай я стонать и причитать. – Я так не умею. У меня наглости не хватает.

– Ах, вот как? Наглости? Дура ты! Дурочка маленькая, глупенькая. Разуй глаза, ведь я его не на аркане тянула, он сам хотел зайти. Ладно, все, я молчу, распутывай сама.

И замолчала.

Он пришел. И пел под гитару на кухне. Я несла кукую-то чепуху, пила вино и думала о том, что никогда не смогу воспользоваться случаем, просто не знаю, как нужно пользоваться случаем. Вот ему надоест петь и он уйдет, вот так просто возьмет и уйдет, а я не смогу его задержать, а потом буду плакать на той же кухне, понимая, что больше не будет такого чудесного случая, что все кончится, так и не начавшись, если только он сам... А сердце стучит, и я уже не могу думать ни о чем другом, кроме как о своем возможном поражении.

Он собирается уходить.

– Хорошего понемножку, – говорит он. – Здесь хорошо, но пора домой.

Я покорно встаю и жалко влечусь вслед за ним в прихожую. Молчащая Ирка скрежещет зубами в бессильной злобе. Я ее понимаю: столько трудов насмарку! Ноги не держат меня, и я опускаюсь на табурет. Он надевает пальто.

– Дура! – не выдерживает Ирка. – Да сделай же что-нибудь!

– Ну пока, – говорит Саша.

Я так не могу, этот вечер не может закончиться так, не имеет права!

– Стой! – кричу я ему. Наверное, я спятила. – Подожди меня.

Он усмехается. Что же он сказал? Боже мой, я не помню. Он что-то сказал, что-то такое, будто понял меня, не Ирку понял, а меня. Я мчусь в комнату. Когда я успела переодеться в домашнее? Ага, наверное, пока он ходил за гитарой. В каком-то безумии я натягиваю первые попавшиеся джинсы. Потом в прихожей он подает мне куртку, и мы выходим на улицу в ночь. Куда? В ночь! Меня несет, я кричу, что так и не смогла напиться до чертиков и теперь мне ничего не остается, как только купить водки и в подворотне выжрать ее всю, а иначе беда! Иначе что угодно может произойти с неудовлетворенной женщиной! Кто это говорит? Я? Ирка? Должно быть, я потеряла остатки разума. Он смеется, он возражает, что водка не нужна, что и без водки хорошо. Нет, горячо убеждаю я, без водки нехорошо (я ведь не пью водку, безумная!), нужно непременно удовлетворять желания. Мы говорим о желаниях, не преступая, впрочем, определенной черты. Но ведь бывает так, говорю я, мечтаешь о чем-то... Мы говорим о мечтах. Мне действительно хорошо, я не знаю, куда мы бежим по ночным улицам, но разум, не желая полного помрачения, почему-то упорно цепляется за водку, как будто за единственную рациональную мысль. Я рвусь к ближайшему освещенному киоску, и вот тогда...

– Постой, – говорит мне Саша, удерживая меня за рукав. – Предлагаю альтернативу. У меня дома есть пиво, пойдем выпьем пива, а потом, если уж не хватит, сгоняем за водкой.

– Пойдем, – соглашаюсь я.

Как хорошо, будто мы оба знаем одну вещь, будто мы оба влюблены и только теперь поняли это, но не говорим об этом, и от этого только лучше.

Я подхожу к знакомому подъезду. Сколько раз, трясясь от страха, я пробиралась к этой двери! Как хорошо, что я удержалась от лицемерного: «Значит, здесь ты живешь?» Я просто поднималась следом за ним по лестнице, ощущая впервые законность своих действий. И постепенно схлынуло напряжение. Я вошла в его квартиру.

Мы сидели в комнате, пиво давно кончилось, о водке никто не вспоминал. Я всегда любила разговоры, наполненные каким-то тайным смыслом, когда не замечаешь времени, когда неизвестно откуда приходит само собой невероятное чудесное взаимопонимание, когда кажется, что жизнь только тем и драгоценна, что вот такими разговорами. Опомнились мы, когда на часах было уже около пяти утра.

– Ну что ж, мне пора, – сказала я устало.

– Да, я провожу тебя.

Нынче ночью я была счастлива. На обратном пути немного поэзии. Почему-то, когда вспоминаешь о чем-то прекрасном, в голове вертятся затертые такие выражения, взять хотя бы последнее – «немного поэзии». Конечно, куда уж без поэзии! Но чушь, чушь, о поэзии и вспоминаешь тогда, когда слова вновь возрождаются в исходных звучаниях, и никакая затертость не мешает думать так. А потом... Не все ли равно, как все это будет звучать потом!

Я не стала анализировать случившееся. Я только понимала, что произошло что-то не то. Я не успела помечтать перед сном. И все же заснула с надеждой.

– Ты что, уже поставила крест на своей любви?

– Почему? – удивилась я, впрочем, не очень удивилась, я понимала, что она права.

– Да ты хоть понимаешь, что все эти разговоры в курилке несколько из другой области! Мне казалось, ты ищешь чувств, любовника, приключений в конце концов, а на деле получила, как это... гуру, учителя.

Теперь осталось только заняться йогой и соединиться с ним в астральных полетах.

– Прекрати! Йога тут не при чем. Мне действительно все это интересно.

– Ага, ага, самопознание, самосовершенствование, чистота... Может, он того, голубой?

– Замолчи, я сказала!

– Извини, просто мне казалось, ты это уже прошла. Ты читала все эти книги, читала мантры, сидя на холме, и у ног твоих плескалось море, ты смотрела дикие сны и чуть не съехала с катушек. Забыла? Забыла, куда завела тебя твоя тяга к чудесам? Страшно становилось! Разрушительница мира, ядрена кочерыжка!

Все верно, было и такое в моей биографии, зря она об этом вспомнила. Тяга ко всему чудесному однажды едва не свела меня в могилу.

Как-то кучка умников собралась на берегу моря и пыталась разрушить мир или, вернее сказать, – «привычный мир». Мы возрождали жизнь древних развалин, это была археологическая экспедиция. Мы видели людей, умерших задолго до рождения Христа, мы видели город, похожий на солнце, как его рисовали древние славяне, город-колесо. Аркаим. Стирались грани между мирами, мы уходили туда, где, нам казалось, жизнь полна чудес. Мало ли кто и какими методами старается уйти от привычной действительности! Без всяких наркотиков. Мало ли кто в какие игры играет... Играют толкиенисты, биоэнергетики, шаманы, колдуны, психопаты, фантасты, обычные люди, алкоголики, поэты и художники. Лишь бы только не испытывать снова и снова эту тоску по несбывшемуся.

– Ну понесло! Не влезай – убьет!

– Ладно, проехали.

– Слушай, лучше уж пиши свои записочки... Тоже чудеса своего рода, ломка, так сказать, стереотипов домашним кустарным способом.

– Фу, напугала! – Ирка взобралась с ногами на кресло. – А он что, потвоему, психопат?

– Он просто сильнее меня. И думает...

– А мужчина и должен быть сильнее...

– Не в этом смысле. Слушай, правда, закроем тему.

– А как же любовь?

– В том-то и дело, что любовь здесь вроде как не к месту.

– Умеешь ты все путать. Себя прежде всего. Запуталась?

– Запуталась...

И вот теперь я с ужасом чувствовала в себе нарастающую потребность выкинуть какой-нибудь новый фортель. Фортелей за свою жизнь я навывкидывала порядочно, счастье вслед за этим не наступало ни разу. Но жизнь меня ничему не научила. Ждать и видеть, как истекают последние минуты впустую, последние минуты того короткого отпущенного кем-то свыше времени, когда еще можно что-то изменить...

– А ума, похоже, не хватает, чтобы не избобретать велосипед в двадцать восьмой раз, – встряла стержовная Ирка.

Я насупилась.

– Подходишь к нему на работе, трогаешь тихонечко его за рукав, но только не так тихонечко, как таракан бегаёт, а так, чтоб он заметил, и просишь робко о встрече, дескать, поговорить надо. Бледнеть при этом можно, тем более что иначе у тебя и не выйдет, в обморок падать категорически запрещается: и разговора не получится, и ситуация выйдет чересчур мелодраматичная, – я таких не люблю. Голосом можешь дрожать, но так, чтобы слова все же произносились внятно, иначе впустую страдать придется, он все равно ничего не поймет.

– Не издевайся надо мной!

– Патетику убрать! С патетикой справиться может только профессия

ональный актер, у тебя выйдет пошло. – продолжала жестокая, не обращая внимания на мой протест. – Встретитесь на нейтральной территории, лучше на скамеечке в парке.

– Зима! – закричала было я возмущенно, но мне не дали закончить.

– Ты в санаторий собралась или судьбу свою решаешь? Вот и молчи! Мне, собственно, немного осталось сказать. Встретитесь в парке, ну в крайнем случае в баре, ты наберешь в легкие побольше воздуха и, глядя куда-нибудь в сторону, скажешь ему, что ты его любишь, что осознаешь всю глупость создавшейся ситуации, не можешь дальше продолжать игру и отдаешься на милость противника, про письма тоже скажешь. Все. Как дальше пойдет, не знаю, увидим.

– Не увидим! – огрызнулась я. – Я этого не сделаю. Это заманчиво, конечно, но бессмысленно. Если бы у меня были сомнения насчет его чувств, я бы так и поступила. Но сомнений у меня нет, он меня не любит. Зачем же выставлять себя на посмешище? К тому же я не хочу портить с ним отношения...

– Ты что думаешь, он дурак?

– Да нет же, с чего ты...

– А с того, сокровище мое пострадавшее, что если он не дурак, то давно понял, кто закидывает его записочками, изображая из себя шести-классницу. К тому же разговоры ваши как-то приувыляли в последнее время, терять тебе нечего. И единственный достойный выход из создавшейся ситуации – это во всем мужественно признаться.

– Но это же конец!..

– Да, это конец. А ты еще не наигралась?

Как же мне после мечтать по вечерам? О чем мне мечтать, если расставлены все точки? А если пойти еще дальше, разве не бывало такого со мной, что вот любишь человека, он признается в ответном чувстве, а я, вместе с неземным счастьем, испытываю разочарование? Вот он, конец, конец надеждам и предощущениям, вот он, конец мечтам в подушку... Вот он, конец любви.

– Чего же ты боишься на самом деле? – тихо спрашивает кто-то третий, вступающий в разговор крайне редко, кто-то рассудительный и печальный. – Ты все играешь, тебе не нравится, когда тебя не любят, но ты боишься и самой любви. Ты боишься, что чудо наконец случится, но вдруг любовь окажется не такой. Человек окажется другим. И тогда останется только бежать, трусливо бежать, в который раз.

Я решила признаться. Но тогда нужно быть готовой уйти с работы, где я успела нагадить.

– Знаешь, завтра на работу пойдешь ты, – сказала Ирка, она сидела, вальяжно развалившись в кресле, закинув одну красивую ногу на другую не менее красивую. – Что-то мне надоела эта игра.

– Но, – робко возразила я, – ведь это же твоя идея – идти признаваться.

– Ну и что, а я не хочу. Советы – они тем и хороши, что даются другому.

Я стояла на остановке и смотрела на снег. На душе было светло и пусто, как в музее. Решившись на эту казнь, я краем сознания чувствовала, что и это – фрагмент игры, о котором я знала с самого начала и была готова к нему. Вот только партнер в этой игре опять попался не тот. Партнер диктовал мне свои правила, уводя в сторону. Вот и все.

Я смотрела на снег так долго, что сами собой хлопья стали складываться в стены, образуя коридор. Не раздумывая, я двинулась вперед по коридору. Стены казались текучими и подвижными, но в то же время достаточно прочными, чтобы не возникало желания пройти сквозь них. Движение внутри стен было непрерывным, но медлительным, как в воде или во сне, узоры складывались и перетекали, должно быть, каждый рисунок что-то значил, но я не понимала этого языка. Впереди коридор по-

ворачивал, я оглянулась – там маячила остановка, и я повернула по коридору. Постепенно путь мой складывался в слова. Я прошла уже весь предстоящий мне разговор, потом прошла его еще раз с новыми поворотами и новыми словами, возможно, мне хотелось подготовить себя, но с каждым разом разговор делал все новые повороты, а коридору не было конца, и смысл давно потерялся. «Довольно», – сказала я себе, и коридор закончился. Я зашла в тупик.

Его место за компьютером пустовало. Я решила не волноваться и ждать до обеда. Впрочем, быстро отвлеклась: работы было много, и я не заметила, как с головой погрузилась в рекламу туристической фирмы. Корабль плывет по морю, там, где лето, пальмы не дают тени, потные граждане на берегу со счастливыми улыбками хлебают экзотические коктейли, утыканные палочками, трубочками, дольками лимона и ярко-красными пластмассовыми шариками. Как они это пьют, интересно? Сквозь всю эту мешанину до жидкости в стакане не добраться, так можно и глаз выколоть. Видимо, придется сначала разгребать это руками. Хотя сложности их, видимо, не пугают, вон как радостно улыбаются. Может, им и пить не хочется, так, баловство одно... Вопрос, прозвучавший у меня за спиной, оторвал меня от проблем потных граждан.

– А где у нас Саша сегодня? – В конце рабочего дня начальство проявило умеренный интерес к отсутствию одного из подчиненных.

Я оглянулась. Никто на вопрос не ответил.

– Он не звонил? – спросила я.

– Нет, не звонил.

– Ирочка, будь добра, позвони, узнай, что у него случилось. – Константин Эдуардович протягивал мне книжку с телефонами. – Вот его телефон.

Знаю я его телефон, но для порядка в книжку я все же посмотрела и набрала номер. Длинные гудки, много длинных гудков. Никого.

– Не отвечает, – пожалала я плечами, кладя трубку. – Может, у него телефон не работает.

Но начальство уже отвлеклось, в конце концов один день отсутствия – это не смертельно.

Не нужно волноваться, мало ли какие дела могут быть у человека! Проблемы отдыхающих отошли на второй план. Почему именно сегодня? Тогда, когда я прошла такой долгий путь к этому разговору, почему именно сегодня он не пришел?

– Ну не пришел – и ладно, – сказала Ирка, причем, она тоже была недовольна, она знала, что с каждой минутой промедления моя решимость начнет таять.

– Может, у него случилось что-то... – начала я.

– О нет, только не накручивай себя! – прикрикнула она.

– Нет, но мало ли что!

– Подождем до завтра.

Я звонила из дома с тем же результатом. Ближе к ночи я погнала себя на улицу. Я высчитала его окна и убедилась, что в окнах горит свет. Значит, он дома.

Может, он лежит дома больной, а телефон не работает. Ему становится все хуже и хуже, а помочь некому. Из последних сил он поднимается с постели и ползет к входной двери, чтобы позвать на помощь соседей, но у порога теряет сознание...

– Остановись, – устало просит Ирка. – Ну что за привычка придумывать всякие ужасы!

Я брожу по двору туда-сюда. Вероятно, пока я шла к нему, он как раз вернулся домой, а до этого его просто не было дома, поэтому он и не отвечал на звонки. Я обхожу несколько киосков в поисках телефонного жетона и звоню ему из автомата.

– Ночь на дворе, – напоминает мне Ирка.

– Я только хочу убедиться, что с ним все в порядке, – объясняю я.
Длинные гудки. Очень-очень длинные.

А может, он просто не хочет брать трубку? Сидит дома, медитирует и посылает всех на фиг со своими звонками?

– Резонно! – оживляется Ирка. – А мы тут, как дура, бегаем по двору, пугаем старушек. Старушки могут решить, что мы замыслием недоброе, позвонить в милицию...

– Старушки спят давно! – огрызаюсь я.

– И нам пора! Я замерзла уже, давай-ка пойдем баиньки, а завтра спросим у паршивца, почему он не брал трубку и заставил волноваться хороших людей.

– Спросим? – с сомнением покачала я головой.

– Ну во всяком случае посмотрим на него, живого и благополучного.

На следующий день его снова не было на работе. Телефон по-прежнему не отвечал. Я потеряла всякий интерес к гражданам с трудновыпиваемыми бокалами в руках. В курилке мы с Ларисой выдвинули еще несколько версий о причинах отсутствия ведущего дизайнера – одна фантастичней другой. Я ввергла себя в крайнюю степень беспокойства и решила действовать: пойду и смело позвоню ему прямо в дверь.

– Да ты что?! – изумилась Ирка.

– Откуда столько иронии? Я иногда бываю умопомрачительно бесстрашной!

– Только не дожидайся полуночи, а то окажешься в дурацком положении со своим бесстрашием. По дороге захватим бинокль на всякий случай.

– Подглядывать стыдно.

– Брось! Если с ним что-то случилось, твоя щепетильность не к месту.

– Значит, ты все же думаешь, что что-то случилось? – потерянно спрашиваю я.

– Нет, не думаю, просто напоминаю тебе о логике.

На работе пришлось задержаться. Омерзительные на вид граждане с их колючими коктейлями требовали срочной доработки. Когда я закончила, за окном было совсем темно, спина разламывалась, а глаза отказывались смотреть на мир.

– И в таком состоянии безалкогольного опьянения ты двинешься на подвиги? Может, домой? – с надеждой спросила Ирка.

– У тебя сердце есть? Человек пропал и два дня не показывается на работе.

– Сердце у нас есть, а человек может просто загулять. В самом широком понимании этого слова. Ладно, решила так решила. Звоним в дверь, сгораем со стыда – и домой.

И вот опять на улице темень непроглядная. Не слишком поздно, но почему-то очень темно. Я зашла в знакомый двор и с первого взгляда нашла нужные окна. Судя по всему, свет горел в гостиной. Хотя окна были зашторены, свет пробивался сквозь них, кухня освещалась, наверное, из коридора.

– Если мы зайдем вон в тот дом напротив и поднимемся на последний этаж, то в наш театральный бинокль, возможно, увидим что-нибудь интересенькое, – пропела Ирка.

– Что же мы увидим, если шторы опущены?

– Если ничего не увидим, то не стоит и мучиться. А то твоя совесть скушает тебя раньше, чем мы успеем спасти коллегу по работе. Значит, он там, привязанный к стулу, с кляпом во рту, под дулом пистолета, с кинжалом у горла, в куче уже тлеющего хвороста, с головой в духовке и петель на шее, а мы тут кочевряжимся и делаем вид, что слишком хорошо воспитаны для того, чтобы одним глазком взглянуть на рисунок на его шторах.

Убитая наповал развернутой передо мной жуткой картиной, я безропотно дала завести себя в чужой подъезд. Так и есть, ничего не видно.

Наверное, я бы так и застыла на месте каменным изваянием пограничника на заставе, разглядывающего в бинокль вверенные ему территории, но меня согнала с места какая-то дама, поднимающаяся по лестнице.

– Шухер! – зашипела Ирка. – Чего застыла-то? Не видно же ничего! Теперь если где-нибудь поблизости обворуют квартиру, мы пойдем главными подозреваемыми.

Я с достоинством зачихала бинокль в карман и прошествовала мимо затормозившей на площадке дамы. Дама проколола меня насквозь взглядом, но ничего не сказала.

– Нас запомнили, – продолжила шипеть Ирка.

– Все ерунда, главное же – не видно там ничего. Хотя стоп! – Я опять остановилась как вкопанная.

– Да не стой же ты на месте, горе мое! По дороге расскажешь! Ну что там?

Мы вышли из подъезда.

– Знаешь, у него там на балконе дверь открыта.

– Ну и что? Проветривает человек квартиру.

– Зимой?

– Закаляется, значит.

– Не нравится мне все это. Иду звонить.

Я решительно направилась к его подъезду, по дороге выдумывая, что бы такое изящное соврать, когда он откроет мне дверь жив-невредим.

– Попросишь дать тебе стакан воды, это классический прием, – советовала извергиня. – Дескать, проходила мимо, захотела пить и зашла на секундочку. Ночью.

– Лучше пива.

– Отлично! Проходила мимо, захотела пива и пришла под дверь кланчить кружечку-другую «Балтики», Христа ради. Или нет, лучше скажешь, что вот уже два дня порываешься открыть ему нечто важное и решила сделать это немедленно. Убьешь сразу двух зайцев: признаешься в любви и заодно спасешь от смерти, если, конечно, он в этом нуждается.

– А если он не один?

– Тогда ни то, ни другое не понадобится. Он выставит тебя вон, и ты пойдешь топиться, но, поскольку утопиться зимой проблематично, не долбит же лед каблуком, мы, изнуренные своими подвигами, мирно отправимся домой и зальжем в горячую ванну с пеной.

– Назло тебе буду долбить лед каблуком, пока не продолблю дырку, а продолбив, утоплюсь.

– Будешь долбить до морковкина заговенья, а потом устанешь и пойдешь домой как миленькая.

Вот его дверь. Я протянула руку к звонку и увидела, что рука дрожит.

– Ну!

Судорожно я ткнула пальцем в кнопку. Где-то далеко раздался звон. И тишина. Я почувствовала, что начинаю покрываться липким противным потом.

– Еще!

Я снова нажала – опять ничего.

– Что будем делать?

Без сил я опустилась на ступеньку. Где-то внизу живота стала накатывать тупая боль.

– Прекрати истерику! – сказала я себе, а может, это сказала Ирка, я не разобрала. – Он просто уехал куда-то и забыл выключить свет в квартире.

В подъезде хлопнула входная дверь, и кто-то стал подниматься по лестнице. Я с трудом встала на ноги и, согнувшись пополам, стала спускаться вниз.

– Ира?

Я подняла глаза. Навстречу мне шла девушка, лицо которой мне показалось смутно знакомым, вернее, пол-лица, потому что вторую половину

прикрывала гигантская меховая шапка, делая ее похожей на болонку. Девушка жизнерадостно тащила две полные авоськи с продуктами.

– Ну и дела! Как ты здесь? Откуда? – Смутно знакомая девушка сквозь ворс своей шапки заглядывала мне в глаза с неподдельным восторгом. – Что с тобой?

– Живот болит, – буркнула я.

– Да ты что! – Неподдельный восторг слегка подернулся налетом сочувствия, как колбаса плесенью.

Откуда взялась на мою голову эта девушка? Кто такая? Прилипла, как репейник. Шла бы уже...

– Пойдем ко мне! – завопила настойчивая и потащила меня куда-то в глубь коридора. – Я дам тебе таблетку, мигом пройдет, а ты пока расскажешь мне, что да как. Я же сто лет тебя не видела!

– Подумаешь, горе! – пробурчала я, потихоньку приходя в себя, и тут же подумала: «Может, оно и к лучшему, пережду в тепле и решу, что делать дальше». Вот только девушка трещала без умолку, не давая сосредоточиться.

Она втащила меня в свою квартиру, сняла с меня куртку, усадила в кресло, сунула в руку какую-то таблетку, налила чаю, и тут я вспомнила, кто она такая. Надо же, как я могла забыть! Без шапки я ее сразу узнала. Мы учились с ней вместе в художественном. Она изводила всех своей плещущей через край энергией, достаточно только сказать, что это была ее идея ехать на пленэр на велосипедах, когда снег вот-вот должен был пойти, чтобы запечатлеть «золотую осень». Обратное мы добирались на попутках. Ее шедевр в масле с тем же названием до сих пор украшает стены моей кладовки. Зовут ее Люля. Она здорово поправилась за три с лишним года, что я не видела ее. Пока я пила чай и грелась, она рассказала мне, что уже побывала замужем, развелась, пишет картины, организовала себе две совместные выставки и одну персональную, собирается вступить в Союз художников. Я слушала ее в пол-уха.

– Ну а ты как? Ты чем занимаешься? – пыталась она.

Я рассеянно заверила ее, что у меня все нормально.

– Это какой этаж, Люлька? – спросила я.

– Ты что, пьяная? – заинтересовалась она. – Вид у тебя какой-то сумасшедший. Четвертый это этаж, а что?

– А то, что над тобой живет один гражданин, судьба которого сильно меня беспокоит.

– Интрига, – прошептала очарованная Люлька. – Здорово!

Я вкратце посвятила ее в историю исчезновения сослуживца.

– Боже мой! – заметалась толстуха, сметая со стола чашки с недопитым чаем, розетку с вареньем и сахарницу. – Нужно что-то делать!

Я вскочила с кресла, столкнулась с ней, ее лоб оказался на удивление твердым и гулким, как колокол. Слегка оглушенные, мы обе очутились на полу.

– Я звоню по телефону – никто не отвечает, я звоню в дверь – тишина, а свет горит! – зашептала я, одной рукой сгребая рассыпавшийся сахар, другой потирая лоб.

– Ох ты, Господи! – Причитая, она заползла под стол за укатившейся сахарницей и села мне на руку.

– И дверь на балконе открыта! – взвыла я.

– Ой, мамочки! – Она слезла с моей руки, разметала сахарную горку, которую мне удалось сгрести, влезла пятерней в варенье и дотянулась до уцелевшей чашки. – Надо в милицию звонить...

Наша возня приобретала стихийный характер. Столик шатался, чайник с кипятком сполз на самый край и грозил опрокинуться. Она пыхтя высвободила руку и с опаской посмотрела на чайник.

– Надо дверь ломать!

– Она железная! – с отчаянием возразила я, разглядывая нависший над нашими лицами чайник.

– Слесаря! – рванулась она.

– Чайник! – заорала я.

Столик опрокинулся, чайник, ударившись краем об пол, покатился по кругу, разбрызгивая кипятком, мы сиганули в разные стороны.

– Как его зовут? – кричала она, отползая к стене. – Мамочки, какой кошмар! Сигареты есть?

– Не двигайся! – завывала я, ползком добираясь до противоположной стены. – Дом обрушишь! Саша! Есть!

– Что есть? – не поняла она.

– Сигареты есть.

– Давай! – Липкими от варения пальцами она взяла у меня сигарету.

– Ты ведь не куришь.

– Повод есть. – Она прикурила, сигарета затрещала, запахло жженым сахаром. – Гадость какая!

– Я пойду еще позвоню, – сказала я, вставая.

– Угу. – Она пыталась отлепить сигарету от пальцев. – Я с тобой. Ты просто сумасшедшая. Кто отпустил тебя одну на улицу? Смотри, всю квартиру мне порушила. Да отстань, зараза! – Она замахала рукой, и зажженная сигарета улетела куда-то под диван.

Мы трогательно лежали рядышком на мокром полу и вслепую шарили под диваном. На зубах скрипел сахар. Неожиданно мне в голову пришла интересная мысль.

– Знаешь что, Люлька, я пойду еще раз позвоню в его дверь, а ты пока найди мне веревку попрочней.

– Вешаться собралась! – охнула она. – Опомнись! В моем доме! Ты что, у себя не можешь? Такую пакость мне подстроить! Мало того, что в квартире бардак, так еще висельника мне здесь не хватало! Мне на работу завтра, что я делать с тобой буду, такие хлопоты! У меня бутылка водки в холодильнике, давай я налью тебе, и все пройдет.

– Что пройдет? – вскочила я на ноги. – Не собираюсь я вешаться, делать мне больше нечего! На что ты меня толкаешь! Сама вешайся, если приспичило! Тьфу, черт, при чем тут это? Ладно, неси свою водку, мне тут в голову мысль пришла.

Мы тяпнули по рюмочке, и я изложила суть.

– Класс! – одобрила Люлька. – Веревка у меня есть, но это же опасно.

– Ты забыла, что я занималась альпинизмом? – напомнила я.

– Ты не занималась альпинизмом, – возразила Люлька, тщетно пытаясь пристроить пустую рюмку у себя на коленях. – Да что же оно липнет все!

– Руку помой, – посоветовала я, – она у тебя в варенье. Я ездила в горы, я тебе рассказывала.

– Руку? – Люлька с интересом посмотрела на свою руку с рюмкой. – Ты дико гонишь, я помню, как ты говорила, что так и не решилась взобраться на скалу!

– Я знаю, как вязать страховку, а это самое главное. Тащи свою веревку. – настаивала я.

Люля умчалась в коридор и вернулась с мотком.

– Не пойдет, – забраковала я, – тонкая и скользкая.

Люлька сделала круглые глаза и снова умчалась, на этот раз она возилась в ванной, что-то там обрушила и вернулась, вся опутанная каким-то канатом, на ходу обрывая с него бельевые прищепки.

– Хорошая веревка, – одобрила я. – Длинная. В самый раз.

– Ты пока вяжи свою страховку, – решила она, – а я схожу сама позвоню в дверь. Скажу, мол, соседка снизу, дескать, меня затопило, ишу виновных.

– Молодец, отмазка хоть куда! Только помой наконец руку, а то прилипнешь где-нибудь по дороге. Веревку всю мне заляпала.

– А куда, интересно, я дела рюмку? – задумчиво спросила Люля, снова удаляясь в ванную.

Она ушла, а я принялась вязать узлы. Может быть, когда-то я и умела это делать, но сейчас я напрочь забыла все, чему меня учили друзья-альпинисты. Не хуже Люльки я запуталась в веревке и долго распутывала ее, чертыхаясь и потевя. Потом, чтобы было удобнее, я разложила свою страховку на полу и бродила вдоль нее, примеряясь, с какого бы конца подступиться. Сначала я обмотала себя от бедер и до подмышек, но оставшийся конец показался мне слишком коротким, и я начала снова. Потом я подумала, что подмышки будет резать и надо бы подложить туда что-нибудь. Я походила по комнате в поисках чего-нибудь мягкого, обнаружила меховую жилетку и напялила ее на себя. Но этого мне показалось мало. Тогда я стащила с дивана две тощие подушки-думки и в результате стала похожа на культуриста. Люлька все не возвращалась. Так с думками подмышками, обмотанная бельевой веревкой, я стояла посреди комнаты, и в голову опять полезли дурацкие мысли. «Зачем я втравила в эту историю ни в чем не повинного человека? Может быть, в квартире наверху засели террористы, они хотят что-то выведать у Саши, а теперь взяли в плен и Люльку. Ну да, международный терроризм заинтересовался работой нашего рекламного агентства и пытается выведать у ведущего дизайнера его план по оформлению колбасного магазина». Тут некстати в голову полезли граждане с коктейлями на берегу моря, с того плаката, что я сегодня закончила. Однако если бы террористов интересовали коктейли, они бы взяли в плен меня, а не Сашу.

Наконец Люля вернулась и спасла меня от короткого замыкания в мозгах.

– Никто не открывает, – с порога возвестила она и замерла, разглядывая мое снаряжение.

– Где тебя черти носят? – накинулась я. – Я уже решила, что тебя тоже нужно спасать!

– А я свистнула у дворника лопату, – бодро отрапортовала Люля, – и нагребла тебе сугроб около дома на всякий случай.

– Замечательно. Значит, если я все же свалюсь, самое страшное, что мне грозит, – это попасть в лапы разъяренного обворованного дворника.

Мы вышли на балкон. Я привязала свободный конец веревки к перилам и посмотрела вниз.

– Не смотри! – запоздало посоветовала Люля.

Однако высоко. Ноги начали противно дрожать. Сбоку к перилам крепилась железная конструкция, которая должна была значительно облегчить восхождение. Такие конструкции соединяли все балконы и, наверное, по мнению проектировщиков, должны были служить декоративным элементом. Вот только взбираться по ним нужно было снаружи. Железо обожгло руки.

– Перчатки носи! – распорядилась я.

В перчатках рукам стало лучше. Зубы у меня начали выбивать дробь не столько от холода, сколько от страха.

– Страшно? – спросила Люлька, заботливо придерживая меня под локоток.

– Отвяжись! – лязгнула я на нее. – На дело идем, кореш.

Без всякого изящества я взгромоздилась на перила, держась рукой за конструкцию, «кореш» судорожно вцепилась мне в лодыжку. Я дернула ногой и чуть не свалилась.

Все-таки я ненормальная, нет, я определенно сумасшедшая. Какого черта я повисла тут на высоте четвертого этажа с явными намерениями вломиться в чужую квартиру? Любовь отняла у меня остатки разума. Почему я не сижу дома? Какое дело мне до этого человека? У него наверняка есть друзья, которым положено волноваться в такой ситуации, и это они должны быть тут, а не я. Перед моим внутренним взором предстал балкон – цель моего пути, на который целеустремленно и деловито взбираются со всех сторон друзья. Они лезут из соседских окон, спускаются с крыши,

падают с вертолета. На их головы летят тучи стрел, льется расплавленный свинец, но друзья без паники штурмуют захваченную противником цитадель. Они почему-то представляются мне в виде гигантских пластмассовых бэтменов, таких, что я видела в отделе игрушек, только в десять раз больше. Тучи бэтменов облепляют балкон и врываются внутрь, где томится в плену их самый главный бэтмен. Почему, стоит мне в кого-то влюбиться, со мной начинают происходить самые непредсказуемые вещи?

– Потому что ты такая дура, – сказала Ирка, но тут же замолчала – не время препираться.

– И писала бы себе записочки, – ворчу я себе под нос. – Это в конце концов не так опасно.

Я преодолела уже всю конструкцию, когда передо мной встала новая проблема – мне нужно перекинуть ногу через перила его балкона, а джинсы узкие и стесняют движения. Резким взмахом я вскидываю ногу и слышу, как рвется ткань. Здорово! Я вламываюсь к мужчине в квартиру в рваных штанах. А, плевать! И тут я понимаю, что ни за что на свете не совершу это путешествие в обратном направлении, – спускаться страшней. Ну почему, почему именно со мной все это происходит, что за напасть такая! Я оказалась в ловушке.

– Ну что там? – с тревогой шепчет Люлька.

– Еще не знаю.

Я пробираюсь мимо каких-то коробок, сваленных на балконе, и толкаю дверь.

В комнате горит свет. Комната пуста. Выстужена. Я выпутываюсь из шторы и прохожу внутрь. Я была здесь один раз, в памяти всплывают подробности моего единственного визита сюда. Это было так давно. Вот здесь мы сидели и разговаривали. Ветер слегка колышет штору, и колокольчики на ней мелодично позвякивают. Это даже не колокольчики, это металлические трубочки разной толщины, подвешенные на шелковых шнурках. Как они мне понравились, когда я впервые их увидела! Я легко тронула их рукой, и они запели громче. Сейчас из кухни выйдет хозяин, и его хватит удар при виде меня. Я представила его лицо в этот момент и нервно захихикала. Но никто не вышел. Я обогнула кресло и подошла к столу. На столе стоит компьютер, над ним висит полка с книгами. На полке пачка фотографий. Я взяла верхнюю, отчего вся пачка высыпалась на пол. На фотографиях – горы, чьи-то лица. Среди фотографий смятые бумажки. Я развернула одну: *«Я так тебя люблю, что уже не знаю, кого из нас двоих здесь нет»*. Моя записка. Кровь ударяет в голову, и сердце глухо бухает. Это странное чувство – видеть письмо, написанное твоей рукой, но уже какое-то другое, чужое, непривычное. Когда я писала это письмо, оно было моим, а теперь что-то неуловимо изменилось в нем. Возможно, я так до конца и не верила, что мои письма читают, мне казалось, я оставляла их в двери, а когда поворачивалась к ним спиной – они исчезали, уходили в никуда. И вот я держу в руках послание из ниоткуда, *прочитанное*, так не похожее на то, что я писала. Мне становится стыдно. Я не хотела посмеяться над ним, я была уверена, что в этом нет ничего плохого, я и сейчас думаю об этом не как о «плохом», но как о каком-то надуманном и неловком. Не так все это должно быть, не так. Я снова ошиблась. Я стою и потерянно верчу в руках измятую бумажку, приговор моей самонадеянности. Задуманное красивым, мое действие предстало передо мной в своей обнаженной глупости.

Пора уходить. Значит, я лезла сюда вовсе не для того, чтобы спасти кого-то, – я завершила партию и в очередной раз убедилась, что мир устойчив и ничем не поколебать этой устойчивости. Чуда не случилось.

Я вздрогнула, мне послышался какой-то шум за дверью. Так и есть, в замке поворачивается ключ. Кто-то идет. Я отпрянула, налетела спиной

на кресло, выпрыгнула на балкон и затаилась. О, Господи, что за ситуация! Сейчас хозяин зайдет в квартиру, а я стою на балконе, как воришка. Мое сердце принялось отбивать такие ритмы, что зазвенело в ушах. Кто-то вошел в квартиру, послышались голоса.

– Свет горит, – женский голос.

Я успела умереть раз сто. Саша что-то ответил. Он пришел не один, с женщиной. Лучше бы мне действительно умереть. Сквозь щель в шторах я вижу ее. Хрупкая маленькая женщина в чем-то белом. Мне кажется, я видела ее где-то. Мне всегда самой хотелось быть хрупкой и незащищенной, вот такой же. И обязательно в чем-нибудь белом. Эта женщина очень похожа на мою мечту обо мне самой. Она проходит по комнате, наклоняется над рассыпанными фотографиями, собирает их и кладет на полку вместе с моими письмами. Она не заглядывает в бумажки, просто собирает их и складывает поверх фотографий. Потом оборачивается и что-то говорит. Саша заходит в комнату. Он улыбается. Такой домашний и опять именно такой, каким я мечтала его видеть, но не видела ни разу со мной. «Мечты странно сбываются, наперекосья сбываются, наизнанку. Или изнанкой было то, о чем я думала?..»

– Ну вот мы и дома. Замерзла? Сейчас согрею чаю.

– Нет! – смеется девушка. – Но чай – это здорово.

Саша исчезает. Я стою, не смея пошевелиться. Я не должна всего этого видеть, самое правильное – это прыгнуть с балкона. Девушка садится в кресло спиной ко мне, она волнуется, это видно по тому, как вздрагивают ее руки, когда она поправляет волосы.

– У меня пряник есть! – радостно сообщает Саша, снова появляясь в комнате. – Будешь?

– Буду.

Гадкая ситуация. Сейчас раздастся гром, и я навсегда потеряю лицо...

Он проходит по комнате, он не смотрит на нее, его взгляд скользит по стенам, по злополучной пачке фотографий с письмами наверху. Необъяснимо нежно он смотрит на бумажки, и его рука тянется к ним, он едва касается их пальцами, потом переводит взгляд на свою гостью и обратно на письма.

– Все-таки ты молодец, я бы не смог так, – говорит он, – так красиво и здорово. Знаешь, если бы не они, я бы так ничего и не понял.

Он берет с полки всю пачку и какое-то время держит ее в руках, потом кладет обратно и подходит к девушке.

– А я и сейчас ничего не понимаю, – говорит она.

– А нужно ли?

Они сидят ко мне спиной. Конечно, она ничего не понимает и ей действительно не нужно. А вот я все понимаю, Сирано я несчастное, я понимаю, что эта ошибка – на самом деле никакая не ошибка. Что иногда ошибочным бывает путь, который следует правилам. Только ошибка, маленькая смешная ошибка может спасти.

– Холодно, – говорит она.

– Ох, у меня же открыт балкон! – Он встает и направляется к балконной двери.

А я прыгаю вниз.

P.S. Страховка выдержала.



Екатерина КАЗИМИРОВА

Древняя крепость

Победа – над пустынной скалой
На берегу отравленного моря
Поэзия с историей самой
Задумчиво стоят, уже не споря,
У краешка продавленной стены –
Здесь меч и каски больше не нужны,
Ушел народ – и облегченный вздох.
В манипулах, наверно, кашеварят...
Но кто здесь жив: ты, Флавий, или Бог,

Который это место не оставит?
Мальчишки заигрались – кровь и честь,
Жара, осада, штурма вдохновенье,
Приказ, победа – все, казалось, есть,
Но нет противника, чтоб поиграть в плененье.
Здесь все ушли победе вопреки
(Душа легка, ступени – широки...)
Не вниз – тропой трусливо-безнадежной
И не вперед, те веселя мечи.
Они ушли дорогой невозможной,
Единственно возможной в той ночи.

А император будет огорчен:
Он победил, но кто же побежден?

Элегия

Где ангелов искать бы не подумал,
Они резвятся светлым хороводом,
Забыв отгадки самых страшных тайн.
Верней сказать, забыв про сами тайны, –
Так ясен день им, так привычна вечность,
Так незаметна им граница смерти, –
Что им она?
Что наши муки в глубине греховной?
Что наше медленное превращенье
В хроническую немощ онеменья,
Покуда им доподлинно известно,
Как полон жизнью двусторонний мир?
Где все умом предательским пытаюсь
Проникнуть за пределы – и не видя
Там ничего – ни дали, ни судьбы,

Мы, наконец, догадку обретаем,
Что нету вечности в сердцах неосвященных...

И, вопросивши, просто умолкаем,
Чтоб вслушиваться в тонкий щебет птиц
И в Твой ответ, почти неуловимый.

* * *

Ангел мой косноязычный!
Вот и постигай!
В синем небе непривычный неоглядный рай.
В этом доме, в этой клетке
Как живем мы? – спим.
Точно гипсовые слепки
Мраморных богинь.
Ветерок ласкает ложе,
Все чего-то ждем.
Голос тихий, голос Божий
Словно дальний гром.

Ангел, плачешь? Сердце мучишь!
Ангел – это ты.
Отогнать бы змей ползучих
С вешней чистоты.
Спичкой чиркни – может, вспыхнет
Ход к иным мирам?
Как ожить нам, как собрать нам
Душу по частям?



Пах антилопы

ПОВЕСТЬ

Так-то я еще крепкий, только венцы нижние пора менять. Одна дама было взялась, но ничего из этого не вышло.

– Нет, это не Сережа. У нас нет Сережи... Да, правильно. Тогда вам нужен Саша. – Жена протянула мне трубку. – Какая-то идиотка, как будто меня с мужчиной можно спутать!

– Сережа! Ой, опять я, Саша... У меня просто неправильно записано. Меня зовут Эльвира Хмелевская. Мы тут задумали серию телевизионных передач, так сказать, рекламного характера, и хотим предложить вам стать нашим автором.

Плавательный пузырь, о наличии которого в моем организме я не подозревал, наполнился воздухом и занял всю брюшную полость.

– Условия очень хорошие, очень... Практически голливудские. Но со временем – катастрофа. Вы могли бы подъехать к нам в офис?

Звенящее «да», пройдя через частично парализованный речевой аппарат, слетело с моих губ брачным призывом морской коровы.

– Или нет, давайте лучше домой, а то тут не дадут поговорить. Жду вас к часу.

Пакостник, поставленный следить за нашими судьбами, удовлетворенно потер руки. А чего, спрашивается, радовался? Ведь когда тебе дана жизнь вечная, сколько ни проказничай, время все равно не скоротаешь.

Я же, смертный по отцу и по матери, маленький и смешной, поднял счастливое лицо к потолку два семьдесят и вознес экуменическую хвалу сразу всей мировой трансцендентности.

– Ты услышала меня, о краеугольнейшая! Теперь можно не думать о зароботке. Буду сидеть дома и писать.

«Вшивые рекламные ролики», – остудил меня внутренний голос, замечательно ловко подделавшись под голос жены.

– А знаешь, какие за это платят деньги? Ты таких сроду не видывал.

– И ты не увидишь, – ласково сказала жена уже от себя лично.

Всю ночь в голове хрустели стодолларовые банкноты. Спать в таком шуме невозможно. Однако ровно в час выбритый, что твой кремлевский курсант, я нажал кнопку домофона в Эльвирином подъезде. Отвечать не спешили. Еще попытка – неудачная. Жар-птица расправила крылья, намереваясь сменить хозяина. Я даванул с такой силой, что кнопка с трудом выбралась на поверхность.

– Что, трудно было ответить? – Эта реплика была направлена куда-то внутрь квартиры.

– Да, слушаю. – Голос принадлежал Эльвире, но не той, вчерашней, бегущей по волнам, а только что пережившей трагедию насильственного прерывания сна.

– Добрый день, это шелкунов, – представился я с маленькой буквы.

– Сережа?! Я вас вчера весь вечер прождала. Хоть бы позвонили.

Губы, которые всю сознательную жизнь я безуспешно приучал к дисциплине, запрыгали.

– Вы же сказали – к часу.

– Вот именно к часу, Сереженька. Но не сего дня, а минувшего. Мы, дорогуша, работаем сколько дело требует. У нас час – это час, а тринадцать часов – это тринадцать, привыкайте.

Я привык мгновенно. Назидательный тон, – о счастье! – мог означать только одно: мое воспитание будет продолжено. С новым именем Сережа я стоял на пороге другой, счастливой и обеспеченной жизни.

– Когда же мне теперь прийти?

Домофон вздохнул.

– Поднимайтесь, шестой этаж, квартира налево.

Лифт не почувствовал моего веса. Дверь распахнулась, словно для объятия, хозяин тоже был рад ужасно.

– Эльвира, ты одета? – крикнул он в глубину квартиры и, не получив ответа, весело, по-разбойничьи мне подмигнул. В его костюме усадебного стиля преобладала крупной вязки шотландская шерсть. Мощный, на всю площадь темени волосистой покров, плюс седина, плюс румянец соответствовали американскому стандарту продолжительности жизни. Когда государство было еще в силе, оно, видать, очень любило этого человека. Не за заслуги, а так, по-женски, ни за что. От него, как из пекарни, тянуло сытостью и основанной на чем-то иррациональном уверенностью в завтрашнем дне.

Мы стояли молча, обозначая улыбками то, что собаки – влиянием хвоста. По пространству мало-помалу стали пробегать волны напряжения. Это так всегда мучительно... Фразы тычутся в какую-то запруду, словно им за ней обязательно нужно отнереститься. Выручила висящая в простенке голова оленя с любопытными стеклянными глазками.

– Вы, наверное, охотник? – кивнул я в сторону трофея. Никакого двойного смысла вопрос не содержал, но мой визави был человеком искусства.

– Ба-альшой, – ответил он с нарочитой серьезностью, обычно бывающей предвестницей шутки. – Очень большой, особенно до балерин.

Обычно первым начинает смеяться слушатель, а не исполнитель. Но тут вышло наоборот. Хозяин затрясся, а когда и я собрался подключиться, из глубины квартиры донесся Эльвирин голос:

– Прошу.

Против ожиданий муж меня в дверь первым не пропустил, а вошел сам и с порога произнес вовсе не подходящую к моменту фразу:

– Тата звонила, у Баси выкидыш.

– У Баси? А как это, она разве беременна?

– Здравствуй, месяц на сохранении лежала.

У Эльвиры на лице изобразилось неглубокое страдание.

– Господи, навывели пород, сами разродиться не могут! Хуже людей.

– Хуже не хуже, а на одного щенка можно год жить, – наставительно заметил мой провожатый. – Да тебе и на дочь наплевать, и вообще на всех – одна Зульфия в голове.

Эльвира посмотрела на мужа, как рабочая пчела на трутня.

– Где ж мне силы взять и на собак ваших, и на вас на всех, да еще на работу. Постыдился бы!

Но стыда бедная женщина не дождалась, а получила пожатие плечами.

– Я что, для своего удовольствия колочусь? – Эльвира жестом призвала в свидетели бумаги, валявшиеся на диване.

Противник боя не принимал.

– Посмотри, на кого я стала похожа. Посмотри, посмотри!

Вместо мужа смотреть пришлось мне, потому что тот, сооротив улыбку опытного психиатра, с паровозным вздохом отвел живую силу за дверь.

Правду сказать, такой уж замученной Эльвира не выглядела. Износ деталей примерно соответствовал возрасту. Слегка передутые щеки име-

ли далеко не израсходованный запас упругости. Плотного сложения нос, хоть и несколько притопленный, выглядывал задиристо. Глаз был даже слишком прыткий.

Оставшись без упора, Эльвириг гнев стал разворачиваться в мою сторону:

– Сядьте, Сергей! – Куда там, ее ледяной тон полностью меня обезд-вижил. – Не знаю, что и сказать, темпы наши вам явно не по плечу.

«По плечу! По плечу!» Но вопль этот, как застрявшая в стволе пуля, только немного раздул меня, а наружу не вышел. Образовалась пауза. Прямо на глазах она стала наливаться временем, угрожая вот-вот лопнуть и разнести в клочья всю мою будущность. У Эльвиры уже сделалось виноватое выражение лица, уже дверь качнулась на петлях, готовясь пропустить посетителя назад в его старую жизнь, но тут судьба пришла мне на помощь, причем даже особо не маскируясь.

Из глубины квартиры в комнату влетел телефонный звонок и, не обратив на меня никакого внимания, юркнул прямо в мясистое ухо хозяйки дома. Та начала было подниматься с дивана, но второго сигнала не последовало.

– Телефон в городе ни черта не работает. – Эльвира явно не помнила, что секунду назад собиралась указать мне на дверь.

Частыми кивками моя голова выразила полное согласие с этим замечанием.

– Такое мучение, ведь у меня и работа, и жизнь вся на телефоне.

Тут какая-то мысль сдернула мою собеседницу с дивана и перенесла через всю комнату к роялю, несколько обшарпанному, но еще не потерявшему надежду вернуться к концертной деятельности. На инструменте размещался небольшой склад носильных вещей, по большей части верхних, и валялись в беспорядке бумаги. Глухо бормоча: «Куда, черт, я их сунула?», Эльвира принялась быстро-быстро перебирать листы, но как-то не было впечатления, что цель этих поисков строго определена.

Когда тебя держат стоя, делаешься моложе своих лет. Неудержимо, как только в детстве бывает, захотелось пустить метроном, скучавший без детского общества на книжной полке. Двинулся бочком в сторону прибора, но был остановлен.

– Сережа, садитесь, чего вы стоите? Для вас же ищут материалы. Черт! Могла и в машине оставить. Зульфия меня ругает, что я все теряю. Если на человека столько наваливать... Я, конечно, люблю работать, но что-бы... Вы вообще-то знакомы с проектом?

Произнести «не знаком» оказалось так же трудно, как в десятом классе признаться товарищам, что никогда не спал с женщиной.

– В самых общих чертах. Вы говорили о телевизионной рекламе...

Эльвира в ужасе всплеснула руками:

– Упаси вас бог, Сергей, произнести слово «реклама» при Зульфии! Сереженька, мы ничего не рекламируем, мы гарантируем. Мы по эту сторону прилавка.

И столько было в ее словах бескорыстного желания помочь российскому покупателю, что промелькнула гадкая мыслишка: а не бесплатную ли мне тут предлагают работу?

– Пять раз в неделю по пятнадцать минут телевизионного времени – представляете, какие в это вложены деньги? Сережа, тут работы непочатый край. Вы с Зульфией еще не знакомы? О! Это очень яркая женщина. Она половчанка.

Видно, на долю секунды я утратил контроль за собственной физиономией.

– Да-да, представьте себе. Это сейчас можно, а раньше они скрывали свою национальность. У нас есть целые половецкие поселки в районе Архангельска. Нет, не Архангельска, – спохватилась Эльвира. – Какой там город на Волге? Точно, Астрахань. Их не любят, половцев. Из-за набегов.

Историческая почва поехала из-под ног, и я инстинктивно попытался удержать равновесие.

– Это ж когда было, еще до монголов.

Эльвира посмотрела на меня грустно и многозначительно.

– И монголов не любят. Никого не любят, даже себя.

Резкое погружение в глубины русской души требовало адаптации, но Эльвира не стала меня дожидаться.

– Представляете, Сережа, что это такое: простая половецкая девочка из села и... даже не знаю, какое у нее теперь состояние, второе в Москве или третье. Я вам не показывала? – Эльвира выудила из развала журнал с обложкой, по действию на сетчатку глаза не уступавшей электросварке. – Здесь самые богатые женщины России. Так, конечно, не пишут, но кому надо, знает. Вот, пожалуйста, Джина. Это просто чудо. Оказалось, она феноменально чувствует нефть. И газ, кстати, тоже – при любой глубине залегания. Лечить бросила. Одного только президента тянет. А это вот наша Зульфия.

Фото было и впрямь интересное. Зала. В дальнем углу – облицованный чистым малахитом камин с такой просторной полкой, что она больше напоминала лежанку. Посередине стол персон на тридцать. На него, как это обычно делается при мытье полов, ножками вверх водружены резные, гнутые стулья работы современных арабских мастеров. Объектив смотрит вниз, все внимание – простецкой тряпке из мешковины, какую сейчас в Москве и не сыщешь. На фоне наборного паркета смотрится она этаким матросом Железняком в окружении членов Временного правительства. Вполне натурально согнувшись, за край тряпки алыми коготками держится женщина – по всем приметам половецкая. Зад ее, облитый васильковыми спортивными штанами, задран к потолку и господствует на местности, с шеи свисает усыпанный бриллиантами крест. Но главный герой фотографии все-таки стол. Благодаря ему, вернее его гнутым, похотливым ногам, переминающимся позади женщины, вся композиция так и дышит эллинистическим здоровьем.

– С такими крестами полы не моют, – ляпнул я первое, что пришло в голову.

Эльвира тяжело вздохнула и развела руками.

– Я говорила, но ей безумно хотелось, чисто по-женски. Она вообще такая. Кстати, щедрый очень человек. Тут взяла, собрала всех авторов и повезла с собой в Турцию отдыхать.

Я вдруг вспомнил, как мама меня, маленького, возила на юг – море, вареная кукуруза, уши болят. Неужели власть половецкой расползлась и на прошлое?

– Сережа, вы все-таки сядьте, я должна найти бумаги.

Опустился на диван и огляделся. Кроме рояля, в комнате ничего примечательного не было. Под стеклом на черном бархате коротала загробную жизнь бабочка с орлиным размахом крыл. Настенные часы, побочное дитя какого-то оборонного завода, четко, по-военному сообщали о каждой прожитой секунде. Эльвира нашла что искала и радостная бухнулась рядом со мной.

– У Хмелевской еще ни одна бумажка не пропала.

Кому-то она пулю отлила, кто не разделял эту точку зрения, видно, половецкая. Я старательно закивал и... как-то не сразу остановился. Вообще знакомство с самим собой мне представлялось все более шапочным.

– Вот, Сережа, что у нас есть: медицина, туризм, бытовая техника, мебель, машины и шмотки. Я думаю пустить вас на технику. Как?

– Да в общем... Только я не совсем уловил, что нужно делать.

– Не совсем? – Эльвира внимательно осмотрела ногтевые пластинки на одной, потом на другой руке. – Время, Сергей, время, катастрофа со временем. Будем внимательны. Так вот, наняты, и не за малые деньги, эксперты – ребята классные, кандидаты и доктора наук. Товаров, как вы

знаете, сейчас полно, самому выбрать трудно, а наши эксперты говорят: этот товар тем-то и тем хорош. Люди смотрят по телевизору, потом звонят и заказывают. Понятно теперь? От вас что требуется – придумать ход. Должно быть интересно и чтоб захотелось купить.

Хоть я уже немного освоился, но кран с надписью «глупость» продолжал подтекать.

– А если что-то плохое в товаре? Раз эксперты, так вроде и про плохое надо.

Эльвирин глаз на секунду подернулся бензиновой пленкой.

– Зачем же, Сереженька? Его ж надо продать.

И мне сразу так легко стало. Раз говорят все как есть – значит, приняли.

– Сережа, со временем катастрофа. Послезавтра утром сценарий должен лежать на этом столе. Вот смотрите, тут приборы, которые идут в первый ролик.

Я заглянул в листок и прочел: «Консервный нож «Крекекекс премиум» А-34.80, скорость резания 2 см/сек, максимальная толщина жести 0,15 мм, убирающийся шнур, мощность 150 Вт. Фритюрница РС-15х09, объем 1,5 литра, мощность 1200 Вт...» В конце под шестнадцатым номером стояла машинка для тремингования жесткошерстных собак КМ-10т. Тут любой бы растерялся.

– Нужно, Сережа, чтобы было тепло, чтобы душа участвовала. Я тут мини-пекарню купила. Она у вас во втором ролике будет. Штука гениальная. Вечером ставишь на программу, и утром по всей квартире запах горячего хлеба, представляете, какое пробуждение. Вот надо так написать, чтобы зрителю этот запах прямо в ноздри заполз.

– Но здесь же цифры одни, и я вообще не знаю, как можно соединить фритюрницу с вашим жесткошерстным тремингатором.

– Сереженька, если б мы знали как, то сами бы и сделали. И деньги бы сэкономили, кстати, немалые. Или вы с этим не согласны? – Эльвира устремила на меня взгляд божества, которое только дает шанс, не принуждает. – Кто говорит, что просто? За просто никто не платит. Да не волнуйтесь, все у вас получится. С техникой Ваганетов поможет, он обязан все про нее знать, на то и нанят. Ваш тезка, между прочим, тоже Сергей. По батюшке вы как?

– Дормидонтович.

– Сергей Дормидонтович – редкое сочетание. Нет, у него попроще – Сергеевич. Ладно, время дорого, ноги в руки, Сережа, и завтра утречком вдвоем на «Крекекекс». Все они вам там включат, покажут в действии, жюльеном накормят. Шучу, ничего не дадут, а должны бы, жмоты, за бесплатную рекламу. Сережа, только не затягивать, послезавтра как штык...

С тезкой я встретился глубоко под землей на станции метро «Октябрьская». Высокотный оказался парень и очень приличного вида. Сразу вручил мне визитную карточку на двух языках с тиснением, а у меня, ясное дело, ничего такого не оказалось, и вышла неловкость, как будто я какая-то немолодая шпана.

– Сергей Дормидонтович, ты по-французски шпрехаешь? – спросил он, превратив предварительно в костную муку фаланги моей правой руки. – Жаль, они уважают, когда по-ихнему. Там, правда, наших полно дармоедов, как-нибудь переведут.

Хорошая кожа солнце не отражает, она его впитывает. Никакого блеска, мягкий, изнутри льющийся свет. Я молча любовался курткой своего напарника. Что ж, и для меня настало время вещей, которые после десяти лет непрерывной носки только еще входят в пору зрелости.

Точностью у нас в стране стали увлекаться недавно и потому часто перебарщивают – мы пришли раньше назначенного времени, и Вагане-

тов минут десять таскал меня по улице, как пса, которого не заводят в дом, пока он не справит главную нужду.

– Ну что, двинули! – Тезка вынул из кейса коробочку, из коробочки губочку и старательно протер свои ботинки. – Черт, без машины, как чушка, ходишь грязный. – Глянув на свои ноги, я вынужден был признать справедливость ваганетовских слов. – Представляешь, неделю назад пригнал тачку и до сих пор не могу растаможить. – С тяжелым вздохом мой напарник толкнул дверь «Крекекекса».

Конечно же, оказалось, что менеджер, который должен был нами заниматься, уехал куда-то по срочному делу. Долго и фальшиво извинялись, потом принесли кофе в чашечках из кукольного сервиза.

Замену убывшему менеджеру искали по-восточному долго. Наконец прислали девушку. Маленькая, с невызревшим тельцем, но явно жадная до жизни, она делала первые шаги в русском языке, а это всегда трогательно зрелище. Не без нашей помощи ей удалось за считанные минуты построить первую в своей жизни русскую фразу, из которой стало ясно, что вечером это существо улетает в Грецию на семинар по кофеваркам и потому может уделить нам не более получаса.

«А действительно, есть во француженках какая-то легкость». – Эта мысль загнала в конуру рвавшуюся с цепи злобу. И все же я решил свои полчаса девушке не дарить.

– А нельзя ли получить каталоги на все эти приборы?

О, как она обрадовалась знакомому слову «каталог»! Порх из комнаты, но вернулась несколько обескураженная. За нею на почтительном расстоянии шествовал наспуленный паренек – шуплый, белобрысый, весь жестко накрахмаленный и остро отглаженный.

– Господа, у нас, к сожалению, русские проспекты все разошлись. Есть только на французском и казахском.

Мой напарник встрепенулся.

– Тащите на казахском, у меня друг казах, он переведет.

– Погодите, Сережа! – Раздувать наш творческий коллектив мне совсем не хотелось. – Давайте уж лучше на французском, если нет китайского или арабского.

Мой сарказм не вызвал на лице молодого человека даже легкой зыби. Он кивнул и удалился, а девушка вдруг виновато заулыбалась, забормотала по-своему, жестами стала изображать чемодан, как она в него вещи складывает. Я безнадежно махнул рукой и тем дал старт ее путешествию в Грецию.

По дороге к метро мой компаньон на чем свет стоит ругал французов:

– Ну скажи, Серег, ты хоть одну красивую француженку видел, только не в кино, живую?

– Сережа, я не Сергей, а Александр.

– Вот. И я не видел, и никто не видел. Все туфта. И три мушкетера – туфта. Тоже орлы! Их только ленивый не бил, лягушатников этих. Мы били, англичане били, немцы два раза, даже вьетнамцы. А... да с них все как с гуся вода. Аперитив, презерватив – дрянь народ.

Я помалкивал – великая держава, как-нибудь сама за себя постоит..

Старшая дочь, которая в отличие от жены успела построить пару воздушных замков на зыбком фундаменте моих будущих телевизионных успехов, открыла дверь с горящими глазами:

– Тебя Эльвира искала, просила сразу же перезвонить.

– Подождет, сначала поем. – Я и вправду сел есть, но гордости хватило только на винегрет и первую ложку щей.

– Алло, Эльвира, это Щелкунов.

– Сережа, очень хорошо, что позвонили. Как на «Крекекексе», все в порядке?

– Порядка там мало... – мрачно начал я, но Эльвира хотела говорить, а не слушать.

– Да, Ваганетов звонил, рассказывал про ваш поход... Тут вот какое дело. Все поменялось, приборы, которые я вам дала, пойдут во второй ролик, а сейчас будем работать с третьим списком.

Жена, случившаяся рядом, хитро улыбнулась, будто слышала, о чем идет речь. И что улыбаться: какая мне разница – про мясорубки писать или про соковыжималки?

– Надо тогда опять к французам ехать, – произнес я с максимальной, на какую способен наемный работник, строгостью.

– Нет, Сережа, никаких французов, на это времени у вас нет, завтра в одиннадцать съемка.

– Но я даже не знаю, что там за приборы в вашем третьем списке.

– Все узнаете. Ваганетов уже на «Крекекексе», через час будет с каталогами.

– А писать когда?

– Ночь, Сереженька, целая ночь впереди, лучшее время для творчества.

Вернулся к супу. В нем плавала одна капуста. Младшая дочка, дрянная такая, уже успела выловить из тарелки все грибы. Помечталось о рюмочке, но нет, в сон потянет. Как-то я уже сроднился с приборами из первого списка. Кто его знает, что там в третьем, – доменные печи на одну семью или настольные прокатные станы. А, черт с ним – лишь бы деньги платили. Но с деньгами тоже мутно. Договор отсутствует, про аванс ни полслова.

Звонок в дверь подбросил мою собаку на полметра в воздух. Это такое забавное зрелище, когда она, чтобы набрать скорость, быстро-быстро перебирает лапами и не может на натертом полу стронуться с места. Я повеселел и пошел открывать.

Раз уж казах возник в мире идей, не материализоваться он не мог. Рядом с роскошным Ваганетовым стоял худенький, пряменький, без возраста азиат с удивительно ровно уложенным по две стороны сабельного пробора волосом.

– Дормидонтыч, принимай! Талгат Ниматович, казах натуральный, еле уломал. Так переведет, тебе и делать ничего не надо будет.

Сердиться в таких случаях Богородица не велит. Пропустил гостей в дверь, попытался даже принять у казаха плащ, но Ваганетов меня оттер – сам обслужил товарища.

Недобрым глазом, старшины осмотрев свое отражение в зеркале, переводчик решил, что условно готов к церемонии знакомства и торжественно, без улыбки протянул мне руку.

– Кожамкулов, Талгат Ниматович.

За галстучным узлом ерзал кадычок. Даже и не скажешь, как именно годы трудились над этой внешностью, – ни морщин, ни седины, но полста каким-то образом угадывались. Я тоже представился полным именем. Вообще взял тон официальный и сухой, чтобы они поскорей убрались.

Ваганетов при Кожамкулове совсем не такой был, как утром, – тихий, на приятеля смотрел обожающими глазами, кинулся даже ему стул подставлять, когда мы рассаживались. А между тем эти два человека находились далеко по разные стороны черты бедности. Кожамкулов явно в полной нищете пребывал. В такую одиночество ведет и запойность или в обратном порядке – запойность, а потом одиночество. Но, что это опустившийся субъект, нельзя было сказать. Тщательнейшим образом дыры залатаны, чистое все, из-под утюга. Посадка головы княжеская. Ваганетов лицом попроще был, но в смысле одежды не то что пожилому казаху, иному банкиру мог фору дать. И поди ж ты, этот случайный баловень рыночной экономики непонятно по каким причинам безоговорочно принимал верховенство малоинтересного Кожамкулова, даже перед ним стелился.

Ваганетов извлек из портфеля стопку каталогов и положил их перед носителем казахского языка. За годы советской власти кириллица далеко шагнула на восток, вышла аж к китайской границе. Особенно она полю-

билась кочевым народам, думаю, за букву «ы». И все ж таки это было для меня сюрпризом, что казахские письмена оказались напечатаны по-нашему, я ожидал чего-то более иероглифического. Казах тоном, каким стряпчий читает семье усопшего завещание, начал:

– Эпилятор ножной, щипковый... – На плоское суровое лицо Кожамкулова выбежала улыбка и сразу же спряталась. – Знаете, как они на казахский перевели слово «эпилятор»? Артык шаштарды жулгыш – выдергиватель женских волос.

Подождав, пока я запишу первую фразу, Талгат Ниматович продолжил:

– Эффективно удаляет волосы с поверхности голени. Производительность (при средней волосистости) двенадцать квадратных сантиметров в минуту, мощность сто ватт. Внимание! Не применять для выщипывания бровей и лобкового волоса...

– А как по-казахски «лобок»? – прервал вдруг Ваганетов ровное течение перевода. Лицо его светилось нутряным подростковым любопытством, удовлетворить которое – долг каждого взрослого мужчины. Но Кожамкулов не то что ответом – взглядом не удостоил приятеля.

– Автомат татуировочный, трехкрасочный, с анестезирующей насадкой...

На удивление споро у нас продвигалось дело. Казах обладал феноменальным даром прямо с листа выдавать правильно построенные фразы, так что с ними ничего и делать не надо было – знай записывай. Приходилось даже его останавливать – рука не поспевала. Управились мы со всеми героями будущего ролика в какие-нибудь полчаса.

– Может, чаю? – Было немного совестно, что я поначалу сухо принял столь полезного человека, а то бы я их, конечно, задерживать не стал и сразу сел творить. Кожамкулов как будто читал мои мысли. Он отрицательно повел головой и поднялся со стула. Ваганетов же, напротив, идеей чая вдохновился:

– Талгат Ниматович, куда спешим-то? На чай мы с вами, чай, заработали.

Нельзя было не восхититься его лексической виртуозностью, однако намек, высунувший мордочку из этой фразы, меня слегка напугал. Можно было и так его понять, что с переводчиком должен расплачиваться я, а не Эльвира. Сразу в голове завертелась разная шкурная арифметика, и чуткий казах, понятное дело, вскипел. Полоснув нас из своих смотровых щелей узким пучком ненависти, он, не разжимая зубов, прохрипел:

– Не мы, ты заработал! Ты, Ваганетов! Кожамкулова здесь не было!

В сухих и маленьких всегда много страсти. Метнув молнию, Ваганетова, переводчик не прямо, а по какой-то яростной ломаной ринулся к двери, но покинуть комнату не смог. Его остановила хозяйка дома, которая в этот момент, открыв из коридора ногой дверь, всплыла в комнату с подносом, украшенным бутылкой водки и еще чем-то сопутствующим.

– Направо вторая дверь, верхний выключатель, – проинструктировала она Кожамкулова чисто автоматически, потому что у нас в квартире по типу двери нельзя определить тип помещения.

Гость застыл, не зная, как реагировать, и гнев, который промедления не терпит, от него отлетел.

– Хи-хи, – запел кто-то тенорком внутри его сухонькой фигурки, – хи-хи-хи.

Звук быстро достиг такого уровня, что увлек за собой все тело. Последним к общему веселью присоединилось лицо – оно вдруг, как река, разом вскрылось, обнаружив замечательную искристость. Особенно много света разбрасывали зубы – ровнехонькие, какие только у тех бывают, кто рос рядом с лошадьми.

– Талгат Ниматович, ты теперь все тут знаешь, свой человек, – натужно пошутил Ваганетов. Он ужас как напугался, когда Кожамкулов вспы-

лил. – Счас хозяйке поможем. – И стал сгребать бумаги со стола. Множественное число сделало казаха участником уборки, хотя сам он ничего не делал, а продолжал по инерции смеяться. Даже специально смех продлевал, потому что еще не решил: дальше обижаться или смилостивиться и сесть за стол. Жена на детях научилась такие вещи тонко чувствовать.

– Если нетрудно, откройте, пожалуйста, шпроты.

Она подала гостю консервный нож. Тот взял не сразу, а предварительно убедившись, что на наших лицах нет и тени улыбки. Зато уж когда взял, то действовать стал по-хозяйски. Положил под банку салфетку, наш консервный нож забраковал, вынул из кармана свой, перочинный, в чехольчике, с богатейшим набором лезвий, и в два счета справился с толстой, еще советской раскатки жестью.

– Спасибо вам большое, а то для меня это такое всегда мучение, – скотетничала жена. – Саша нас даже не познакомил.

И, назвавшись, протянула Кожамкулову руку. Однако этот человек так к миру настороженно относился, что почти не делал автоматических движений, обязательно мгновение думал. У него даже пластика была какая-то странная – кукольная, прерывистая. Но, взявшись все-таки за руку, он не просто ее пожал, а торжественно поцеловал, и так галантно, как это уже никто, кроме пожилых театральных администраторов, делать не умеет.

Ваганетов следом подошел знакомиться. Хотел было взять ту же высоту, но побоялся осрамиться и просто тряснул всю конструкцию от кисти до плеча.

– Садитесь, пожалуйста, сейчас приборы принесу, – пригласила жена.

Еда на столе и бутылка уже стали забирать над гостями власть, отчего в их облике и движениях появилась некоторая лунатичность. Уселись, руки оба положили на ширину тарелки, воцарили тишину. Словно голову жертвенной птице, я свернул винтовую пробку. Спины выпрямились. Бутылка, не желая расставаться с содержимым, выпускала ледяную струю гулками сердечными толчками.

– Чего это вы половините? – неприязненно осведомился Ваганетов, заметив, что я себя несколько обделил.

В таких случаях на что ни ссылайся, все равно есть большая вероятность остаться непонятым, но я все ж таки сделал попытку:

– Мне ночью работать.

– Так тут вроде все не бездельники. – Ваганетов обвел рукой стол, словно за ним, кроме Кожамкулова, еще человек десять сидело.

– Ему и половинки много, – вмешалась жена, очень вовремя вернувшаяся с тарелками. – Сейчас такой мужик пошел, от одной рюмки с копыт валится.

Ваганетов посветлел лицом.

– Нет, мы пока еще пару-тройку... – он сделал ударную паузу и взялся за рюмку, – десятков... – опять пауза, – таких малышек держим. Правда, Талгат Ниматович?

– Сергей, еще раз прошу, говори только за себя, – ответил казах, но уже без всякой злости. – Предлагаю за хозяйку дома.

Выпили. Жена, хоть я и смотрел на нее умоляюще, отправилась якобы укладывать ребенка. Мы же налили по следующей.

И вот после нее Кожамкулов стал быстро терять резкость очертаний. Жесткости в скелете поубавилось, суровость, которая очень шла к его азиатскому лицу, расплзлась в какую-то, наоборот, отчаянную улыбку – что вот он себя уронил и теперь все секрет узнают, какой он пьяница горький, будут смеяться над его беспамятной оболочкой. Я даже кивнул ему: мол, погружайся спокойно. Но уже приглашать не нужно было: Кожамкулов, словно ребенок, который прячется за ладошками, тихонечко налил одному себе полную рюмку и, выждав секунд десять, изобразил на лице удивление: как же так, все выпили, а он пропустил? Отставание было лик-

видировано, и какое-то время, пока жидкость двигалась по пищеводу, переводчик ее внутренним взором сопровождал. Но, как только она достигла желудка, перевел фокус на меня:

– Думаете, казахский мой родной?

В тоне появились пузырьки агрессии.

– Думаю, да. – Я ответил вполне искренне, но наползающую тучу это не остановило.

– Хочу заметить, что в моем вопросе ответ уже содержится, и вы напрасно делаете вид, что он вам неизвестен.

– А какой ответ? – заинтересованно вставил Ваганетов. Его простодушие несколько смягчило Кожамкулова.

– До одиннадцати лет я в русском детдоме воспитывался. Сестра меня забрала, только когда работать пошла.

Воцарилось молчание. Физически чувствовалось, как оно заползает в зияющий провал между сиротством Кожамкулова и моим теплым, домашним детством.

– Александр, чего не наливаешь, прокиснет! – Ваганетов шахматным манером двинул ко мне рюмку. – Давай за вас, Талгат Ниматович. За вашу докторскую. – И, отвернув голову в мою сторону, театральным шепотом объявил: – По моторам в стране первый человек.

– Был! – отрезал Кожамкулов. – Теперь все первые.

Выпили.

– Половинишь, Александр.

– Половиню, Сергей.

Полминуты ушло на закусьвание, и тут Кожамкулов вдруг резко поднялся из-за стола. Я перепугался, что опять его на скандал повело, но, взглядевшись, обнаружил полное отсутствие в глазах злобы и вообще всего.

– Готов, – громко констатировал Ваганетов, как будто казах не мог его услышать.

Он и не услышал – постоял, покачался и вдруг, словно догоняя свой центр тяжести, кинулся вон из комнаты.

– Не суетись, Александр, – пресек мою попытку последовать за гостем Ваганетов, – очухается через полчаса.

Все же было интересно, как пойдет процесс очухивания. Выглянул в коридор. Кожамкулов стоял перед зеркалом, опершись рукой о раму, и давил взглядом на точку, помещавшуюся вне пределов материального мира. Надежды, что он быстрее чем за полчаса совместит ее с плоскостью зеркала, и впрямь не было. Успокоенный, я вернулся в комнату.

– Вглядывается? – осведомился Ваганетов.

Я кивнул.

– Потом грустить будет и все раздавать. Мужик святой. Захотел бы, любые бабки мог сшибать: какой хошь двигатель – хоть с иномарки, хоть какой – послушает и сразу говорит, где что. Я, когда гараж покупал, расплачиваюсь, а дед, хозяин, мне вдруг лепит: «По-хорошему с вас надо бы лишнюю тысячу взять». «Счас, – говорю, – с какой радости?» «С такой, что у вас с автомобилем теперь никаких забот не будет. Соседний с вами бокс занимает, можно сказать, лучший в Москве механик». Точно, забот никаких, делаю-то я сам, но гайки вертеть ума не надо, главное – знать чего.

– Как-то он для такого мастера больно нище одет.

– А потому что дурак. Кандидат, а дурак. Денег не берет! – Ваганетов ретроспективно рассердился на товарища, но не столько за непрактичность, сколько за нарушение рыночных основ жизни. – А что в институте получает, все сестре в Кокчетав шлет. Да еще пьет, как лошадь.

Телефонный звонок вклинился в разговор с обычной своей бесцеремонностью.

– Сережа, как ваши дела, привез Ваганетов материалы?

– Привез. Уже все перевели, спасибо Талгату Ниматовичу.

– Как перевели?! – взревела Эльвира. – Зачем?

Странное это удовольствие: притопить ближнего, – ведь сидело же внутри меня знание, что Ваганетову влетит за казаха, – а потом тянуть к нему спасительную руку.

– Затем, что на вашем «Крекекекс» проспекты имеются только на казахском. Без Сергея я бы вообще не знал, что делать.

– Ну да, а теперь узнали, когда он с этим алкашом к вам заявился. Гоните обоих в шею!

Приказ был явно невыполним, и я застыл с трубкой в руке, ожидая, пока течение времени отнесет его от меня подальше.

– Дайте-ка этого умника сюда! – угли в голосе Эльвиры дышали жаром.

Тезка мой по бизнесу не сразу смирился с неизбежностью, заключенной в протянутой к нему трубке. Он целиком сосредоточился на тыканье вилкой в папиросный кусок ветчины, который без наматывания не подцепишь. Тыкал, тыкал, я стоял с телефоном – долго это продолжаться не могло.

Текст выволочки почти целиком поступал в ушное отверстие адреса, до меня долетали только те пассажи, которые женщина выделяла жирным шрифтом. Но звука и не требовалось, само действие Эльвириной речи на Ваганетова было достаточно красноречиво. При полном сохранении геометрических размеров на нем с каждой поступавшей по проводам фразой все больше и больше обвисала кожа. В какой-то момент я даже испугался, что она уже никогда до прежней упругости не натянется. Но короткие гудки, гневным многоточием завершившие Эльвириный монолог, немедленно вернули моему напарнику прежнюю наполненность.

– «Уволю!..» Шла бы она! Как машину чинить – Талгат Ниматович, Талгат Ниматович. Да я ее две штуки вонючих где хошь заработаю.

Какую боль причинила мне эта фраза, не могу и передать. То, что я всю жизнь списывал на фортуны, оказалось вовсе не фортуной, а строгим законом движения человеческих судеб, в котором записано, что таким, как Ваганетов, уж две-то тысячи в месяц обеспечены. И жена моя этот закон тоже откуда-то знает – почему и уверена, что мне нигде, никогда, ничего не заработать.

«А что ж он тогда так Эльвириного звонка испугался? – ухватился я за соломинку и сам же добровольно ее отпустил: – Нисколько не испугался, а просто его организм знает, какую реакцию на свой гнев хочет получить хозяин».

Ни малейшей у счастливика Ваганетова вины передо мной не было, но по извечной человеческой слабости за свою колченогую судьбу захотелось спросить с него.

– Сергей, мне за красивые глаза денег не платят, так что давайте прощаться, работа ждет.

– Ну ты, Александр, и фармазон! – Зуб даю, что Ваганетов не знал значения этого слова, но употребил его очень к месту. – Ладно, давай подписывай, а то кататься все любят.

И он положил передо мной бумагу следующего содержания: «Трудовое соглашение между: с одной стороны, ЗАО «Ассоциация независимых астрологов-исследователей (АНАСИС)» и с другой, г-ном Кожамкуловым Талгатом Ниматовичем в том, что он в срок до...» В графе «вид работ» стояло: «перевод с французского на русский каталогов фирмы «Крекекекс».

– Почему с французского? – удивился я, хотя главное вранье содержалось в пункте «объем работ».

Там красовалась цифра совсем неправдоподобная – три печатных листа.

– А Зульфия не пропустит, будет орать, что мы ей липу подсовываем. Откуда казахский, когда фирма французская!

Смекалки Ваганетову было не занимать.

– А что Эльвира скажет на ваши три листа?

– Ничего не скажет, подпишет, как миленькая. Машину-то чинить надо, а Талгат из рук деньги не берет. Да и брал бы, свои все равно платить неохота.

Когда мы вышли в коридор, Кожамкулов только-только начал понимать принцип действия зеркала.

– Сергей, – обрадовался он и ласково провел рукой по отражению Ваганетова, – сердце у тебя золотое. У него сердце золотое, – повторил он, обращаясь уже ко мне. – Можно я вашу собачку угощу?

Собачка вертелась рядом в рассуждении как бы оказаться на улице. Я позволил, не очень понимая, что может быть у гостя припасено такого съедобного для пса. Кожамкулов полез в карман, порылся и вытащил мяту купюру достоинством в десять рублей.

– Если вас не затруднит, купите ей что-нибудь от моего имени.

Я поднял глаза на Ваганетова – тот взглядом приказал брать.

– Извинитесь за нас перед супругой, сердце у нее золотое. Сестра мечтала о такой жене для меня, а я... – Казах махнул рукой. Чувство вины перед всеми земными тварями заполнило его до краев, грозя пролиться слезами. – Сережа, надо хозяйке посуду помочь убраться.

– Напомогался уже.

Ваганетов довольно грубо перехватил подавшегося было в комнату приятеля и с ловкостью санитара стал облачать в плащ. Но тот вдруг вырвался, вытянулся в струнку.

– Александр, прошу вас с супругой ко мне пожаловать в субботу.

Видно, растерянность изобразилась на моем лице уж очень явно.

– Зря я вам навязываюсь...

Кожамкулов уронил голову, и снова его накрыло отвращение к собственной персоне, которое он всю жизнь, повинувшись инстинкту самосохранения, гнал из себя из трезвого водкой, а потом пьяный в нем же и тонул.

Пес выходящих на волю гостей проводил тоскливым взглядом зека. На меня он даже смотреть не хотел – обиделся, подлец, что свалившиеся на него денежки я украдкой сунул Кожамкулову в карман плаща.

Казах совсем выбил меня из рабочего состояния. Он все не шел из головы, в то время как там должны были находиться приборы фирмы «Крекекекс». Но Эльвира не случайно была поставлена половчанкой на ответственный телевизионный участок. Мало кто так чувствовал автора, как она.

– Сережа, ну что, идут дела?

Пришлось врать, благо по телефону это делать нетрудно.

– Прекрасно. Трудитесь, завтра к десяти пришло за вами машину.

Как большой художник одним мазком может вдохнуть жизнь в картину, так и она этой фразой превратила меня из простого поденщика в маэстро. Ведь за мной еще никто никогда машину не присылал.

Ночь пролетела быстро, ни разу не заявив своих биологических прав на меня. Не била предрачевная дрожь, не трещали, раздираемые зевотой заушины – десять часов подряд весело и споро текст, рождавшийся в какой-то неизвестной науке точке внутри черепной коробки, сбегал вниз по руке и дальше через подушечки пальцев прямо в память компьютера.

Сюжетом я воспользовался чужим и банальным. Чапай обращается к ординарцу: «Счастливым ты, Петька. Такую жизнь замечательную увидишь». Петька, понятно, интересуется какую. «А такую, что лет через семьдесят наши трудящиеся женщины волосы на своих ногах будут уничтожать, как последнюю контру». Петька буквально раздавлен. Анка же пулеметчица объясняет, что за такое будущее жизнь свою класть не желает. Но Чапай рисует волнующую картину (зритель наблюдает все на экране), как она в роскошном будуаре эпилятором «Крекекекс» обрабатывает

себе икры. Девушка в растерянности. Фантазия же Василия Ивановича разыгрывается, он придумывает новые и новые будущие чудеса и в конце концов вовлекает в действие все приборы из третьего Эльвириного списка. Бойцы слушают комдива с открытыми ртами и в конце его речи так воспаляются, что вскакивают в седла, и зритель видит, как под знаменем «Крекекекс» несется конная лава навстречу полностью механизированной жизни...

Пока я соскребал со щек скороспелую ночную щетину, жена, конечно же, прочла мое произведение. Во всяком случае, чашку с кофе она мне подвинула к самому носу, как больному.

– Что, не понравилось?

– Очень понравилось, – не совсем искренне у нее получилось, – только, чтобы это поставить, нужен Бондарчук с конным мосфильмовским полком.

– Эльвира сказала, что я могу никак себя не ограничивать.

Жена вздохнула и вопреки обыкновению не стала дальше открывать мне хорошо ей известное будущее.

Ровно в десять вымытые с мылом ладошки отсырели от волнения. Но машина задерживалась. Сценарист не генеральный конструктор – эта мысль как-то помогала выгребать против течения времени. В одиннадцать жена, начитавшаяся статей о ранних инфарктах, приказала немедленно звонить этой...

– Сереженька, рада вас слышать. Как продвигается работа?

Не было впечатления, что в спину Эльвире дышит съемочная группа.

– Да уж продвинулась до конца. Вы вроде бы машину собирались прислать.

– А что, не пришла еще? Может, сломался по дороге. Знаете что – думаю, нет смысла ее дожидаться, езжайте так.

Я вдруг ужасно раздражился на жену, представив, как она будет меня сейчас провожать взглядом поселкового мудреца. Повесил трубку, набылся. Но женщины, которым эволюция оставила хоть сколько-нибудь звериного чутья, знают, что бывают моменты, когда нельзя свою правоту совать мужу под нос без риска разрушить семью.

– Ты исподнее бы надел, холодно на улице.

Я пожал плечами. При всем желании использовать эту фразу в качестве детонатора нельзя было, и весь заряд раздражения пришлось нести с собой.

Не так даже холодно было, как ветрено. При каждом порыве деревья совершали попытку к бегству, лужи зябко, по-лошадиному подергивали поверхностью. После бессонной ночи тело совсем не держало тепла. Наконец он прихрамал, этот автобус. Я схватился за поручень, но тут как-то деду приспичило вылезать. Пришлось отступить.

– Щелкунов!

Я вторично вернул ногу на асфальт и оглянулся. Дед смотрел на меня веселым воробьиным взглядом, из тех, которые с возрастом не тускнеют, а просто в момент остановки сердца гаснут, как лампочка.

– Здорово задувает. Мне академик Огородский Петр Гаврилович говорил, что эти весенние ветры очень полезны для деревьев. Зимой соки не движутся по капиллярам и стволы немеют, как отсиженная нога. А ветер их покачает, погнет как следует, они и отходят – своего рода массаж. Давно о вас ничего не слышно, что подельваете?

Как будто меня застали за чем-то стыдным. Ну какой ответ я мог дать этому беззубому, обтерханному старику, под чьим отеческим руководством многие годы без особого любопытства проникал в тайны природы? Что его ученик разродился сценарием рекламного ролика и теперь везет его на прочтение какой-то кочевнице?

Маленькая полуголая собачка, помещавшаяся у Дмитрия Николаевича под мышкой, задергалась, требуя, чтобы ее спустили на землю.

– Первый раз в автобусе едет и ведь даже не шелохнулась. Вот ответьте: откуда она знает, что там нельзя, а здесь можно? Ну иди.

Носорожьего драпа пальто, вытертое местами до ниточного скелета, переломилось в поясе, и пес был бережно поставлен на маленькие мушкетерские ножки.

– Так где вы сейчас обитаете?

– Толком нигде.

– Ну а все же?

– Перебиваюсь случайными заработками на телевидении, по редакциям.

– Понятно. – Дмитрий Николаевич призадумался, в веселом его взгляде появилась хулиганская составляющая. – Выходит, не успел Господь моими слабеющими руками вас из хаоса вытащить, вы опять туда занырнули.

– Выходит, так.

Я несколько картинно свесил седеющую голову на грудь. Новый порыв ветра принудил собачку расставить для устойчивости лапки.

– К Дзантиеву еду. Записываю воспоминания участников проекта «Бристоль». А то последние перемрут. Вот Исая Львовича месяц назад схоронили. Вы, кстати, чего попрощаться не пришли? Весь ваш выпуск был.

Из деталей детского конструктора я стал прямо на глазах у старика спешно собирать какое-то вранье. Тот даже голову склонил набок от старания поверить. Однако с очевидностью его патологическая доверчивость справиться не смогла.

– Ну не пришли и не пришли! – оборвал он меня раздраженно. Впрочем, мир никогда надолго не покидал эту душу. – Вы, смотрю, к своему прошлому без большой приязни относитесь. А я вот, – он осклабился, – к будущему. Все ж я вас посчастливей буду, а?..

Не пустили меня в половецкий офис – пропуск Эльвира не оставила. Позвонил от охранника – «вышла», а куда и насколько, уперлись, не стали говорить. Я гляделся совсем дураком – примчался на пожар, а ничего не горит. Вошли две девушки, по-свойски кивнули охраннику и стали подниматься по лестнице тем специальным аллюром, прелесть которого в диалоге волнующихся женских ягодиц и осеменяющих их мужских взглядов. Внутренняя секреция охранника дала мощный выброс. Потянуло зверинцем. Природа, озоруя, ворвалась в это стерильное царство стекла, металла и кожаной мебели.

Не враз улеглась гормональная буря. Охранник вставал, садился, менял на столе местами ручку с карандашом. Наконец его потерявшее всякую строгость лицо оборотилось ко мне.

– Хмелевскую дожидаетесь? С полчаса уже как с хозяйкой отъехала. Скоро воротятся.

Хоть какая-то появилась надежда. Добрел до диванчика, опустился на него, уставил воспаленный взгляд в точку, никакого материального объекта, кроме воздуха, не содержащую. «Посиди, посиди в прихожей, может, поумнеешь», – вздрогнул и стал озираться. Никого не было. Наверное, я стал задремывать, и эта фраза была случайно попавшим в реальный мир обрывком зарождавшегося сновидения.

Пробудился от человеческого взгляда. Не прямо от него. Как ни бурлил меня охранник (и прав был, потому что разбросанные ноги с отвалившимися вбок носками любое помещение переводят в разряд ночлежки), я бы и дальше спал спокойно, но, видно, в голове сидело, что несолодино будет, если Эльвира с Зульфией застанут сценариста в такой бесформенности, – эта мысль по-собачьи, носом меня изнутри и растолкала.

Расположение охранника было потеряно. Юноши с гипертрофированным отвращением относятся ко всему с их точки зрения неприлично-му, вроде сна в неполюженном месте.

Я подобрал ноги, принял позу посолиднее в надежде как-то реабилитироваться в глазах молодого человека. С той же целью достал из портфеля сценарий. Сперва глаз скользил по знакомым шеренгам без трения, но на второй странице стал вязнуть. Что-то с текстом произошло, пока его транспортировали, – он вроде как створожился. Главное – реплики: они потеряли всякую прыгучесть, передвигались медленно, с отвратительным шарканьем. А я так ими ночью любовался, моими фигуристочками.

– Попрошу вас выйти пока на улицу, я должен ворота открыть. – Охранник строгостью старался компенсировать некоторую робость, которую внушали ему все дяденьки старше тридцати пяти лет.

Подчинился. Облака налетали на солнце стремительно, но без толкотни. От этого весеннего мелькания душа резко помолодела, перешла в школьный возраст и наполнилась радостным ожиданием скорого окончания учебного года. Меж тем никакие каникулы в ближайшем будущем не ожидались, и вообще дела мои выглядели кисло: шансов быть поставленным при жизни автора сценарий явно не имел, вдобавок только что мне, по существу, было сказано, что я такая шваль, которую и в помещении одну оставлять нельзя.

Тут, в центре, ветер, издерганный беспорядочной московской застройкой, вполупину не имел той целеустремленности, что у меня на окраине. В промежутках, когда один табун облаков исеякал, а следующий еще был на подходе, становилось почти тепло. Я прислонился к стене и стал смотреть на прохожих добрыми полусонными глазами. Охранник отпер ворота, пропустил во двор мусорную машину и остался ее дожидаться. На воздухе, как это часто бывает с людьми, сохранившими крестьянские корни, он заметно помягчел, даже предложил мне сигарету. «Учитесь на вечернем, не перечит, когда по воскресеньям мать гонит его выбивать половики, и до конца дней своих будет сажать картошку, даже если ее начнут раздавать бесплатно». От этого списка добродетелей веяло гадким высокомерием, которого я сразу же устыдился.

– Сессия небось скоро?

Парень просиял:

– Через месяц! Тут график удобный – сутки на третьи, а так бы пришлось на вечерний переводиться.

Он сделал, что хотел: сообщил, что в охранники подался не по свободному выбору, и нашел, надо признать, весьма удачную форму.

Машина покинула двор в каком-то приподнятом настроении. Видимо, качество мусора у половчанки оказалось выше, чем в соседних домах. Можно было возвращаться в помещение, но мы медлили.

– Вот интересно, – молодой человек кивнул в сторону стоящей напротив маленькой церквушки, только недавно возвращенной в строй, – бабка у меня верующая, а я нет. Это значит, я назад ушел или вперед? – Поймав мой тревожный взгляд, он попытался высказаться яснее: – К тридцати что будет: до того же Бога додумаюсь или до другого чего?

Десять лет неопределенности, которые юноша себе отпустил, у меня уже два раза как прошли, и чем-чем, а опытом растительной жизни поделиться я мог:

– Скорее всего вы просто перестанете думать о таких вещах.

– Скорее всего, особенно если прилично буду зарабатывать. – Он улыбнулся этому невероятному предположению, затоптал сигарету и покинул меня.

– Сережа, вы совершенно неуловимы.

Нет, до такой театральщины жизнь не опускается – один уходит, и сразу появляется другой персонаж. В реальном, а не сжатом повествованием масштабе времени я минут десять еще простоял у подъезда, мучаясь

вопросом: отправиться домой или продолжать брести по почти заросшей тропинке к благополучию? Когда же решение умереть в нищете окончательно утвердилось, тут-то к тротуару и пришвартовался гангстерских размеров лимузин.

– Я вам звонила несколько раз, никто не отвечает.

Эльвира вралась честно, не прячась, и вера в завтрашний день уже от дверей воротилась ко мне – даже помолодевшей.

– Это наш автор, Сережа Щелкунов, – представила меня Хмелевская полувылезшей из машины даме в шубе и меховой шляпе, какую носил Робинзон, спасаясь от тропического солнца. Только мех был не козий.

– Здравствуй. – Она еще не успела расправить грудную клетку, и все глазные съелись.

Половецкого в ней было мало: легкая, многократно разбавленная монголоидность, внесезонная любовь к меху да разбойничий взгляд, но без степной удали – оседлый.

– Сережа нам сценарий принес. Да, Сереженька?

Эльвира произнесла это так, словно хвалила меня за хорошо выполненную команду «апорт». Я кивнул подчеркнуто сухо, чтобы дать Зульфий почувствовать разницу между творцом и всякими там исполнителями. Она почувствовала, она вообще находилась в постоянном наркоманическом поиске: за что бы такое сорваться на свою наперсницу?

– Небось давно тут стоите?

Пожатием плеч мне удалось дать на этот вопрос одновременно два прямо противоположных ответа: один – «Ничего страшного» и другой – «Да уж не меньше часу».

Зульфий взвилась:

– Что это за манера человека заставлять ждать?!

– Вы ж мне сами велели с собой ехать.

– Ну так позвонить можно, предупредить.

У Эльвиры в запасе было вполне добротное возражение: «Звонила, но Сергей уже выехал», однако она его в ход не пустила, так как точно знала дозировку – сколько времени держать оборону, чтобы, с одной стороны, победа хозяйке не показалась слишком легкой, а с другой – чтобы та, разъярившись, не вырезала весь город.

– Как-то не подумала.

– А вы вообще о чем-нибудь думаете?

На этом вопросе гейзер раздражения перешел из активной фазы в фазу накопления энергии для следующего выброса.

Мы вошли в здание. Лестница, вторым маршем нависавшая прямо над головой охранника, что делало его крайне уязвимым с воздуха, вела в длинный коридор. Столь тщательно европейские стандарты в Москве блюдут только турецкие рабочие. Они даже часто перебарщивают и вносят в интерьер не всякому помещению созвучные сантехнические мотивы. Вот и в данном случае белое однообразие этой кишки нарушали только таблички на дверях – и не столько латунным своим блеском, сколько содержанием: «Группа теоретической экстрасенсорики», «Отдел астрологического мониторинга», «Ассоциация «Генофонд России», «Объединение эзотериков-практиков». Потом вдруг прозаическая «Бухгалтерия», а за ней «Отдел биоэнергетических трансформаций». Сюда мне страсть как захотелось заглянуть. Неожиданно и Зульфийю привлекла эта комната. Резким движением, словно рассчитывая застать там горничную в объятиях лакея, она распахнула дверь, перенесла хозяйскую ногу через порог и по-орлиному, рывками скручивая жилистую шею, обвела помещение плотоядным взглядом. Ни за одним из полдюжины конторских столов живой души не было.

– Ну и где твои люди? – Голос Зульфийи сочился торжеством.

Эльвира сделала детские глаза:

– На кофе все.

– Что еще за кофе?

– А те два вагона, которые подмокли. Станислав Витальевич, кроме бухгалтерии, все отделы снял. В мешки пересыпают.

Уже досланный в ствол патрон возвращать в магазин Зульфийи не хотелось.

– А догадаться одного кого-нибудь оставить трудно? Вдруг товар придет?

– Я ж осталась, – парировала Эльвира.

Как бык, потерявший из виду матадора, Зульфийа застыла на мгновение, потом, качнувшись пару раз с каблука на носок, всем корпусом развернулась в мою сторону и неожиданно мирным тоном произнесла:

– Вот и живи в таком государстве. Знаете, какие научные силы здесь собраны? Слышали, наверное, о профессоре Столпникове – чашку через бетонную стену проводит. Вот так. А вместо помощи – палки в колеса. Чем только не приходится промышлять, чтобы людей накормить.

– Сергей, кстати, тоже бывший ученый, – встала Эльвира.

Половчанка развела руками:

– Ну тогда он все сам прекрасно понимает.

Я против обыкновения не поддакнул, потому что был уязвлен и третьим лицом, и «бывшим ученым». Простым соединением двух несоединимых слов Эльвира, того не желая, выставила меня эдаким мулом – существом, возможно, и полезным, но бесплодным по самой своей природе.

После отдела трансформаций на душе сделалось нечисто, будто я сам повесил все эти таблички. Прежней уверенности, что инквизиция, сжигая ведьм, поступала дурно, не было и в помине.

Из приемной Зульфийа сразу проследовала в кабинет, Эльвира юркнула следом, а я как-то сам собою отфильтровался. В комнате на единственном диване уже сидел здоровенный румяный бородач, судя по всему, имевший на хозяйку некие права, впрочем, меньшие, чем ему представлялось. Во всяком случае, его намерение увязаться за ней в кабинет было пресечено еще на этапе отрыва зада от сиденья:

– Коля, сейчас никак.

Бородач заулыбался, закивал понимающе, но сильно был раздосадован. Ревниво на меня покосившись, он расселся еще большим хозяином, то есть принял совсем домашнюю, полулежачую позу, такую, что мне уже места не выкраивалось.

Я помялся, помялся и присел на краешек стола. Секретарша скосила сердитый глаз, но на экране ее компьютера решалась судьба цивилизации и возможности отвлечься у нее не было.

Худшая после наркотиков зависимость, зависимость от печатного слова, заставила меня взять валявшийся на столе буклет. Первое, что увидел, раскрыв его, – фотографию этого типа с бородой. В телогрейке, кепке, сапогах посреди раскисшей осенней дороги. Небо свинцовое, и прямо по нему надпись черными чернилами: «Дорогой Зуле с любовью и восхищением. Без тебя, без твоего чувства прекрасного эта выставка не могла бы состояться». Текст на правой стороне разворота был поскромнее: «Николай Напельбаум. Живопись, графика, скульптура». Меня разобрало любопытство: одно дело – просто так смотреть картинки, и совсем другое, когда в наличии имеется живой автор.

Фотография не обманула – эсхатологический нерв звенел в каждом произведении этого крепыша. Пейзажи все как один осенние, без надежды на зиму, и со множеством ворон. Даже в скульптуре, уж на что жизнерадостное искусство, он был последовательно трагичен и все старался вести зрителя в непролазный метафизический кустарник.

Одна композиция, правда, позволяла перевести дыхание. Половой акт. Мастерски, со звериным целомудрием схвачено движение, которое на языке автомехаников называется рабочим ходом поршня. Любовники изваяны анатомически точно, только из не совсем обычного материала:

это сваренные между собой разнокалиберные шестеренки и зубчатые колеса. Название работе автор дал зловещее – «Репродукторы», но сама по себе она была не по-напельбаумовски жизнеутверждающей.

Разглядывая картинку, я из чисто подростковой вредности строил отвратительные рожи, вздыхал, качал головой и саркастически ухмылялся. При этом сохранял невиннейшее выражение лица, как будто знать не знал, что автор сидит напротив. Бородач вскорости засопел, стал покрываться малиновыми пятнами. Наконец за минуту до апоплексического удара не вытерпел:

– Что, не ваше это искусство?

Я поднял на него глаза до того честные, что лучшего доказательства злого умысла не требовалось.

– Очень уж мрачно.

– Мрачно? – Напельбаумовский взгляд, пройдя через толщу народного горя, приобрел испепеляющую силу лазера. – А где веселость-то взять, она вся на Канарах.

И тут я чего-то озлился:

– Находят люди! А у этого Напельбаума за душой нет ничего, вот он и интересничает.

Художник заморгал часто-часто, сделал несколько глотательных движений, будто проталкивал по пищеводу крутое яйцо, и стал подниматься с дивана. Почувствовал я в этот момент то же, что посетитель зоопарка, вдруг обнаруживший, что горилла, которой он строил рожи, каким-то образом освободилась из клетки. На секретаршу надежды никакой – пока она оторвется от экрана, бородач меня задерет, – бежать как-то стыдно. Безвыходность была полная, и она зажгла в моем теле пламя заячьей отваги. Я сполз со стола, набычился, выкатил желваки и подобрал пальцы в ботинках.

Однако бородач, приведя свою двухметровую тушу в вертикальное положение, обнаружил, что неверно оценил соотношение наших с ним весовых категорий и самая маленькая порция насилия, которой он располагает, наверняка для меня смертельна. Гнев на его лице замутила растерянность – как-то надо было наказать щелкопера, но он не знал как. И тут из кабинета вышла Эльвира.

– Николай, вы что хотели? – обратилась она к Напельбауму сухо, предварительно для контраста одарив меня ласковой улыбкой.

– Да вот дожидаюсь, пока хозяйка твоя освободится.

У бородача к Эльвире, видно, был тот же счет, что у старшего Дубровского к троекуровскому псарю.

– Сегодня точно не освободится, у нее все по минутам расписано.

– Ничего, я подожду.

– Дело ваше. – Эльвира пожала плечами. – Небось опять за деньгами?

– Конечно, за деньгами. Но не за теми, какие тебе мерещатся. Материал надо закупать.

Эльвира картинно вздохнула:

– Вы ж на гостиную все закупили.

– Так не у ног тремся, работаем. Готова уже гостиная.

– Ну и притормозите пока. Весь дом вам отделать все равно не по силам.

До Напельбаума вдруг дошло, что Эльвира не из одного удовольствия с ним пикируется, а только что получила от Зульфий полномочия.

– Та-а-ак. – Запаса воздуха в его сорокаведерной грудной клетке хватило не на три куцы «а», как здесь изображено, а на пару десятков. – Так, – после водолазного вдоха повторил он и ринулся в кабинет половчанки.

Эльвира проводила его прощальной улыбкой:

– Надоед до смерти. Устроили ему на свою голову выставку, теперь не знаем, как развязаться. Еще и дачу взялся Зульфий отделявать. Я в ногах валялась. Но она ж упрямая, – Эльвира скосила глаз на секретаршу. – «Ху-

дожник нужен обязательно, а то у всех одно и то же». Вот и кушает теперь – у всех одно и то же, а у нее вообще ничего. За два года, паразит, одну комнату сделал. И слова ему не скажи. Все по дружбе делается, без денег. Только картинки свои ей втюхивает – тысячи по три долларов за штуку.

Подкоп под благосостояние мсье Напельбаума был почти готов, а под мое, наоборот, подводили фундамент. Такое сочетание особенно веселило душу.

– Ну давайте ваше творчество, а то она меня опять сдернет.

Эльвира уселась на диван и взяла мясистыми пальчиками тонкие, белесые листья.

Автор, не отдавая себе в том отчета, предполагает, что читатель, хоть и ускоренным маршем, но весь путь писателя должен пройти, и потому для меня было неожиданностью, что Эльвира через пару минут уже подняла глаза:

– Ну что ж, поздравляю.

Я зарделся и по-бабьи махнул рукой.

– Нет, серьезно. Мне понравилось. У нас, конечно, Зульфия главный искусствовед, но думаю, все будет в порядке.

Неожиданно секретарша оторвала лихорадочный взгляд от экрана, выпрямила спину, длинные ее ноготочки застучали по клавишам, как град по стеклам оранжереи. И сразу же дверь кабинета распахнулась, из него вышел опальный художник, за ним Зульфия. Оба улыбались, причем Напельбаум торжествующе.

– Людочка, заполни трудовое соглашение на Николая Густавовича. С первого числа... – Зульфия задумалась. – Давай пока на шесть месяцев.

Бородач милостиво кивнул.

– В графе «вид работ» напиши «Экстрасенсорная биоэнергетическая зарядка черного байхового чая с целью повышения его тонизирующих свойств». Сумма... – Увидев мое заинтересованное лицо, Зульфия не стала продолжать. – Ладно, это потом. А то мы Колю совсем заездили. – Фраза была обращена уже к Эльвире. – Преступление, что он все своими руками делает. Да еще и без денег. Кончили с этим, берем подрядчика, Николай Густавович будет его консультировать, ну и присмотрит заодно, чтобы не портачил.

Неожиданно дарованное Напельбауму помилование Эльвиру огорчило.

– Да, это, наверное, самое разумное, – промямлила она неискренне.

– Вы так считаете?

Бородач просто сочился сарказмом. Он бы еще что-нибудь едкое сказал своей недоброжелательнице, но, увидев, что хозяйка собралась прощаться, срочно вернулся к делам:

– Зуля, я тут пару работ новых принес. Пусть у тебя в кабинете пока повисят, ладно? Просто чтоб глаз от них поотвык, а то уже не различаю, что хорошо, что нет.

Зульфия посуровела:

– А те, что ли, заберешь?

Напельбаум, несмотря на свои левиафановские обводы, был отнюдь не прост и, когда надо, вполне способен был собою управлять, но лицо Эльвиры засияло слишком уж откровенным торжеством.

– Я могу все забрать, если они тебе мешают.

Зульфия пожала плечами:

– Коль, ты своим картинам хозяин.

Она направилась в кабинет, но в дверях обернулась и с неожиданной злобой обратилась к Эльвире:

– Если я не ошибаюсь, у нас теперь Кружевницкий за сценарии отвечает, а не Хмелевская?

– Но вы же сами...

– Соедините с ним товарища, – Зульфия кивнула в мою сторону, – и займитесь чем-нибудь полезным...

Жена сразу вспомнила, кто такой Кружевницкий.

– Статейки пишет. У него набор фантиков, называется «Правильные понятия». Но складывает неплохо. Ты наверняка читал, он раньше в «Литературке» чуть не каждую неделю печатался.

Читал, наверное, но из моей дырявой бошки и более крупные самоцветы вываливаются.

В одиннадцать утра, как велено было Эльвирой, набрал номер. Женский голос с филологическими обертонами попросил перезвонить через час.

– Дрыхнет еще, – заметила жена.

Ее лексика после моего превращения в сценаристы с каждым днем делалась все простонароднее. Час этот, еле ворочая крыльями, все-таки пролетел.

– Да-да, Александр Дормидонтович, прочел. Из всех, что мне Эльвира давала, ваш единственный добротный материал.

Как же я безобразно захмелел от этих слов. Захотелось влезть в окно и снова пройти мимо Белоснежки, чтобы получить еще один поцелуй.

– Спасибо большое. Это мой первый опыт. Я ведь по образованию инженер, всего два года, как поменял работу.

Но никакого умиления, что вот на его глазах уже немолодой человек делает первые младенческие шаги, Кружевницкий не выказал.

– Это чувствуется, – заметил он наставительно. – Ничего, стольких я уже выучил... – Мэтр сделал паузу, чтобы окинуть мысленным взором ряды своих учеников, и продолжал: – Завтра в одиннадцать съемка. Вам надо быть. Наверняка придется что-то дописывать на ходу. И я бы вас просил сразу принести новый сценарий, по приборам из первого списка «Крекеккса».

Жена, к счастью, ушла уже на работу, и можно было не приводить в порядок лицо, обезображенное этим разговором, – согрел гад похвалой, а как я выпустил почки, сразу их поморозил.

Садиться за чертов крекеккский список совсем не хотелось. Включил телевизор – этот прибор замечательно обесцвечивает время, так что оно, как кровь, лишённая красных кровяных шариков, перестает разноситься по жизни некую первопричинную субстанцию, без которой на душе, может, и спокойнее.

Ведущий старался быть объективным и не брать ничью сторону, но человек так устроен, что чем крупнее млекопитающее, тем он больше ему сочувствует. Показали хронику – сцену хладнокровного убийства синего кита японскими браконьерами. Молодой православный священник, сидевший между американкой, около года прожившей в семье китов-полосатиков, и дряхлым гарпунером – ветераном давно разрезанной на металлолом советской китобойной флотилии, стал объяснять аудитории разницу между Божьим и китовым промыслом. Он был мягок и убедителен, но представитель малого северного народа, недавно в полном составе перешедшего назад в шаманизм, вдруг не без агрессии объявил, что у его сородичей эти понятия в точности совпадают и если им запретят бить китов, они окончательно сопьются. Гарпунер встrepенулcя, закивал, но тут раздались звонок в дверь и лай моего трудолюбивого пса.

– Льете, Александр Дормидонтович, опять льете.

В слове «опять» жарко, как в топке, польхнула ненависть соседа к нормам общежития, лишившим его естественного права покарать меня немедленно и собственноручно. Что говорить, мы заливали его периодически и на этом основании еле с ним раскланивались.

В ванной комнате вода стояла по щиколотку. Умело выдав ужас перед грядущими тратами за раскаяние, стал мысленно прикидывать, во что мне

все это обойдется. И тут сверху упала, правильнее сказать, свалилась, заметно подняв уровень воды на полу, здоровенная мутноглазая капля. Глянул на потолок и посветлел лицом – заливал не я, а тот, кто выше меня.

Соседу, наоборот, эта капля не понравилась. С меня-то он знал, что деньги получит, а с тех, что надо мной, еще бабушка надвое гадала.

Пошли наверх. Сосед, обладавший сложением норовой собаки – длинный торс и короткие мощные конечности, – шагал через две ступеньки, хоть не был сконструирован для такого размашистого движения. Шлепанцы на каждом шагу хлопали его по пяткам с материнской нежностью. Вспомнил, сколько раз я любовался половичками перед его дверью, его лоснящейся нестареющей машиной, и пришел вдруг к выводу, что сама гармония назначила этого человека своим представителем в мире сборного железобетона и древесностружечных плит.

Про то, что оторвали меня не от письменного стола, я мгновенно забыл и потому, поднимаясь по лестнице, пребывая в состоянии тяжелой обиды на судьбу, делающую все, чтобы не дать мне работать.

Сосед долго жал на кнопку, но всякий раз, как отпускал, тишина по ту сторону двери мгновенно восстанавливала свою целокупность.

– Утонули, что ли, все? – пошутил он мрачно.

Я зачем-то тоже принялся давить, словно звонок был музыкальным инструментом, звучание которого всецело зависит от исполнителя. Потоптались, потоптались – не хотелось мириться с так легко доставшимся поражением.

– Может, через балкон? – Глаза соседа засветились былинной удалью.

Я энергично запротестовал, потому что видел, чем такие дела кончаются: прошлым летом мы с женой как-то сидели, ужинали, светло еще было, и вдруг мимо окна пролетел мужчина. Жена закричала по-звериному, а во мне, стыдно сказать, заработал какой-то арифмометр, который с неправдоподобной скоростью вычислил время полета и выключился. Удар последовал в ту самую рассчитанную секунду, и я, помню, неприятно был удивлен, что природа применяет свои законы с одинаковой строгостью к просто телам и телам одушевленным.

Хозяйка квартиры, где этот несчастный временно проживал, известна была всему подъезду тем, что, хоть сама сильно выпивала, держалась правила: пьяному мужику дверь не открывать. Он ломился, ломился, потом позвонил в квартиру рядом, и почему-то его выпустили. С пьяными судьба поступает честно – старается не пользоваться их временной слабостью, а ждет, когда человек проспится и сможет, как любой трезвый гражданин, оказать ей сопротивление. Но всего не предусмотреть – у женщины имелась сука, которая мужчин, когда они и через дверь-то входили, неизменно облаивала, а тут как увидела эту пьяную морду, лезущую на балкон, прямо бросилась. И еще продолжала брехать, пока тело скорость набирало.

– Не дай Бог, сорветесь! – Забота о человеческой жизни как таковой и полное безразличие к жизни собеседника сообщили моим словам какое-то внегалактическое звучание, – никакая протечка того не стоит.

Этот довод, насильственный в своей безупречности, привел соседа в большое раздражение:

– И чего? Пускай теперь льет?

Я неопределенно пожал плечами в том смысле, что от дела он меня оторвал куда более важного, чем эта вечно неисправная обыденность.

– Во-во, тесть у меня такой же был. Коротковолновик. С нашими мужицкими делами к нему не суйся. Днем паяльником тычет, ночью передатчик крутит, с миром общается. Когда детей-то успел настрогать, не пойму. А помер, и нет ничего, один эфир семье оставил.

Какой счет будущие зятья предьявят мне, если даже прожившему счастливейшую жизнь коротковолновику наследники вывели отрицательное сальдо, представить было нетрудно. «И правы будут. Чем уж таким важным

я в жизни занят? Сценарии пишу? – В ответ на мысленно заданный вопрос я мысленно же рассмеялся. – Пятый список «Крекеккса», двадцатый. Патологоанатом после обнаружит, что мозг у этого большоголового трупа изрыт короткими сюжетными ходами, словно древоточец поработал».

После такого пинка самоуважение, поджав хвост, отбежало от меня на почтительное расстояние, но через секунду уже снова вертелось у ног.

– Вы все только виноватых ищите, а сами ничего толкового пока еще не предложили.

Взгляд соседа немного потеплел.

– Чего тут предлагать? Зовем милиционера и ломаем дверь.

Мой пес будто услышал эту кощунственную фразу (двери в профессиональном отношении собаки ставят очень высоко) – снизу донесся его бешеный с захлебыванием лай. Глянул в лестничный проем – у моей квартиры стоял Кожамкулов.

Как же я огорчился! И даже не самому факту появления переводчика, а тому, что его жизнь на лапках какой-то перелетной птицы оказалась занесена в мою и выполоть ее оттуда уже не представлялось возможным.

– Ко мне пришли, – сухо объявил я соседу и поплелся вниз.

Кожамкулов не выказал ни малейшего удивления, что я встречаю его с внешней стороны двери. Он позволил мне потрясти свое пергаментное запястье и сразу же его убрал, заметив, что сосед тоже собирается поучаствовать в ритуале.

– Александр Дормидонтович, вчера, во время нашей рабочей встречи, – не всякий дуайен умеет взять такой официальный тон, каким повел свою речь Кожамкулов, – ваша супруга обратилась ко мне с просьбой открыть банку шпрот. Если помните, для этого я воспользовался не консервным ножом, а своим перочинным. – Он сделал паузу, отбив ею фактографическую часть от итоговой. – Так вот, нежд я забыл на столе, почему и вынужден вас побеспокоить.

«Все у него идет в дело!» – с восхищением подумал я о ком-то нематериальном, кто у нас, у атеистов, выполняет роль Создателя.

– Заходите, сейчас поищу.

Я вошел первым, чтобы оттеснить в глубь квартиры беснующегося пса, так и не смирившегося с тем, что его порода в каталогах значит как декоративная. Приглашение относилось только к переводчику, но совпадение формы единственного и множественного числа позволило и соседу принять его на свой счет.

Дальше прихожей Кожамкулов проследовать не пожелал.

– Напрасно вы беспокоитесь, Александр Дормидонтович, я не в гости пришел. – Он помолчал, соображая, достаточно ли твердо себя поставил, и довесил: – В гости без приглашения, извините, не ходим.

Аж потрескивал человек – столько наработал внутри себя нервного заряда, а ведь вчера вроде бы размякшим мой дом покидал.

– Не совсем вы правы. Бывает, что и приходится, – наставительно заметил сосед, хотя в этой мизансцене для него реплики заготовлено не было. – Я вот Александру Дормидонтовичу сегодня как снег на голову свалился.

Он поставил в этом месте точку, но некий пакостник, а они водятся почти в каждой голове, сам за него продолжил:

– Хуже, знаете, татарина.

Повисла пауза, той же природы, что между выдергиванием чеки и взрывом.

Впрочем, столбняк поразил только меня одного. Суровое лицо Кожамкулова особых изменений не претерпело, разве скользнул по нему отблеск горькой радости, что вот получено еще одно доказательство не совершенства человеческой природы. Сосед, тот вообще не столько смутился, сколько задумался: через какую это дырку текст без его ведома выскочил наружу?

– Если вы в смысле нации обиделись, – с некоторой претензией обратился он к казаху, – она тут ни при чем, это просто поговорка такая. – Помолчал и, не получив от собеседника реакции, даже вазомоторной, продолжил без всякой связи: – Смотрю, вода течет с потолка, ну и скорей наверх.

Кожамкулов ничего не понял и несколько по-птичьи вопросительно повел головой. При желании это движение можно было отнести к разряду поощряющих, чем сосед не замедлил воспользоваться:

– Не узнаете? Я к вам прошлой осенью с Пухлием Андрей Андреевичем в гараж приезжал.

Однако попытку проникнуть на свою территорию через задние, открывающиеся в прошлое, ворота казах пресек, – демонстративно не сделав преобладающего усилия, он отрицательно покачал головой.

Человек, когда его не узнают, переживает в легкой форме уход из жизни.

– Ну как же, кулачок выпускного клапана, – растерянно пролепетал сосед. – Вы сначала на кольцо грешили, а оказался кулачок.

– Поглядели бы ножик, – обратился ко мне Кожамкулов сухо, даже не потрудившись нарастить соединительную ткань между последним словом собеседника и первым своим.

Поиски всего, что блестит, надо начинать с детской. Нож в компании с другими пришедшими в забвение предметами валялся на подоконнике, весь почему-то вымазанный в пластилине. Кое-как оттер, чертыхаясь, и понес хозяйину.

В прихожей меж тем электричества в атмосфере поубавилось.

– Проволоку стальную пожестче, пассатижи, – тоном полевого хирурга перечислял казах. – С длинными губками, есть такие? – Последовал утвердительный кивок. – Несите, только обещать ничего не обещаю.

С проворством юнги сосед бросился вон из помещения. Кожамкулов проводил его отеческим взглядом.

– Сейчас таких напридумывали, иной раз неделю провозишься, пока откроешь. Это у меня хобби – замки.

Процедура передачи ножа напоминала военную приемку. Получатель последовательно проверял и методично исследовал каждое лезвие. Ушло на это не меньше минуты. Наученный горьким своим отцовским опытом, я, признаться, с замиранием сердца следил за ходом ревизии.

– Сталь прекрасная, – произнес наконец Талгат Ниматович, грустно покачав головой, точно секрет производства этой стали давно утерян. Ножик скользнул в замшевый чехольчик. – Когда его нет в кармане, мне как-то спокойно.

Общих тем у нас с гостем теперь не осталось. В искусстве же молчания я проигрываю почти всем и не люблю этой нордической формы общения.

– Еще раз хочу поблагодарить вас, Талгат Ниматович, за перевод, вы меня очень выручили.

Фраза-то никакого груза на себе не несла – чистым служила наполнителем, но Кожамкулов заставил ее работать.

– Спасибо на добром слове. – Он произнес это так, словно прощал собеседнику какую-то вину. – Я, кстати, тоже хотел обратиться к вам с просьбой.

– Конечно, конечно! – Другой формы ответа быстро найти мне не удалось, а эта давала казаху право самому решать, что он получил, – разрешение обратиться с просьбой или обещание ее выполнить.

– Ваша хозяйка, то есть – извините, неправильно я выразился – работательница, она всем торгует, не одними эпиляторами. Начинала-то вообще с сурков. Скупала у ребятешек шкурки – народ там в степи нищий, за копейки отдавали – и шапки шила.

Осуждение сквозило в тоне казаха, и я зачем-то бросился спасать его антирыночную душу:

– Ну так радоваться надо – одни шапки получили, другие хоть какой-то заработок.

Кожамкулов пожатием плеч дал понять, что не намерен оспаривать этот ложный тезис.

– Теперь за автомобиль принялась. Сценариста наняли, Хмелевская привела, кому ж еще! У них это строго. – Казах вдруг запнулся и уставил на меня взгляд, на который потовые железы первобытного человека рефлекторно отвечали запахом «свой» или, наоборот, «чужой», – один другого за собой тащит. Везде так. – Кожамкулов безнадежно махнул рукой. – Везде. И ведь хватает совести браться за дело, ничего в нем не понимая!

Какую он имел в виду совесть – коллективную или индивидуальную, – одному богу известно. Хотелось думать, что индивидуальную, принадлежащую новому Эльвириному сценаристу.

– Им бы следовало заказать этот сценарий вам. Больше вас в автомобилях вряд ли кто смыслит.

Такая передозировка могла и не сойти мне с рук, но надо же было внести мир в душу гостя, тем более что в ней обнаружилась горячая нелюбовь к какой-то нации, правда, вроде бы не к моей.

– Уж и вряд ли! – В голосе Кожамкулова появились ворчливые нотки – предвестники хорошей погоды.

Я осмелел и еще добавил сахарку:

– Мне трудно судить, но Ваганетов говорит, что другого такого специалиста в стране нет.

– Да что Ваганетов в этом понимает? Болтает не думая. Так-то он парень неплохой... – Казах сделал паузу, чтобы выслушать возражения, но я не стал ее заполнять. – Совсем неплохой. По натуре.

Для прихожей наша беседа сделалась уж слишком содержательной.

– Что мы здесь стоим, пойдемте в комнату.

– Благодарю. – Прежней занозистости в казахе не было и в помине. – В другой раз. Я, собственно, хотел просить... – Он замаялся. – Нет, сперва лучше вот этот прочтите шедевр. – Кожамкулов как-то суетливо, что очень ему не шло, полез за пазуху, вытащил мятые бумажки и протянул мне с такой ядовитой ухмылкой, словно то была карта гинекологического обследования Богородицы. – Ихнего сценариста творчество.

То ли по слабости характера, то ли из опасения, что казах и меня запишет, причем с полным на то основанием, в ихние, я покорно принял за чтение.

Ей-Богу, ничего такого ужасного в сценарии не было. А идея мне и вовсе понравилась. Циклопических размеров акушер в полном облачении – халат, шапочка, резиновые перчатки – вроде как принимает роды у автомобильного завода: всовывает затянутую в резиновую перчатку ручищу в ворота огромного цеха, вынимает новехонький автомобиль и отвешивает ему звонкий шлепок по заднему капоту. Тот отвечает пронзительным гудком, миганием фар, от чего лицо доктора расплывается в радостной улыбке: «Здоровый младенец». Поворачивая новорожденного то тем, то этим боком, он диктует медсестре: «Объем двигателя два литра, электронный впрыск, турбонаддув, полный привод... – Наконец акушер заглядывает автомобилью под днище. – Мальчик!»

– Ну как вам этот балаган?

Кожамкулов смотрел строго и испытующе, словно принимал меня в партию троцкистского толка. Я развел руками, да так искусно, что казах остался совершенно доволен, но, будь на его месте автор сценария, он бы тоже не обиделся.

– Мальчик! Это как, интересно, можно определить? По форме выпускного коллектора?

У меня вырвался смешок.

– Смешно, понимаю. И мне было бы смешно, если бы я всю жизнь на это не положил.

Вины за собой я никакой не чувствовал и в порядке самозащиты посу-ревел лицом. На Кожамкулова это почему-то подействовало. Он растерянно улыбнулся и с детским испугом – вдруг она не вернется, родительская любовь, – заглянул мне в глаза.

– Извините, такое устройство – обязательно должен за всех все пере-делать. Я ведь, правда, в машинах кое-что понимаю. Уж побольше этого... Взял вот, написал. – Гость вновь запустил руку во внутренний карман пла-ща и движением отчаянным и величественным, каким спартанская мать отдавала старейшинам на отбраковку новорожденного спартачонка, про-тянул мне вдвое сложенные листы. – Киньте взгляд, что получилось.

Профессия сценариста, к которой я так мечтал приобщиться, на моих глазах становилась массовой, и это было огорчительно.

– Талгат Ниматович, я такой же инженер, как вы, один сценарий все-го и написал.

Но нет, если на чужой территории Кожамкулов мог и с поджатым хвостом недолго походить, то на своей не желал видеть даже остывших следов другого самца.

– Почем вы знаете, что такой же? – Едкая улыбка, без демонстрации зубов, проступила на его лице. – А вдруг лучше?

Как это он знал, куда впитаться? На королевской яхте точных наук ка-зах, может, и простым кочегаром служил, но меня-то с нее, считай, списа-ли. К счастью, благодаря половчанке я два дня уже ходил в сценаристах, а это звание публика почему-то приравнивает к воинскому званию «пол-ковник». Выпад Кожамкулова почти и не произвел во мне новых разру-шений, тем более что роль просителя этому господину плохо подходила и какого-нибудь такого колена ожидать от него следовало.

– Вот и дайте Эльвире прочесть, больше толку будет.

Вовсе без металла мне эту фразу произнести не удалось, так что Ко-жамкулов остался доволен результатом своего выстрела. Он сразу же и подобрел к воображаемому противнику:

– Меня ваше мнение интересует, а не этой дамы.

Теперь уже листы, которые я зачем-то покорно принял от автора, вернуть было непросто. Хуже того, в присутствии хозяина они отказыва-лись признавать за мной хоть какие-то права, даже право отложить чте-ние на потом. Тут и сосед был бы спасением, но он что-то не нес свою проволоку.

Если на кого и можно опереться в жизни, так только на собственную собаку. Ее счастливый лай донесся из-за двери ровно в тот момент, когда я ударился лбом о латинское изречение «Cognato vocabula gebus» – им от-крывался кожамкуловский сценарий. Дочь в распахнутой по случаю вес-ны куртке швырнула рюкзак чуть не под ноги гостю и сунула мне в нос ледяную башку для поцелуя.

– А чем это у нас пахнет? – спросила она, не забыв махнуть в сторону казаха полудетскими ресницами.

– Веником! – И не хотел, а получилось с каким-то обвинительным ук-лоном. – Заливают нас сверху.

Дочь задрала нос к потолку. Взгляд ее приобрел знакомую зыбкость, какая бывает, когда, проверяя уроки, я загоняю бедного ребенка в конец таблицы умножения.

– Там Лари живет, – произнесла она не очень уверенно.

Мне это имя ничего не говорило.

– Ну как, пап, такса длинношерстная.

Таксу я знал. В известные периоды эта сука доводит моего пса, не приспособленного к действиям на сверхмалых высотах, до умопомеша-тельности.

– А чего тогда она не лаяла, когда мы звонили?

– Так она во дворе гуляет с Колькой, я их видела.

Предложение отправиться на поиски этого Кольки дочь отвергла под

тем предлогом, что он гад и она с ним не разговаривает. Завязалась дискуссия. Кожамкулов как человек холостой, видимо, не представлял, до какой степени детская аргументация бывает изощренной, и, пока мы шли по первому кругу, следил за поединком с напряженным вниманием. Но скоро начались повторы, и ему стало скучно.

– Надобность во мне, вижу, отпала. Так что разрешите...

Слово «откланяться» Талгат Ниматович ради экономии изобразил действием. Изысканность его манер неожиданно разбудила совесть в моем ребенке:

– Ладно, пойду.

Пес тут же принялся тихо скулить, намекая, что и он не прочь прошвырнуться.

– Потерпишь! – Она подобрала брошенную на пол куртку и рывком ее на себя напялила. Жалко было собаку, но открывать второй фронт как-то не хотелось.

Это большая проблема – и сочинительская, и жизненная – отделаться от персонажа, в котором отпала надобность. Сосед явился со своей никому не нужной проволокой, когда гость мой уже стоял в дверях.

– Такая пойдет? – Глаза у него сияли, как у спаниеля, доставшего из болота утку.

Казах взял проволоку, согнул, разогнул:

– Вполне, но ключом будет проще.

Видать, человеку впервые за много лет удалось пошутить, и он улыбнулся своей удаче так, как улыбался еще в люльке.

Выпустил Кожамкулова с дочкой на лестницу и тоже вышел. Якобы чтобы оказать гостю уважение, а на самом деле с единственной целью – выманить из квартиры соседа. Перед лифтом нас столпилось четверо. Это уже напоминало вокзальные проводы.

– Александр, – лицо казаха дышало прежней суровостью, – супруге от меня поклон.

Дочь запрыгнула в кабину первая. И тут меня такой страх обуял, аж дыхание прервалось: вот он сейчас войдет следом, заполнит свинцовой своей аурой это крошечное пространство, и веселые волчки, во множестве крутящиеся внутри моей девочки, замрут и повалятся на бок. Я как-то даже заметался, но повода отправить гостя следующим рейсом не нашел.

– Так я могу надеяться? – Кожамкулов уже из кабины кивнул на листы, которые я все еще держал в руке.

– Да, да, сегодня же прочту.

Двери стали сходиться, но тут из-за моей спины вынырнул сосед и вставил ногу между створками.

– Талгат Ниматыч, может, послушаете мотор у моей тачки? Она тут, у дома, стоит, что-то мне его звук не нравится.

Если устранение причин потопа легло на мои плечи, то со следствиями боролась очень кстати вернувшаяся с работы жена. Она бы и так все убрала, но я специально вышел встречать ее с тряпкой, а выражение лица выбрал из самых капризных.

Гремели ведра, лилась вода, а я сидел и ни за что ни про что проклинал это звуковое сырье. Но вот жена в ванной выпрямилась, окинула взглядом стены... Какая-то кафелина вдруг привлекла ее внимание, и она несколько раз остервенело со скрипом ее потеряла – все, теперь до вечера тишина будет нарушаться только криком из детской: «Мам, как пишется – воен или воин?»

Обреченно поворошил угли, оставшиеся от костерка, на котором варился первый крекекесный сценарий, – ни одной тлеющей головешки. День явно решил смыться, бросив меня с несделанной работой.

«Интересно, он с умыслом такие выбрал?» Кожамкуловские листочки имели форму квадрата, которая словно специально придумана, чтобы

демонстрировать разницу между симметрией и гармонией. Они и цвета были голубенького, не отпускающего охочий до всякого уродства человеческий глаз. Чем терпеть такое беспокойство, проще было сценарий прочесть и засунуть куда-нибудь подальше, но казах ведь мог и что-то стоящее создать, а это лишило бы меня всякой подъемной силы.

Прилив вдохновения я попытался ускорить чисто женским приемом – выпил чаю с молоком. Потом почесал живот собаке и съел яблоко. Но витамины, в нем заключенные, на пути к голове перехватили какие-то второстепенные органы. Лишенный питания мозг вел себя, как собака, которой скомандовали «апорт», а она что требуют найти не может и с виноватым видом таскает всякую ерунду. В какой-то момент из опасения отбить у него охоту к службе сделал вид, что задание выполнено.

Если принять во внимание испытания, выпавшие на мою долю в этот световой день, идея была не вовсе плоха.

Затихающие крики «горько» вслед удаляющимся в спальню молодым. Муж, здоровенный детина, несет свою миниатюрную половину сквозь анфиладу комнат, в одной из которых сложены подарки. Это все коробки с надписью «Крекекекс». «Ой, Коль, дай глянуть!» – Молодая дрыгает ногами, вырывается, и Коле ничего не остается, как поставить ее на пол. «Смотри, у нее даже обратный ход шнека есть». – Девушка с восторгом перечисляет замечательные свойства мясорубки PR-21/F. Муж теряет терпение, сгребает все эти кружева и флердоранжи в охапку, но у следующей коробки сцена повторяется. Парень постепенно приходит в полное уныние, глаза его наполняются слезами, и, когда девушка наконец отрывает счастливый взгляд от последнего прибора (а их в чертовом первом списке аж десять), он уже плачет навзрыд. «Колька, глупый, с такими помощниками у меня все силы теперь на одну любовь пойдут». Она легко подхватывает мужа на руки и несет его, всхлипывающего, утирающего пудовыми кулачищами слезы, на брачное ложе.

Теперь этот концентрат нужно было развести в кастрюльке объемом четверть печатного листа, чтобы утром вручить Кружевницкому. «И ему понравится», – подумал я с неприязнью, разложив ее в равных долях на себя, свое произведение и художественного руководителя. Под Эльвириным патронажем мне как-то лучше творилось. Я хоть и по разряду мелких птиц у нее проходил, но все же певчих, а Кружевницкий зачислил меня в несущки.

«Даже скучно без ее постоянных звонков» – эта мысль отчасти была мною искусственно в голове организована, в расчете на поразительную Эльвирину способность к телепатии. Но телефон молчал. Ничто, впрочем, не мешало мне самому набрать номер и спросить, например, когда и где завтра съемка.

– Сережа?.. – Голос у нее был какой-то не такой, и я почувствовал себя едва вышедшим из щенячьего возраста волчонком, которого мать вдруг начинает гнать от себя. – Я-то откуда знаю? Звоните Кружевницкому. Слышали, что Зульфия сказала: теперь по этим делам он главный.

Продолжения разговора Эльвириным ответ вроде бы не предполагал, и в то же время чего-то болеутоляющего ее душа определенно просила. Я прикинул – что ни скажи, все будет не то, и, набрав полные легкие воздуха, отвесил тяжелейший со сложными фиоритурами вздох, физически представлявший собой полный выдох.

Встречен он был благосклонно:

– Можно подумать, Сережа, что не Зуля, а вы за три года с нуля миллионный бизнес подняли. Дорогой мой, у этой женщины чутье на людей поразительное. – Эльвира и дальше собиралась держать апологетическую ноту, но речь ее не всегда слушалась руля. – С мужиками своими только вечно прокальвается.

Поддаввшись порыву, Хмельевская завела меня несколько дальше хозяйской прихожей, и по тому, как она вдруг замолчала, я понял, что окажу ей услугу, если попрошусь назад:

– А ко мне сегодня Талгат Ниматович заявился, прямо так, без звонка. Как думаете, зачем?

– Ох, Сереженька, простота вы казанская! – Вослед этому идиоматическому винегрету Эльвира послала мне ласковую и мудрую улыбку, и я каким-то образом смог принять ее по проводам. – Чего ж тут думать, сценарий притащил. Через Хмелевскую не вышло, теперь через Кружевницкого пробует.

Почему-то не хотелось, чтобы визит Кожамкулова получил рациональное объяснение.

– Зачем тогда я ему понадобился?

– Вот уж действительно загадка. Как вы себе представляете? Вваливается этот алкоголик в Зулин кабинет и что говорит? «Здрасьте, я сценарист». Знаете, куда она его пошлет? У самого ума, может, и хватило б, но там Ваганетов имеется. Так-то он правильно придумал, чтобы через вас, – вроде как коллега рекомендует. Только все равно это дело дохлое.

– Почему? Я с удовольствием, если он хорошо написал. – Удивительно, но, пройдя по самым темным закоулкам моей души, эти слова умудрились сохранить искренность и чистоту.

– Да при чем тут хорошо – нехорошо? Я вам что скажу, только это между нами. – Эльвира понизила голос до уровня высшей доверительности. – Ни черта она в этих сценариях не понимает. Откуда, Сереженька? Чего она там видела, в своей дыре? Один клуб заблеваный. А теперь, когда деньги немереные, ясное дело, ее на культуру потянуло – к писателям с режиссерами. И чтоб трубка с бородой. Ей этого бомжа показать, завтра же на улице окажешься.

«Темные планеты управляют судьбою творца» – эта тоскливая мысль потянула за собой другую, ностальгическую: «А ведь в прежней моей профессии жизнь совсем другая, там можно и в старом плаще. А все потому, что критерии в естественных науках после долгой борьбы почти освободились из-под власти человека».

– Еще раз повторяю, Сергей. – Эльвира вдруг сменила тон на строгий и даже обвинительный, как будто это я только что срывал покровы с половчанки. – Зульфия просто так человека на ответственный участок не поставит. Если желаете работать, работайте с тем, кто есть, а нет – сами понимаете.

То ли долгая жизнь в браке, то ли свободный рынок так закаляет человека, но я вдруг без всякого перехода рубанул:

– Желать-то желаю, только хотелось бы знать, за какие деньги?

– За какие договаривались. Пока, во всяком случае. А дальше – это уж как у вас с Кружевницким сложится.

– Мы никак не договаривались. – Голос звучал по-прежнему твердо, хотя страх перед определенностью уже охватил меня с флангов.

– Быть того не может! Вы трудовое соглашение подписывали? Как нет? Ну так срочно надо подписать, завтра же Кружевницкому напомните. Что это такое – без договора работать!

До завтра времени еще было вагон. Еще можно было полсуток не расставаться с дымчатой цифрой, сотканной воображением из Эльвириных недомолвок, интервьюеров фирмы «Анасис» и демисезонной норковой шубы Зульфии.

Но госпожа Хмелевская – то ли она утратила уникальную свою способность чувствовать собеседника, то ли расчет у нее имелся – вдруг, как кинемеханик, решительно навела на резкость картинку моего будущего.

– Все зависит от качества, но в принципе, чтобы вы ориентировались, в среднем у нас за сценарий платят... – и Эльвира назвала сумму, примерно соответствующую двенадцати градусам тепла по шкале Цельсия.

Видимо, крушение надежд произошло раньше и как-то для меня незаметно, иначе трудно объяснить, почему я так спокойно позволил вытолкать себя из воздушного замка.

– Это нормально, Сережа, тем более для начала. А дальше Кружевницкий, думаю, будет потихоньку поднимать.

– Как все-таки я могу выяснить, где и когда состоится завтрашняя съемка? – Металл звенел в моем голосе, правда, какой-то низкосортный. А ведь не так и ничтожна была сумма, которую мне предлагали, чтобы разговаривать с работодателем в эдаком тоне.

– Сереженька, честно, не знаю. Звоните Кружевницкому. Ну хотите, я позвоню?..

Стоило Эльвире передвинуть верхнюю границу гонора из бесконечности, где она у меня помещалась, вплотную к прожиточному минимуму – и дом, как дворец Спящей красавицы, наполнился жизнью. Открыл глаза пес и, потянувшись, сразу же обратился ко мне с обычной своей просьбой. Теперь, после возвращения на землю, у меня не было оснований ответить ему отказом. Животное рассыпалось в благодарностях. Дочь, услышав, что мы собираемся, остановила калякающую руку.

– Эй, меня подождите!

За сутки, что я не был на улице, весна здорово обабилась – потеплела, помокрела, потеряла всякую порывистость. Тополя остервенело тянули из-под асфальта соки, рассчитывая недели за две отрастить себе новые кроны взамен недавно срезанных почти под ноль уполномоченными на то мужиками. Запахи оттаявших экскрементов кружили головы молодым кобелям, отчего они то и дело сбивались на иноходь.

– Пап, а этот дядя, который приходил, он кто?

По лицу влажным тампоном прошелся ветерок. Я обнял дочь за плечи.

– А отец-то твой кто? – Вышло немного театрально.

– Какая съемка, Александр! Над вашим сценарием еще работать и работать. План такой: завтра к одиннадцати вы подъезжаете к Зульфий, садитесь и прямо там начинаете переделывать. Она скажет, что и как. Я появлюсь в час, на пять назначена группа. Ну пока они там расставятся – свет, камера. В общем, к шести мы должны быть готовы.

В изложении Кружевницкого кинопроцесс выглядел уж очень несолидно. «А не пошел бы ты к черту!» – мысленно нагрубил я, прикрыв ладонью трубку. Но клочки романтического тумана еще лежали в низинах сознания. Во всяком случае, перспектива заняться литературным творчеством на пару с самой Зульфией меня очень вдохновила, даже до опьянения, которое только придворным поэтам знакомо. Ужасно вдруг я себя зауважал, полюбил, и не просто, а с неосознанной целью заразить этим чувством миллионершу – такой талант и эрудиция не могли оставить ее равнодушной. Воображение быстро распространило наше соавторство на все другие сферы деятельности половчанки, и везде она признала мое безусловное лидерство.

Если б удалить из комнаты шкаф и еще кое-какие предметы, те, что помнили маму, я, может, и пробыл бы некоторое время в этом восхитительном состоянии. Но их присутствие даже в молодости не позволяло мне слишком удаляться от образа и подобия, а теперь и подавно. «Как, господин эрудит, вы переведете латинскую фразу «Cognato vocabulabebus»? – издевательски осведомился тот же участок мозга, что за мгновение до того рисовал нас с Зульфией героями очаровательной пасторали. – Если помните, ваш пьяница-коллега предупредил ею свой сценарий». Признаться, я был поражен умением рефлексии бить в яблочко – ведь ухватила именно за козамкуловскую латынь, как будто у меня в других, гораздо более употребительных областях мало пустот.

Казах позаимствовал цитату из Горация, не исключая, что из самого. Я-то нашел ее в сборнике крылатых латинских выражений. Звучность оригинала перевод сохранил и даже приумножил, только в шипящем регистре: «Слова, соответствующие вещам».

Если и было меж нами соревнование, то Кожамкулов одним этим эпиграфом почти решил дело в свою пользу. Теперь не страшно было и сам текст прочесть – на третью лопатку он положить меня не мог.

Ожидал я чего-то такого, чему в животном мире соответствует северный олень, который одновременно и домашнее, и дикое животное. В этом смысле Кожамкулов меня не разочаровал, только вот путь его в литературе проходил по заповедным местам.

«Если спросите, откуда / Эта мощь и проходимость, / В сочетании с комфортом, / С легким, чутким управлением, / С благородством чистых линий, / При цене намного меньшей, / Чем у всех других седанов / Представительского класса, / Я скажу вам, я отвечу...» – Исковерканные бунинские строки Кожамкулов вложил в уста господина «с благородной индейской внешностью, облаченного в безукоризненный европейский костюм» – так гласила авторская ремарка. Вождь по ходу действия должен был, прохаживаясь вокруг автомобиля, демонстрировать его стати, сообразуясь, естественно, с содержанием своего монолога. «Если бы дальше вы спросили: / Сколько клапанов в цилиндре? / И цилиндров этих сколько? / Я тотчас бы вам ответил...»

– Чему это ты улыбаешься? – ревниво осведомилась жена, которая стремление знать все про наших детей, включая мысли и чувства, с годами распространила и на меня.

Сосиска указывала направление юг-север, и, чтобы разрезать, пришлось повернуть ее на тарелке вдоль экватора.

– Да так, ничему. – Признаться, что это улыбка облегчения, значило дать женщине слишком сильные против себя козыри.

– Ничему так ничему. И завтра, пожалуйста, оденься прилично. Зря машешь рукой, на девушку эту мне плевать. Просто не хочу, чтобы мой муж выглядел оборванцем.

К утру ночная морось села на стекла витрин, на машины, и солнце гляделось в эти сизые плоскости с милой, подслеповатой улыбкой. Прохожие, как только я свернул со Старого Арбата в переулки, стали попадаться редко, все больше старухи в зимних пальто, передвигавшиеся самыми мелкими шажками, чтобы случайно не переступить границу жизни. По-хорошему каждой надо было на хлебушек давать, но до того всеохватный кругом шел ремонт, такое богатство отделочных материалов демонстрировали уже восстановленные фасады, что глаз требовал всякую нищету отсюда удалить, хоть бы и хирургически.

В доме, где жила Зульфия, часть квартир уже испытала второе рождение, в остальных орудовали гастарбайтеры. Остервенело, как будто наше прошлое как-то их касается, они выламывали из помещений все, что прямо не относилось к несущим конструкциям. В подъезде стояла сизая дымка, валялись куски штукатурки, источавшие тяжелый барачный запах.

Лифт оказался даже не занят, а оккупирован, в него грузил мешки румяный крутозадый малый во всем чистом. Завидев меня, он с виноватой улыбкой пропел тенорком:

↓ Антеeksi, тейдэн тулее одотгаа.

Я только то и понял, что язык относится к угро-финской группе. Видя мое замешательство, он еще раз произнес ту же фразу, но громче. Метод погружения неожиданно сработал. Во всяком случае, первое слово мне удалось перевести – оно несомненно означало «извините».

– Пустяки! – махнул рукой и отправился наверх пешком.

До лестничной клетки санация тоже еще не добралась – уютский колер, углы, помеченные котами, а кое-где и людьми, под потолком множество заляпанных побелкой проводов, словно это узел связи. Квартира Зульфии занимала целый этаж, других дверей я на площадке не обнаружил. Собственно, это была не дверь, а броневая плита, вобравшая в себя

всю мощь уральских блюмингов и прокатных станов. Пластмассовая кнопка звонка рядом с нею гляделась юной пацифисткой.

– Кто?

Сквозь толщу металла голос прошел значительно ослабленным. Я назвался. Этого, как ни странно, хватило. Проигрывая по русскому обычаю в скорости, но зато сверх всякой меры выигрывая в силе, с той стороны заработало нечто вроде лебедки, и дверь стала медленно отделяться от косяка. Ох, что с моей душонкой сделалось! Воровато озираясь, в нее влетели все прежние упования и расселись по жердочкам. А и рассудить – не могло же пространство, отделенное от мира десятью сантиметрами стали, оказаться всего лишь продолжением обычного евклидова, в котором протекают две самые скучные мои жизни: биологическая и финансовая?

Щель достигла размера, когда, обдирая уши, в нее уже можно просунуться, и остановилась в своем развитии. Там, похоже, засомневались, пускать меня или нет. Чтобы полную дать о себе информацию, я повернулся к дверям в профиль. На случай чего у меня и паспорт имелся.

– Заходить-то будете или чего? – раздался вдруг недовольный голос с той стороны.

Учитывая возраст, костяк мой должен был давно обызвестковаться, но он неожиданно продемонстрировал замечательную эластичность, и щель я преодолел без заклинивания. Дама, управлявшая дверью, как только убедилась, что гость полностью находится в квартире, нажала на кнопку, и плита встала на место.

– Тяжмаш. – Женщина любовно провела рукой по металлу. – Громadнейший завод, а она, – последовал сердитый кивок куда-то в глубину квартиры, – все акции этому чечену продала.

Прозекторский фартук, голова в серых барашках, голые пупырчатые икры – детали, не вошедшие в этот перечень, были столь же унылы. Правда, очень молодила привратницу зажата в руке недогрызенная морковка.

Мраморный пол в прихожей поблескивал, как туго накрахмаленная скатерть, и я инстинктивно принял за разуваться.

– Мужских, наверное, и нет. – Женщина с сомнением посмотрела на мои военотгровские носки. – Вон те берите, они самые большие.

Бархатные туфельки, украшенные бутонами из розовых перьев, и впрямь пришлось мне впору, единственно – пятки оказались слишком высоко подняты над полом.

– Во, я ж говорила! Это Татьянины, массажистки нашей, кобыла еще та! – Обладательница морковки свободной рукой очертила вокруг своего крупа другой, еще более объемистый. – Рано чтой-то вам назначили, обождать придется. Куда! В пятом часу только приехала.

На холке у самолюбия поднялась шерсть, но я взял его на короткий поводок и, стуча каблучками, проследовал в гостиную.

Очутился я ровно в той фотографии, которую Эльвира демонстрировала при первом нашем знакомстве. Стулья только не вверх ногами располагались, а, как положено, плечом к плечу стояли вкруг стола. Малахитовый камин, наборный пол – все было на месте. В той части зала, что не попала в объектив, имелось еще множество разных предметов, но они знакомы всякому, кто хоть раз, пусть в мечтах, побывал в приемной дорогого дантиста. Выделю только – и то потому, что я в него сразу погрузился, – кожаный диван, большой и чрезвычайно мясистый.

Позу он мне навязал какую-то нерабочую. Я было поддался, даже розовые копытца сбросил, но скоро сообразил, что в носках держаться на равной ноге с хозяйкой будет затруднительно, вернулся в туфельки и, сколько позволяла конструкция дивана, подобрался.

Дело мне представлялось следующим образом: оставив гостя, дама в фартуке отправилась будить хозяйку, и та теперь спешно приводит себя в

порядок. Звуки, доносившиеся из глубины квартиры, в общем, не противоречили этой гипотезе: открывались и закрывались двери, где-то лилась вода. Правда, так и не прошумел бачок, но он мог оказаться какой-нибудь новой конструкции, основанной на совершенно другом физическом принципе.

Прислушиваться в конце концов надоело, и минут десять протекли без всякого моего участия – только слабо сопротивлялся дивану, норовившему сомкнуть над постояльцем свои опухлости. Вернула меня к активной жизни внезапно набежавшая мысль: «А как они собираются в таком интерьере снимать всех этих чапаевых с анками-пулеметчицами, которых я напихал в сценарий?» К простому «никак» я еще не был готов, и оба полушария, старательно минуя дозоры формальной логики, занялись поисками ответа. Работа бессмысленная, но она по крайней мере съела часть времени, которое в противном случае целиком бы пошло на ожидание.

Вероятно, при каком-то уровне доходов это чувство, что богатые кругом перед тобой виноваты, исчезает. Но еще не при моем. Будь Зульфия победнее, я бы в ее положение с легкостью вошел – сам сколько раз утром голову от подушки не мог оторвать, – однако в данных обстоятельствах гордость соглашалась мириться с простой человеческой слабостью не иначе как за двойную плату. Только вот счет некому было выставить.

Чаша терпения с каждой минутой все больше походила на рог изобилия. Первую попытку подняться и уйти успешно погасил диван. Почти уже накопил решимости на вторую, но тут в дверях показался знакомый фартук.

– Слышите, этот новый звонил, которого она на кино поставила. Спрашивал, как вы тут управляетесь. Я говорю – дожидается ваш человек. – Женщина сделала паузу, желая поторжественней обставить выход следующей фразы. – «И пускай, – говорит, – дожидается. А то без меня опять какую-нибудь ерунду с кавалерией напишет».

Закрыв кавычки, она устремила на меня пытливый взгляд физиолога, изучающего реакцию лягушачьей лапки на удар током.

Сам-то я бровью не повел, но слюнные железы вдруг резко повысили производительность, и кадык вынужден был совершить возвратно-поступательное движение, чтобы отправить лишнюю жидкость в пищевод.

– Во какие бывают, – удовлетворенно заметила дама, – он один хороший, а другие все воши! Зульфия его давеча обедать оставила. Таким бароном сидел. Я ему плов накладываю, а он мне: «Достаточно».

Объединяться с обслуживающим персоналом против Кружевницкого не хотелось.

– Вы бы там справились, долго мне еще ждать? – произнес я нарочито сухо.

Глаза у дамы нехорошо блеснули.

– Обязательно. – Она склонилась передо мной, как Грозный перед Бекбулатовичем. – Хозяйка выйдет, сразу и справлюсь.

Снова остался в одиночестве, но несколько другой природы. Если раньше я ожидал встречи с деловым партнером, то теперь было такое чувство, что мне сейчас вынесут с кухни остатки вчерашнего обеда. «И чего дураку в первобытнообщинном не сиделось? – Вопрос прозвучал внутри черепной коробки так же членораздельно, как если бы проник туда через уши. – Собирал съедобные корешки и терпел от одной супруги. А теперь вот в шестерках обретаешься, при капиталистах». Мысль, безусловно, антиисторическая, однако человека немолодого вполне тут можно извинить.

Желание немедленно покинуть квартиру Зульфии сделалось еще более искренним. Подался вперед, чтобы оторвать наконец зад от дивана, но тут, как назло, в гостиную влетел мальчик дошкольного возраста и, недолго думая, взобрался ко мне на колени.

– Кассеты принес?

Вопрос предполагал некую историю отношений, которой не было. Пришлось начать с чистого листа:

– А ты какие любишь?

– Мультки.

На том разговор оборвался, поскольку мальчишка, перескочив с колен на диван, принялся прыгать на нем, повторяя как заводной: «Мультки, мультки, мультки». Непохоже было, что он сможет остановиться без посторонней помощи.

Хоть я и вырвал Зульфью из своего сердца, но желание узнать, чем она сейчас занята, от этого только усилилось. Ребенок тут мог оказаться весьма полезен.

– А где твоя мама? – ласково ослабившись, спросил я, обращаясь даже не к самому прыгающему дофину, а к той части пространства, которую он заполнял. Вопрос сбил мальчика с ритма. Пару раз он еще толкнулся ногами, но уже без прежней энергии. Сосредоточенность примата, очень портившая его лицо, куда-то делась, ее сменила милая детская серьезность.

– Мама спит, – произнес он благоговейнейшим шепотом. – Маму нельзя будить.

Последнее утверждение носило универсальный характер, и я был вынужден, отбросив все личное, с ним согласиться:

– Нельзя ни в коем случае.

Реплика эта мальчику не понравилась. Потому, видать, что содержала слово «нельзя», пусть за ним самим и повторенное.

– Нет, в коем! – Взгляд его сделался тяжел и неприятен. – В коем!

Я молчал.

– В коем, в коем, в коем!.. – принялся выкрикивать он, всякий раз подбрасывая себя вверх. Тут помочь мог только хороший подзатыльник, но не с моими доходами было его отвешивать.

Волны, пробежавшие по дивану после каждого прыжка, разбудили во мне сильнейшую тоску по дому. С трудом разогнул занемевшее тело, но этот паршивец дернул сзади меня за куртку, и от неожиданности я снова сел. Ребенок пришел в неопишуемый восторг:

– В коем, в коем!

Вдруг он утих, как-то чрезмерно, до слизистой оболочки вывернул нижнюю губу и отчеканил:

– Пойду к маме!

Угроза возымела действие. Приоткрылась дверь, и в щель проскользнула девушка – тоненькая, но с формами. Обильная косметика не столько красила ее в меру хорошенькое, чуть монголоидное личико, сколько придавала ему товарный вид. Одарив меня той специальной улыбкой, от которой со dna мужской души поднимается всякая муть, гувернантка перевела холодный, лучистый взгляд на мальчика.

– Тимурчик, нельзя на этот диван ногами, ты же знаешь.

Тимурчик только дернул в ответ коленкой.

Первый закон практической педагогики – не создавай линии фронта – предписывает в таких случаях ретироваться. Девушка даже и умней поступила – сделала вид, что вовсе не ходила в атаку.

– Этот диван, – одним подведенным глазом она продолжала наблюдать за мальчиком, другой перевела на меня, – нашей маме подарил партнер по бизнесу. На собственном самолете привез. Знаете откуда? Из Зимбабве.

Я испытал чувство, которое меня не посещало с момента высадки американцев на Луну: восхищение безграничностью человеческих возможностей.

– Он там целое поместье купил: дом трехэтажный, бассейн, корт, коношня – все дела. Расскажи дяде. Ну расскажи. На пони как ездил.

– Пойду к маме, – буркнул в ответ несгибаемый ребенок.

– Тимура даже на настоящую охоту брали. Тимурчик, как эти антилопы называются? Ты ж мне говорил.

Но и на сей раз склонить мальчика к сотрудничеству не удалось.

– Это вот ихняя кожа. – Она провела рукой по спинке дивана, сладострастно прихватывая обивку полированными ноготками. – Тех, что Тимур с дядей Толей набили. Да, Тимурчик? Как шелк, чувствуете? А подушки потрогайте, на них вообще кожу только из паха брали – самая нежная часть.

До чего ж все-таки писательский труд, даже поденный, делает человека впечатлительным: я невольно примерил на себя судьбу антилопы, давшей жизнь этому дивану. Вот легкими грациозными прыжками я лечу по саванне – час, другой, – копыта наливаются свинцом, а джип не знает усталости, и нет от него спасения. Роковой выстрел. Не умея убедительно сыграть агонию, воображение на какое-то время отключилось и заработало снова, когда дядя Толя уже пробовал ногтем нож, собираясь заняться разделкой туши. Даже и ужасом не назовешь то, что я испытал, наблюдая за его приготовлениями. А чего, спрашивается: ведь никак цивилизованный человек не мог приступить к этой операции до моей смерти...

Весь следующий день я прожил без будущего. Врагу такого не пожелаю. Но вечером, за ужином, в самый разгар спора, затеянного дочерью из-за какой-то маечки, оно вдруг разом вернулось ко мне. Понятно, не то фактуристое, оставленное в гостинной половчанки, а старое, одомашненное, державшее надо мной руку все последние годы вплоть до памятного звонка госпожи Хмелевской.



Дмитрий БЛОХИН

* * *

*...И величайший гений не прибавит
к тому, что мрамор сам таит в избытке, –
и это лишь рука, послушная рассудку, явит...**

Рука его, пророческой попытке
за гранью рассуждений видеть вещи
послушная, была наилегчайшей:
жест ясновидящего становился вещим.

Воистину: лишь гений величайший
удержится от власти произвола,
прибавив к этой воле послушанья
лишь жар, каким сгорел Савонарола...

Суть к Божьему кусту – огонь обожанья,
к костру – самоотдачу сухостоя,
к несчастнейшей из всех бывших Италий –
послание счастливцу из Пистойи;

к скале – смиренье молота и стали,
к словам – немую муку разуменья,
к нам – сотни лет, и всё того знаменья,
чей смысл вбирать века не перестанет.

* * *

Сегодня небо, пролетая мимо,
шепнуло, отменяя утро: спи.
Всё подо мной не так необходимо,
как кажется труду согбленных спин...

Послушавшись, проспал я на работу;
но, так как небу было недосуг
остаться и увещевать кого-то,
я все же встал, предчувствуя недуг.

Погода. Небо говорило правду:
коль есть возможность не ходить во двор,
вкушай себе домашнюю отраду
да слушай в голове давлений звон...

* Сонет Микеланджело. Перевод А. М. Эфроса.

Но с этим колоколом на плечах я
иду трудиться, присутулив стан:
– Эй, небо, мы забыли попрощаться...
– А, снова ты... Не до тебя, отстань.

Но звон в ушах удерживает небо,
со мною близорук его обзор, –
и сердится оно и даже снегом
бросает мне в лицо:
– Какой позор!

– Но, небо! Уж прости, что так навязчив –
мешаю дню твоих белесых дел...
Побудь со мной, останься здесь – стоящим,
летать ты сможешь завтра целый день...
Что делать мне с твоим ненастным звоном?
Коль нет тебя, то как мне объяснить
себе существование колоколен
и странную способность их звонить?
Коль ты – звонарь, не отлучайся с места:
ты вездесуще – не поспеть везде,
ко всем твоим трезвонам, как известно,
совсем не затруднительно тебе...
Так оставайся! Неужели нечем
тебе заняться в том числе и здесь?..

Но звон вдруг смолк... А с ним и наши речи
утихли под молчание небес.



Лариса ВАНЕЕВА

Горькое врачество

РАССКАЗЫ

МЕЧТА

Совершенно случайно, некий человек проезжает совершенно случайно! На остановку дальше, чем ему следует. Он направляется к себе на дачу, где его ждут жена, дети и мать. Так как он проехал несколько дальше, то идет другим путем и совершенно случайно видит на одной из дач, мимо которой проходит, своего брата-инженера. Вроде, как раньше, между ними что-то неприязненное. Но что именно, наш герой не помнит. Инженер приглашает его в гости. У него очень милостивая белокурая жена. Они угощают его и оставляют ночевать у себя. Ночью герой хочет выйти из дома, но что-то не пускает его. Появляется инженер и злорадно объявляет, что отныне герой – его пленник. Он сконструировал прибор, который может окружить какую-либо часть местности непроходимой невидимой стеной. (К примеру, дом.)

Герой в отчаянии. Вскоре подружился с женой, которая, по сути, тоже пленница. Проходит год. Он чуть с ума не сходит от однообразия, буйствует и бунтует. Инженер предлагает ему за послушание краткие прогулки на волю. Попытка героя отделаться от инженера на воле тщетна.

Как-то жена инженера нашла в доме билетик, выпавший из-под стенных часов: похож на билет в электричку. Она чуть с ума не сошла от радости, но, подозрительно глядя на героя, ничего ему не объяснила. Затем куда-то исчезла на час. Герой понял, что это своеобразный пропуск сквозь стену и принялся за поиски билетов.

Наконец, нашелся один. Герой прорывается сквозь стену в окне, инженер преследует его по пятам. Герой бежит к своей даче, видит на участке своих родных, из последних сил кричит: «Мама, мамочка!»

Чтобы спастись от неумолимой стены, которая притянет его к себе через несколько минут, он просит своих родных запереть его в глухой комнате, а дверь забить и забаррикадировать с наружной стороны мебелью и на любые его мольбы ни в коем случае не отпирать и не выпускать его.

Время истекло. Герой чувствует непреодолимую потребность вернуться. Его зовет, тянет, тянет, он расплывается по стенам, бьется в дверь, кричит, угрожает, умоляет родных выпустить его. Он не находит себе места. Пытается сделать подкоп, но в минуты прозрения указывает родным на место подкопа. Они окружают комнату бетонной стеной. Через маленькое окошечко подают ему еду.

По сути, герой снова становится пленником, заключенным. Стена инженера и на расстоянии вынуждает его быть пленником.

Все это снилось Юрию Петровичу Зотову в ночь на 10 июня 199...года, накануне поездки в Абрамцево на автомобиле «Рено», выделенном ему фирмой как для деловых поездок, так и для частных.

Наслаждаясь дальней дорогой, скоростью и послушливостью современного механизма, Юрий Петрович мимолетно мыслил о самом себе.

Если позволительно так сказать о разных ипостасях себя в жизни, то ни одна из ролей, в которые в последние годы был он задействован, его настоящему не удовлетворяла. Вроде как надоело быть семьянином, и мужем, и отцом (при посольских раскованных отпрысках изображая из себя даже идеал русского человека, он угрыз в разных холуйских мотивациях, выдохся как отец). Он с удовольствием вел машину, но при этом с неприязнью готовился к роли гостеприимного хозяина большой дачи, в которую он начал было с удовольствием играть, потребовавшей, однако, от него дополнительных искусственных усилий. Словом, Зинаида рычала, что он все сваливает на нее. Дачный дом, подаренный матерью после ночи на Казанском вокзале с малознакомым соседом, этим хомяком Пусиковым. Вокзальная ночь, закончившаяся аж зачем-то венчанием... Уверились в ошибочности прошлого... прошлые браки были лишь блужданием на пути к счастью... Новоиспеченная г-жа Пусикова на таком взлете даже рискнула оформить свои отношения с Богом, то есть исповедаться и приобщиться, но что-то у нее не вышло. Перед причастием разнервничалась, вышла покурить, попив заодно водицы, не веря во «все эти посты и говенья», в результате отнялась рука, когда отошла от Чаши... И надолго слегла, едва не потеряв обретенную «половинку». Именно тогда-то она догадалась отписать сыну лелеемую дачу, в испуге, что «половинка» присовокупит в случае ее кончины половину наследства, компенсируя утрату.

Выздоровев же, заявила, что церковь и иже с ней – не для нее. Дачный участок и дом привели Юрия Петровича в блаженное состояние обладания, отец запрещал даже площадку с турникетом, которую удалось соорудить только после его развода с матерью. С Зинаидой приезжали лишь на клубничные грядки, предпочитая отдых у тещи. Но не прошло и месяца с еженедельными гостеваниями многочисленных друзей, как к Юрию Петровичу вернулась знакомая затравленность... Прежняя затравленность подростка, которому нет места в доме, который никак не может жить так, как хочет, и почему-то вечно должен обслуживать других. Что с ним стряслось? Надоели все роли? Отца, мужа, гувернера, хозяина, спортсмена, добытчика, мужчины среднего роста и возраста и даже чуть ли не самого себя! Как-то, проходя мимо зеркала, он скривил рожу. И остался ею доволен. Чего-то ему остро не хватало. Как спортсмен, он разбирался в диетологии. Не поступает в организм какой-нибудь один-единственный микроэлемент, допустим. И организм перестает насыщаться.

На хозяйском «Рено» он возил подопечных в спортивный и конный клубы, на выставки, в школу, автомобиль был передан в постоянное пользование, но ему остро не хватало своего собственного. Точно такого же. Точнее, именно этого... И вот впервые он погнал на нем к себе на дачу. Он шел на максимальной скорости, которая скоро стала казаться привычной, летел неприветливый пейзаж, некоторые участки были особенно хороши – с красными закатными соснами. Движение успокаивало. Как допинг, скорость хотелось добавлять. Мимолетно он пожалел, что не стал гонщиком. Его тело обрело бы продолжение, эту капсулу. В последнее время он двигался, как робот, что на работе, что дома. Одно вот автомобильное чрево, он не мог этого не признать, вдыхает в него жизнь. Однако причем тут машина? Просто он отдает должное их цивилизации, уровню совершенства, технологическому чуду, плоду человеческого разума. Некогда его восхищали мышцы, сила, скорость реакции. Творцы научно-технического прогресса плодотворно продуцировали эти качества вне человека, как его продолжение. Промышленные рабочие их воплощают... Пользователи ими наслаждаются... Спорт лишь предтеча. Спорт, гигантские мамонты, птерозавры и птеродактили... Он резко затормозил, едва не подрезав борт какого-то доходяги, вынырнувшего из доисторической трущобы. И пропустил свой поворот. Пришлось проехать дальше, свернуть и частью лесом, частью дачными проселками возвращаться. Желая взглянуть на новые коттеджи, в которые перестраивались однотипные

домики, у него самого была такая задумка на предмет чердака, совершенно случайно он заметил на одном из участков знакомую фигуру. Двоюродный братец, длинный и тощий, как в студенческие годы, сооружал что-то наподобие мельницы, ветряка. Раньше между ними... воспоминание задело пыльным крылом, когда, мягко прикрыв дверцу автомобиля, он шел к брату с видом именинника, несущего сюрприз.

«Ну, брат! Кто старое помянет – тому глаз вон!» – вместо приветствия возгласил Юрий Петрович.

Брат сморщился, словно высасывая что-то из коренного зуба, и двинулся навстречу. Обнялись на дипломатическом расстоянии, осторожно охлопывая друг дружку по плечам.

«Классный мотор!» – кивнул брат.

Юрий Петрович счастливо согласился.

«Класс!» – Юрий Петрович проводил взглядом миловидную светлую женщину по имени Ирэн, когда та вышла на кухню. С длинной косой, словно отдельно, как змейка на выразительной спине, женщина. Юрий Петрович сразу стал коситься на эту косу, как только увидел. Такой цвет и блеск северных стран, словно песочные дюны, скалистые фиорды. Вода, ветер, солнце вымывают до белесости деревья, скалы, песок, волосы. Неизвестно, как называется этот цвет, но его сияние завораживает.

Из-за этой косы он и застрял до полуночи.

«Могу и заночевать, – согласился на искренние уговоры не покидать их так скоро. – Мои ждут меня, кстати, завтра. Неохота, признаться, рисковать.

Он изобразил, как дует в гаишную трубочку.

Ночью захотелось выйти из дома на воздух... Так она была прекрасна, в раскрытом окне, ночь, с ее уханьями-гуканьями.

«Слушай, не могу открыть». – Юрий Петрович стоял в одних трусах, босиком и почему-то дрожал мелкой дрожью. Крючок был оторван, зажат в кулаке, им он жестикулировал в качестве вещественного доказательства. Сквозь щель междукосыком и дверью зиял просвет, но дощатая дверь не поддавалась.

«Она открыта. – Двоюродный брат толчком распахнул настежь в кукующую, токующую, свиристящий, ухающий рассветный час. – Но не для всех».

И пока, остолбенев, Юрий Петрович продолжал не верить своим глазам, ведь он бился над ней, выломал крючок, пытался выбить с разбега, готов уж был раздолбать, разнести в щепу, когда на шум вышел братец, пока все это он прокручивал в голове, брат захлопнул дверь перед его носом.

«Ты мой пленник теперь».

«То есть как тебя понимать?»

«Как хошь, – зевнул брат. – Раб».

«Я тебе должен, что ли, чего?»

«Абсолютно. Эксперимент».

Они постояли, переминаясь, друг перед другом. Оба были серые в рассветный час, серые от ночи, помятые от возлияний.

«Серые волки», – мелькнуло вдруг у Юрия Петровича. Инженер стал покачивать головой, как китайский болванчик в антикварной лавке, кивая не Юрию Петровичу, а самому себе. И вышел в дверь во двор, оставив ее распахнутой. Юрий Петрович ринулся с кулаками следом, в открытом дверном проеме ему звезданули в подбородок. Он сполз на порог.

В отчаянии припоминались ему старые обиды студенческих лет. Ну да, ну да, допустим, периодами, да, были периоды, когда Зинаида собиралась именно за этого типа. Одумалась, сделала правильный выбор. «Правильный ли?» – лезли теперь несурзные мысли. Учитывая нынешнее, получается, что правильный, хотя кто его знает. Жили же душа в душу. Общие интересы были. И рухнули. То есть она-то оставалась все та же. Юрий же Петрович стал меняться. Семья французов тому была не без

причин. Юрий Петрович очень стал раздражаться на жену. Иногда она словно и подтягивалась до него, до них... становилась резковатой, подойти к ней было... лучше не подходить, тогда он снова вроде бы ее любил, добиваясь мира. Но жена, оторвавшись до полного издыхания в школе, дома расслаблялась. И приставала к нему с докучливыми вопросами-заботами. Чисто по-бабьи, по-русски. Чего он больше не терпел. Это их женская манная каша противоречила новому, внутреннему, стремящемуся к порядку и перспективе Юрию Петровичу. Решительный шаг подготавливался им. Французский становился беглым настолько, что работа синхронного переводчика с полетами по Европе и Африке и нормальная оплата труда уже не казались авантюрой. Он хотел иметь башли и образцовый порядок в семье и доме. Для чего приходилось домашних терроризировать. Обиженные переставали липнуть и не мешали действовать. Он не то чтобы рвал и топтал биосвязи, опутавшие его... ловя себя на зависти к тем, кто с юности умудрился не пускать корни, не стремился в них блаженствовать, он замечал, что, отчуждаясь, родня действительно становилась лучше. Тещу тогда было не дозваться из церкви, дети сидели за уроками, жена делала гимнастику, собака Джонка переставала путаться в ногах, бегала по саду, ловя комаров, захлопывая их огромной пастью. Все наконец-то были при деле.

«Займитесь собой!» – гаркал Юрий Петрович.

Находили, что у него портится характер:

Как что-то противоположное прежнему светлому и доброму нраву, что выработался в нем в результате деятельности его сердца, разума и подвижного характера, поднималась в нем и точно переворачивала его грубая сила, которая скрывала свою злобу, не сразу выдавая ее до поры до времени – по мере надобности, так сказать. Там, где он мог бы раньше смолчать, он теперь чувствовал эту рвущуюся в нем силу, не успев даже осознать, чего он ждет от себя и что делает, он уже делал то, на что раньше был не свойствен, что унижало его и уязвляло до глубины души. Вот вы думаете, что все с вами о кей, и вдруг замечаете в случайной витрине по дороге к метро, как нелепо, безобразно выглядите, при том вам как бы и наплевать, как теперь выглядите и как воспринимают вас окружающие, – в вас именно эта самая глубина души как бы обмельчала. И вперед самого себя Юрий Петрович уже мчался на середину комнаты и орал там что-то с пеной у рта, доказывая свое, настаивая на своем, безобразничая в чувствах, наотрез не желая считаться с теми, с кем он воевал, ненавидя их отчасти... Вот на злобной ненависти он спохватывался, соображая, что ненавидит теперь как раз тех, кого любит, и будет зело болезненно, если он выдаст себя, а они поймут и сделают соответствующие выводы. То есть отставят его только за то, что он предал их на краткий период гневного безумия, поднявшейся в нем спеси, волны, вызванной похотью, самостоятельным властным желанием жить не с ними, а с какими-то другими, пока незнакомыми, кем он заочно неосторожно увлекся. Позволить себе немного сердечного солнца, утренней радости, улыбки, произвольно возникающей на лице, едва он вообразил некий смутный таинственный образ, стоящий перед глазами в любой день и час. «Вижу тебя!» Так у каких-то народов в какой-то стране – да чуть ли не у латиноамериканцев – звучит наивное объяснение в любви.

Он стал дерганым, раздражительность усиливалась в нем вместе с рассеянностью, и в конце концов он уже ничего не соображал... Ничего не соображал логически, рационально, ум его делал какие-то всплески, фонтанчики мысли, но тут же слабосильно растекался. Довлело чистое поле, которое он не мог преодолеть и выстроить планы на будущее – грациозную легкую ажурную постройку – перспективу. Так в школе и дома в детстве его учили рисовать с перспективой, с линиями, уходящими в глубину плоского листа. На этих едва заметных карандашных штриховых линиях, потом стираемых, и располагались предметы, дома, деревья в

пространстве. Получается, что все, им некогда нарисованное, сбылось. Он это получил. Получил, что жаждал. И впереди больше ничего не рисовалось. Он не знал, о ком он мечтал. Он никогда их не видел. Были ли такие на свете? И он не представлял перспективы жизни с ними, если даже однажды их встретит.

С Ирэнной он подружился. По сути, она тоже пленница. От однообразия, буйствуя и бунтуя, он уверил себя, что эта женщина с белой косой и есть женщина из его мечты. Однажды инженер предложил за послушание краткие прогулки на волю, уверяя, что Юрий Петрович непременно вернется.

«Кому ты это говоришь? – взвился Юрий Петрович. – Я потомок стрельца Зотова, охранявшего границу государеву!»

Инженер стоял за невидимой чертой, разделявшей их, и, внимательно слушая, улыбался.

«Объяснишь ты мне когда, чертяга, для чего это все?»

Пожимая плечами, инженер вышел.

Как-то Ирэна нашла в доме билетик, выпавший из-под стенных часов: похож на билет электрички. И чуть с ума не сошла от радости. Затем куда-то исчезла на день. Юрий Петрович понял, что это своеобразный пропуск сквозь стену и принялся за поиски. Наконец нашелся один. «1 час» – стояло на нем. Выпрыгнув в окно и не найдя «Рено», Юрий Петрович помчался к себе на дачу так, будто ему кто пятки жарил. Из последних сил крича: «Мама, мамочка!», чтобы спастись от неумолимой силы, которая притянет его к себе через час, он рухнул на колени: пусть родные запрет его в глухой каморке, дверь задвинув с наружной стороны мебелью, на любые его просьбы и мольбы ни в коем случае не отпирать, не выпускать...

Бледнея, Зинаида Николаевна отступала по мере того, как он полз к ней на коленях, простирая руки, и наконец бросилась опростетью вон.

Дети тихонько хныкали.

«Допился, поганец!» – вскоре услышал он негодующий материнский глас г-жи Пусиковой, а также последующую брань, из которой стало понятно, что ее чувство к нему оскорблено, что лучше бы ей быть где-нибудь совсем в другом государстве. То есть не быть больше матерью. Чем дожить до того, чтобы видеть своего сына в белой горячке.

«Вы... меня... я вас так давно... Чуть не загнул от тоски, а вы...» – глотал рыдания Юрий Петрович.

На что получил ошарашивающую отповедь, что неделю назад говорил то же, а каков результат?

Не сразу, но до Юрия Петровича дошло. Поднявшись, стяхнув с себя песок, старческой походкой вошел он в свой дачный просторный дом, подошел к телевизору и включил программу новостей. Телегазета показывала воскресенье, 11 июня 199... года. Юрий Петрович словно стал просыхать. И высох настолько, что волосы зашевелились на темени его. От ужаса. Что, если ему это все примерещилось... в том числе змеящаяся по спине коса?.. Что, если ему примерещилась эта лунноморская ложбинка... и он уже не ступит на ее зыбь, не тронет лунносияющую скандинавскую сагу?..

«Кстати, – спросила Зинаида Николаевна обреченно. – Где «Рено»? На чем же мы поедем? Ты же обещал детям!»

Юрий Петрович лихорадочно стал мыслить. Что это все значит, а? Каков во всем этом смысл? Но никакого смысла не обнаружил, кроме бескрайней тоски, опять подкрававшейся и ощутимо поджимающей снизу сердце. Он взглянул на настенные часы, отмеривающие свои крохи. Минутная стрелка, дрогнув, уселась на двенадцати. Ровно час, как он обрел билет на свободу. Ровно на час.

«Да, серый, ты прав, – пробормотал Юрий Петрович. – Пожалуй, я пошел... Поищу.. Куда? Туда, где эта самая... Стена».

ГОРЬКОЕ ВРАЧЕСТВО

Г-жа и г-н Крутовы – как это такое с ними произошло, интересно знать, – запили два года назад, раз их дочери было почти семь, а в пять лет и раньше г-н Крутов водил дочь в детсад и ни в чем таком не был замечен. «Даже не подумаешь», – говорили о нем.

Что же касается г-жи Крутовой, то в ту, безалкогольную пору она работала нянечкой в том же детском саду и, приходя на работу, говорила подбежавшей к ней дочке: «Ну что, змеище?», чем удивляла персонал не меньше, чем своим внешним ухоженным видом. Г-жа Крутова была миниатюрной блондинкой в импортном прикиде; сестра ее работала в торговле и ее одевала.

«Ну что, змеище?» – говорила г-жа Крутова и, бывало, гналась за дочкой со шваброй и побивала.

«Как она меня позорила перед всеми!» – говорила ее сестра. Она тогда стояла за прилавком и смотрела в стекло витрины, дожидаясь, когда г-жа Крутова пройдет на работу, и краснея оттого, что чувствовала: сестра снова на работу не пройдет – спит или еще что.

В общем, тогда г-жа Крутова алкоголичкой еще не была. Это теперь они с мужем спились, спились совсем, пропили всё с дочки, даже золотой крестик; выгнали ее на улицу гулять весной в шубе, и во дворе голодную девчонку дразнили бомжихой; приводили приятелей в свой грязный, испитый, распроданный дом-квартиру.

В общем, девочку срочно увезли. Ее забрали прямо со двора в шубе под крики: «Бомжиха!» И увезли туда, где и отмыли, и причесали, и одели.

У девочки оказалось ночное недержание, хотя в детском саду она этим не страдала, но тут – стресс на протяжении двух лет. Родители за ней больше не пришли. Не приехали за полтора месяца ни разу. Они пили в своей грязной квартире, пропивая и допивая последнее, с осени не работая, а был уже конец весны. От государства им причиталось что-то на девочку. Ну им хватает.

«Хапуга!» – кричала г-жа Крутова в коридоре сестре. И ударила сестру, работавшую в торговле, ботинком по щеке. Ботинком, который та ей купила. Конечно, она сначала сняла ботинок или подобрала его в коридоре у входной двери.

Затем еще вот такой оборот – муж ее алкоголик, про которого даже не подумаешь, купил себе новые брюки! Но потом за десять дней Крутовы пропили шторы с окон и тюль, индийский или арабский тюль в больших цветах.

«А что, давай-ка и мы с тобой с окон шторы пропьем? – сказала ей ее сестра и поглядела на свои шторы снизу вверх, как собака, или будто поджигая их взглядом. – И две ковровых накидки с кресел», – добавила она.

У нее болела голова. Она не спала.

А еще оставались холодильник, шкаф, двуспальная кровать, два кресла, кухонный гарнитур. Все это надо было вывозить. Все это подарила им она, сестра.

Но самое страшное – они намеревались продать квартиру! Чтобы, перебравшись в коммуналку, иметь деньги на пропивание на некоторый период.

А потом он ее вышвырнет из этой коммуналки вон, вместе с дочкой будет ходить без кола и двора, и тогда уж они обе станут бомжихами.

«Худющая стала, грудей нет, здесь уж плоско совсем! – возмутилась сестра с великолепными полушариями тела. – Как спичка! – Тут она всхлинула: – Ударил меня ботинком по щеке! А ведь он ее еще и бьет, но так ей и надо, заразе!»

«Бьет?»

«Бьет! Колотит ее почем зря. А ведь с виду такой, что и не подумаешь, что пальцем кого тронет. Интеллигент. Книжки читает».

Так, так, так... так... так... Интеллигент и книжки читает. Колотит ее почем зря. Худющая стала, как спичка. Не закончил юрфак. Так он ведь ее выживает! Он хочет, чтобы она умерла, квартира достанется ему – квар-

тиру заработала она на лимитной стройке, и какая просторная! Просторная, десять метров кухня. Паркет. Она труженица была, как и сестра. А теперь вот спивается, погибает.

Спивает он ее. Ладно бы был мужик, а то интеллигент, книжки читает, а она кто?

«Я с ней давно не сплю. Хахали у нее есть. Полный дом».

Спивает ее, убивает!

А она к тому же – миниатюрная блондинка. Ей и нужно-то, птичке...

А он интеллигент, книжки читает. И вот же чего надумал... юрист...

Как два бомбовоза, из дальнего Петрозаводска приехали старики.

И врезали им в двери квартиры замки.

«Не имеете права, это моя квартира!»

«Мы тебе покажем, какая она твоя!» – И выгнали. И закрылись там с внучкой.

А куда же пьянь эта пойдет, где ж ночевать? А это их дело. В Москву пусть уезжают, к матери его. Он ей в прошлом году два ребра сломал, а она все его защищает: «Мой мальчик хороший!»

Мой мальчик хороший! Нарожала неизвестно от кого семерых, один в коростах на кухне спит, два вообще – тунеядцы, сестру убили, а он у нее хорош. Надо же, тварь такая, сколько она их наплодила неизвестно от кого, от разных мужиков, в квартире обои со стен висят, я так трубку даже бросила, не стала говорить! Вышла бы моя сестра за другого, и ничего бы такого не случилось.

Он красив. Красив? Да, он красив, и ничего такого не подумаешь даже о нем. Такой интеллигентный, деликатный. В детский сад он приходил за дочкой один. Никогда не было, чтобы пришли вдвоем. Да и вдвоем их я никогда даже не видала.

Из роддома малышку забирала сестра, и все детское приданое собрала она. Кормила их полтора года с ребенком, а она мне за это что? Сто-рублевый ее муж никогда больше ста не получал, а на это прожить можно? Разве это деньги? Только и делала, что сумки им возила, чтобы с голоду не померли. Или позвонишь: стулья вам купила. За стульями приезжай. За стульями или за сумками они мигом приедут, нагрузятся и пошли. А теперь, думаешь, благодарны – фиг.

Я лежу, у меня утром голова кругом пошла, плохо мне в метро стало, на работе девчонки говорят: «Что с тобой?!» Давали мне бюллетень, не взяла, я никогда болеть не любила, больная, а на работу иду. Если завтра не встану, зайду тогда, голова болит, давление поднялось. На работе мне говорят: «Можно ли с таким давлением разве на работу ходить?» Там они ко мне хорошо все относятся, они там все простые.

«Убить тебя за это мало!» – пообещала г-жа Крутова дочке за болтливый язык, когда старики приехали врезать замок в квартиру, а врезав, выгнали пьянчуг восвояся.

«В следующий раз – убью!» – приказала г-жа Крутова придержать язык и раскудахтавшейся старухе, которая водила внучку на освидетельствование к врачу, и та, слава-те, ничего не обнаружила, в смысле повреждения чистоты.

В квартире было чисто, паркет сиял. А шторы были проданы скорее всего потому, что господа Крутовы не ожидали вторичного появления предков, получив от них сумку продуктов в первый визит, так как дома было шаром покати и пенсионное материнское сердце не выдержало, хотя и затрепал кошелек, да вот дед, герой войны, инвалид контуженный, получал хорошо, что ж не покормить, не чужие, чай, словом, материнское сердце не выдержало, накормив досуговых детей от души, вслед за чем потребовалось продать кое-что из вещей, дабы продлить.

«Папка скопает огород и заработает себе на бутылку, – рассказывала потом маленькая дочь. – Папка меня еще немного любит, а мама совсем нет. Она мне сказала: «Убью»».

Старики забаррикадировались в квартире, а сестра поехала к себе, чтобы заказать машину и вывезти оставшееся, по сути, принадлежащее ей, раз она это все им купила.

Но дома молодой муж-милиционер воспрепятствовал, и у сестры заболела голова, она стала краснощекой и красивой. Она лежала в большой постели с полотенцем на лбу, которое тоже было розовое, как и она, и как постельное белье и одеяло, и, пыша жаром своего нездоровья, выпрастывала белую кустодиевскую руку и щурила некрашенные глаза, в которых стояло неподдельное горе.

Молодой муж-милиционер, аферист, по выражению бабки, и мент поганый, по выражению г-жи Крутовой, хлопотал над больной, подсовывал ей чай в большой глиняной кружке, отворачивал обертку иностранной длинной конфеты, так что шоколадные батончики глядели прямо на сестру, из обертки высунувшись, как язык или еще кое-что. Он весь был нацелен на розово-белую сестру, как эти конфеты.

А аферистом его называли потому, что все думали, что он хочет сестру обобрать и сумками таскает прод кты в свое старое гнездо к своим малолетним сыновьям.

А то, что сестра была красивой, этого почему-то никто в толк не брал. Так всем не хотелось, чтобы она вышла замуж, тем перестав на них горбатиться.

Тут выходила история, неоднократно описанная в произведениях и в фильмах неоднократно. Когда клан восстает на того, кто раньше их всех кормил, а теперь позволил себе индивидуальное счастье. В таких случаях клан становится дружным жалящим роем. На некоторое время.

На сестру кричала не только г-жа Крутова, но и приехавшая мать, и собственная ее дочь, «принцесса», директор валютного магазина, двадцатичетырехлетняя особа, пахнувшая французскими духами, от которой девочка приходила тоже всегда благоухая и очень веселая.

Эта валютная директриса была по молодости своей весела и жила с хахалем, который тоже пытался учить уму-разуму ее мать, то есть сестру г-жи Крутовой, сопляк эдакий...

А вместе они у себя устраивали разные шабаши и собирались менять жилье матери на квартиру в Москве с доплатой.

И мать, то есть сестра г-жи Крутовой, попускаявшая всегда всем всё, теперь с трепетом ожидала, чем завершится обмен, так как не была в курсе подробностей и не знала, меняет ли ее дочь обе комнаты или только одну.

А если обе, то вполне возможно, что сестра вместе с двупальной кроватью и молодым милиционером выедет на улицу прямо под цветущую черемуху к радости соседа, которого недавно арестовал милиционер, придя домой и найдя свою супругу побитой.

«Сначала сосед мне заехал по голове, а потом та башмаком по щеке, неудивительно, что теперь болит голова».

Один день у сестры было низкое давление, на другой, на работе, высоко подскочило, а на третий снова упало ниже некуда, отчего сестра была холодна телом, и только щеки пунцовели и были горячи, и ей от того, что ее побили, теперь тоже было себя жалко, и она тоже теперь плакала о г-же Крутовой из-за того, что и ту всегда били: сначала она, а потом уж та заехала ей по щеке.

Замучаешься с ними, с избытком плодов земных... Я говорю: постарался садик в этом году. Д-да-а...

Когда заскрипела калитка и послышались двойные голоса, один детский, а другой – пожилой женщины с молодым голосом, некто подошел к окну: по дорожке шла тонюсенькая девчушка лет шести в красной курточке с капюшончиком и в резиновых сапожках. Черные волосики выбива-

лись из-под капюшона, обрамляя бледное нежное личико. И голосок был такой славный, тоненький, нежный, и шла она так легко и вместе с тем осторожно, деликатно по дорожке через сад к дому, что некто подумал: где это удалось раздобыть такую славную маленькую незнакомку?

Ушла пожилая женщина в церковь ко всенощной, а вернулась раньше. И с такой добычей? И явно была обрадована. И никого за ними следом.

Так и есть. Она девочку раздобыла!

Мать ее завила. Отец тоже. Девочку она знала по прежним годам, когда летом работала воспитательницей в детском саду. Родственница девочки встретила ее на улице. Она и направлялась с племянницей в ее сторону, чтобы попросить посидеть с ней.

Пожилая женщина с молодым голосом взяла девочку за руку и пошла с ней в церковь. Там она дала ей свечку. Девочка была недавно крещеной, церковь помнила и все же страшно заробела. Со свечкой она подошла к Божией матери, по наущению пожилой женщины с молодым голосом – помолиться, чтобы папа и мама излечились от пьянства.

Девочка была страшно напугана в церкви и едва сдержалась, чтобы не зареветь.

Но всё же папу с мамой было жалче, и девочка отважилась попросить о них Божию Матерь.

«Поживет у нас неопределенное время, пока в семье уладится обстановка». – Пожилая женщина с молодым голосом была горда, будто действительно произошло что-то удивительное, редкостное и девочка теперь принадлежит ей.

Будто она ее похитила!

У тети девочки муж молодой, милиционер, и девочка ему мешает, предупредил: или она, или я.

«Поживем – увидим», – сказала неопределенно вечером, во время просмотра телесериала, в героях фильма девочка хорошо разбиралась, показалось, что она даже умеет читать по-английски.

«Модистка!» – воскликнула девочка, когда на экране возникла надпись MODISKA, и ее острые коленки подпрыгнули.

Пришел с улицы пожилой человек с ясным умом и, издалека узрев ребенка, не раздеваясь, прошагал к диванам.

«Это кто у нас?» – склонившись, чтобы различить в полумраке малыша, прищурился он сквозь очки.

«Да это так, одних знакомых», – неопределенно ответила пожилая женщина с молодым голосом, немного заволновавшись.

«А-а, – протянул пожилой человек с ясным умом. – Надолго?»

«Поживем – увидим...»

Пожилой человек с ясным умом ушел в прихожую, а девочку ветром сдуло с дивана ему вслед.

«Дедушка! Здравствуй!» – встала она перед ним радостная, тоненькая и высоконькая.

«А откуда ты знаешь, что я дедушка? Может быть, я разбойник?» – прогремывал пожилой человек с ясным умом ласково, разматывая шарф.

Девочку ветром сдуло на несколько метров, от него подальше, в кухню за обеденный стол, за который она и спряталась, выглядывая с лавки.

«То-то же, – удовлетворенно сказал пожилой человек с ясным умом. – А то: дедушка! дедушка! А я на самом деле разбойник».

Пожилые люди были четой учителей. Своих детей они уже обучили, и, будучи взрослыми, родителей те навещали по праздникам. Валютная «принцесса» тоже училась у них, ясное дело. Сестра часто кучителям дочки забегала, то «лосося» в банках по низкой цене, то окороков, ветчинки, каких в магазинах не лежит, то просто так забежит – посидит, чаю попьет, поплачет, все расскажет, сама себе даст клятвенное обещание нико-

му больше ничем не помогать, пусть сами живут как хотят, хоть сдохнут, и, выпустив пар, хлопоты об окружающих возобновляла.

Случались и с четой размолвки.

«Сколько я им перетаскала, а они!»

Но вот уж «принцесса» давно отучилась, а сестра через улицу что ни день забегала, то в халатике да шлепанцах, то в наряде, пожилую учительницу величая по-родственному: «Мам, а мам!»

Учительскому псу она таскала объедки из общепита, где теперь работала; учительской кошке лакомые косточки оттуда же; трем курочкам кашку, подмешивая сырого пшеница.

Время наступило голодноватое, вот и устроилась ближе к еде, уйдя из магазина, в котором теперь вещей много было импортных и из-под прилавка торговать не с руки.

И кормила опять вот сколько народу: во-первых, племянницу, которая жила у нее, несмотря на то, что постоянно протестовал милиционер, во-вторых, милиционера и его детей, через которых кормилась и их машина со своим родителем, в-третьих, этих господ, когда те доходили и сердце не выдерживало, в-четвертых, «принцесса» совершила обмен, и в нижнюю комнату – а квартира у сестры размещалась в двух этажах деревянного дома среди сочной зелени лип, берез, кустов и травы – въехали два тихих алкоголика – родные братцы, за изрядную сумму взамен их столичной квартиры выселенные на природу.

Какие-то мафиози квартирные повадились их в столице регулярно истреблять, чтобы однажды нашли их мертвыми, так что им повезло на выселках пожить еще какое-то время в живых, наслаждаясь природой.

Они были тихими, эти два брата-алкоголика, то есть пили втихаря, закрывшись у себя с книжками и телевизором, не скандаля на улицах, но угроза от них все-таки шла. Такие они себе на уме были, эти братцы. Тихонечко пропивая и есть ничего не едя, так как на еду денег им было жалко, кормились с рук щедрой сестры, которая не могла терпеть, как мужики заживо истлевают. Поужинав сама, она остатки сносила вниз, кои безропотно принимались.

И, уж конечно, помогала своим старикам-петрозаводчанам и родителям своего милиционера, регулярно им посылая. Потому как в столовой доставала по цене значительно ниже, выбрав поближе «к этим», которые «тебя и за человека-то не считают», и которые «все эти законы-то и издают».

После церкви, спустя три часа после службы, пожилая женщина с молодым голосом обрушилась на девочку за то, что та побила ракеткой пса, за то, что пес утащил мяч.

Злой голос, злой и раздраженный, который она не в силах была скрыть или изменить. Раздражение неуправляемое, раздражение усталой женщины, изливающееся на окружающих.

Молодым голосом пожилая учительница кричала, что это дорогая вещь. И что-то еще! И что-то еще...

Некто почуствовал себя так несчастно, будто разрушался мир в божественной своей ипостаси, безобразно падал, кувыркаясь, рассыпаясь.

Хождение в церковь утром, когда остальные спали, было бальзамом по сердцу, маслом по морю, надеждою, плавником дельфинным, выталкиванием из воды.

Срыв. Распад мира.

Хотя так же поют птицы, так же светит солнце. Обломки, острые края, опасные лезвия в воздухе. Раны от них как залечивать, как восстанавливать, преобразовать?

Пожилой человек с ясным умом жил своей жизнью внутри семьи. Когда крик усиливался, он отделялся бытом. Тогда крик стихал и наступало затишье.

Некто так не мог.

«Что вы хотите от меня? – молодым голосом возмущалась пожилая женщина. – Я же сорок лет в школе!»

Так что, в принципе, ее можно было понять.

Но девочка сбежала.

Она вылезла из окна по ту сторону дома, незаметно выскользнула из сада, планку штакетника отодвинув, как стрелку часов.

Краснощечкой королевной сестра в очередной криз отъехала на карете «скорой помощи», и девочка жила у четы учителей.

И сбежала.

Пришлось «принцессе» звонить. Смеркалось, и куда она сбежала? Где она, интересно знать! Вот ведь шалава какая, вся в мать!

Трубку поднял ее нелегал, за которого «принцесса» не выходила, но и уйти никакой возможности – пока сам не отпустит.

Нелегал знал. Он тут всех клиентов знал. У него киоск винно-водочный стоял. Он остановился возле одного дома, с виду как все. Заглушил мотор.

«Где-и-и-и?» – пропел, войдя и, не дожидаясь, сразу ударил. Так что во второй дом он уже дверь пнул каблуком.

Девочка на кухне стояла.

«Дядь Лёнь!» – счастливо бросилась к нему целоваться.

Она умная была, эта девочка, ученая жизнью.

«Я тебя очень люблю», – иногда шептала на ушко она практически всем.

Дядя Лёня, стряхнув малолетку, замахнулся кожаным локтем: «Ты!» – И старая пьяная баба в тренировочных штанах влетела в кухонный шкаф. Дядя Леня шагнул куда-то дальше и вниз. В большой комнате молью замелькали тени. Приглушенный вопль. Г-жа Крутова, вся бело-серая, лежала в кровати. Г-жа Крутова ничего не соображала. Она только бессвязно замычала, она даже не чувствовала, настолько была не трезва. Одной лапшей сгреб ее дядя Леня, другой молотил, будто выбивалкой для ковра. Г-жа Крутова моталась, как пальто на вешалке. Девочка стояла в дверях.

«Еще сбежишь?»

«Не-ка», – пообещала она.

Ходят теперь на могилку к блаженной Матроне обе сестры. Г-жа Крутова в голос рыдает, придя к учительнице, что опять сорвалась, так держалась и опять запила!

«Но ничего, ничего, милочка, это уже хорошо, что ты плачешь. Два ты месяца сумела продержаться? Да! В следующий раз три продержишься. И вот так, потихоньку, не без срывов...»

Г-жа Крутова с некоторых пор теперь вдова. Как ее г-н погиб, юрист его знает.

Всё блаженная матушка помогает, только не могут часто ходить – а ходили б! – но уж слишком дорого на всё, на цветы...

И в храме, там храм такой замечательный, такой священник, говорит с г-жой Крутовой, гладит ее по головке: ничего, ничего, Господь поможет...

А тут женщина подошла: «Вы за то, что батюшка с вами разговаривает, должны ему в ручку положить».

Вот искушение... Опять огорчается некто.

Любимец

ИЗМЫШЛЕНИЕ

— Я слышал об отце твоём.
— Он раб твой, и я раб твой.

— Встань и повтори, как зовут тебя. Когда дух от Бога бывает на мне, то плохо разбираю в тоске своей слова человеческие.

Юноша медленно, как учил отец и как подобает, оторвал лоб от пропахшего пылью войлочного пола. Потом осторожно поднялся на ноги. Он был рослый, жилистый, загорелый до черноты, как всякий пастух; на груди длинный белый шрам; ноги с панцирными ногтями и каменными пятками. Убрал с расчесанного из-за вшей лба грязные, спутанные космы. Взгляд почтительно потуплен, но тверд.

В шатре стоял душливый полумрак. Царь лежал на львиной шкуре, покрывавшей ложе, опираясь правым локтем на парчовую подушку. Справа и слева от него стояли на закопченных треногах плоские жаровни с тлеющими углями. В них тихо дымились палочки ароматического дерева. Благовонные пары скапливались под потолком шатра, как безумие под черепом одержимого.

— Имя мое Эхананан. Я пришел сразиться с НИМ.

Царь был бледен и выглядел изможденным, почти старым, хотя по числу лет своих мог считаться лишь в начале зрелости. Глаза светились тускло, губы искривляла улыбка спесивого недоверия.

— Он велик. Он возвышается на голову над любим из моих людей.

Эхананан одним движением поднял с пола свою большую, как два винных меха, дорожную суму. Поднял безымянным пальцем, самым слабым из всех, и легко протянул перед собой.

— Здесь ефа сушеных зерен и десять хлебов, их я отдам братьям, что теперь при твоём войске. И еще здесь десять сыров, их я отдам тысяченачальнику, так велел отец. Я могу так держать суму эту до заката. Одним пальцем.

Царь устало покосился на молчаливого бородача Авенира, главного над войском Израиля. Седая приземистая башня в кожаных латах промолчала, только косматые брови сошлись на переносице да руки сложились на груди, глухо звякнув медными налокотниками.

Решив, что приведенного доказательства силы недостаточно, Эхананан бросил сумку на пол и, подхватив руками свою пастушескую палку, выставил ее перед собой. На его обнаженном торсе выпукло прорисовались эластичные мышцы, они переливались вдоль своей длины.

— Когда лев утаскивает овцу от стада, я всегда догоняю его и отнимаю овцу от его пасты. А если он нападает на меня, я беру его одной рукой за гриву, а другой вырываю ему горло. Без всякого ножа.

Царь и военачальник вновь переглянулись. Царь закрыл глаза и медленно откинулся всем телом на подушки, так что его голова оказалась рядом с мертвой львиной. Злой дух от Бога встал на нем, и это было видно. Военачальник мрачно вздохнул.

Эхананан вернул пастушескую палку в вертикальное положение и растерянно вытер пот с широкого лба. Голос его сделался менее уверенным.

– И, когда медведь утаскивает овцу, я и медведя догоняю и убиваю.

– Ты пастух? – чуть слышно спросил лежащий.

– Я раб твой.

– Ты услышал, что победителю ЕГО я отдаю в жены свою дочь Мелхолу, и потому пришел?

– Я слышал о дочери твоей, но больше слышал о поношении и поругании Израиля и решил придти.

– Ты пастух? – все не открывая глаз, опять спросил царь.

Эхананан смущенно покосился на военачальника, тот кивнул головой, мол: отвечай.

– Пастух и раб твой.

– Может, ты еще что-нибудь принес, кроме хлебов и сыров, в своей сумке?

– Там только хлебы и сыры. И сухие зерна. И моя пастушеская свирель.

– Свирель? Все-таки есть и свирель. Сыграй мне на ней.

Авенир повторил приказ жестом – играй.

Сбитый с толку этой просьбой Эхананан пожал плечами, развязал узел на суме и, порывшись, извлек на свет камышовую дудочку. Постучал по мозолистой ладони, вытряхивая хлебные крошки.

– Я жду.

Поняв, что царь не шутит, Эхананан приблизил камышину к губам, и она издала протяжный и чуть скулящий звук, как будто в ней ожил голод шакала. Перебирая пальцами по вырезанным отверстиям, молодой пастух сначала возвысил добытый звук, потом возвысил еще и тут же направил вниз. Так делал раз за разом до пяти раз.

– Хватит, – сказал царь, открывая подернутые влагой затаенного отчаяния глаза, – уж больно проста твоя музыка.

Какое-то время он молчал, глядя в невидимый из-за испарений потолок.

– Может быть, не твоя это вина, а камыша.

Авенир, подчиняясь незаметному жесту господина, подал Эхананану большую критскую кифару, сделанную из рогов кедронского оленя, украшенную лазуритом и серебром. Пастух пробежался пальцами по струнам, они отозвались слишком вразнобой.

– Не умеешь взять музыку от нее?

– Нет, господин, я и вижу такую впервые.

– Тогда должен знать, что и первейшие мастера игры на кифаре, которых мне удалось сыскать в Фимне, Цере, Вифсамисе, Лакхисе, Анаве, уклонились от встречи с НИМ. Убоялись ЕГО великого искусства.

Пастух недоуменно повел головой.

– Другое я представлял себе дело здесь – прекратить поношение рокаднейное Израиля. Что мне в кифарной игре?!

Вновь опустив веки, царь продолжил, словно и не услышал возгласа собеседника.

– Оставим струны. Может статься, твоя сила в голосе?

– Моя сила – ловкие руки, быстрые ноги, меткий глаз!

Авенир поднял руку, Эхананан остановился, а царь продолжил:

– Все пастухи поют по ночам. Кто овцам, кто звездам. Спой теперь мне.

Молодой пастух посмотрел на угрюмого военачальника – больше смотреть было не на кого. Он пытался определить, не смеются ли над ним. Нет, над ним никто не смеялся. Надо было петь. Эхананан запел. Просил Господа сохранить его малое стадо от волчьих зубов и от холодного ночного ветра, просил, чтобы ручей не пересох и снег не пошел в этом году.

Песня была длинная, мотив варварский, голос хрипловатый. Выходило нехорошо. Пастух сам остановился, почувствовав, что уже надо остановиться.

Помолчав, царь сказал:

– Песня от простого сердца. При моем войске были лучшие храмовые псалмопевцы. Они услаждали мой слух и возвышали мой дух, и я считал себя властителем красоты слушая их, и видел Израиль воистину избранным перед всеми племенами. Я велел им пойти к НЕМУ и показать себя. Они отказались, сказали, что не смеют и боятся, что они никто перед НИМ.

– Что мне красота речений! Одно верно знаю – необрезанный не может возводить клевету на воинство Бога Живого.

Царь вдруг быстро сел на ложе, опершись ладонью о львиную голову.

– Но, может, ты пророк-прозорливец? Может, имеешь наущение от Бога, и выйдешь перед необрезанным, и смутишь ЕГО!

– Молод я и пастух. Как же мне прозреть и пророчествовать? Не в моих то силах.

– Когда бы только не в твоих! – с болезненным сарказмом в голосе воскликнул царь. – Нет пророка в моем войске. Я звал Самуила, он не пришел и не откликнулся. Если Самуил боится выйти перед НИМ, как же Саул может победить! ОН высылает, и уже сорок дней, возвестить над всей долиной и над всем войском, что Израиль беззвучен, бессловесен и беспросветен. И где же здесь клевета?!

Услышав эти слова, Эхананан подумал, что царь бредит, сидя в густом благоуханном настое, и всё утопает в этом бреде. И светильники, и длиннородый безмолвный Авенир, и он сам, пастух с палкою.

– Бог оставил меня и оставил Израиль за грехи наши.

– Не слова лишь одни – все эти слова?

– Ни один из моих воинов, пятидесятиначальников не поднимет копья, видя, что дух Израиля повержен красотой и мудростью необрезанного. Израиль юн, горяч, слеп, дик – и погибнет. Филистимлянин древен, спокоен, возвышен, красив – и пребудет.

– Но слышал я, что истукан Дагона пал ниц перед Ковчегом Завета, хотя бы и пленным.

Царь застонал.

– Тогда Бог был с Израилем. Необрезанные думали, что Ковчег в их руках, а он прочно был в руках Божиих. И, даже пленив Ковчег, они сомневались: а не поклониться ли ему? Теперь все не так. Наше войско велико, а мои воины меж собою говорят, что теперь они не рабы Божии, а рабы лишь Сауловы. А Саул – власть не от Бога, потому немощен духом. Не поклониться ли тому, кто воистину силен?

И царь медленно повалился на спину.

– Позволь мне выйти против НЕГО.

Саул не успел ответить, как в шатре появился, отвалив матерчатую занавесь и впустив внутрь клубы пыльного света, молодой мужчина в боевом облачении. Кожаный панцирь его был покрыт серебряными пластинами в виде рыбок, в рукояти меча тускло блеснули драгоценные камни, на голове широкий золотой обруч со священными драконами. Облачение было богатое, но на фигуре вошедшего смотрелось неподобающе, как будто надел он его нехотя. Между тем это был царский сын Ионафан. Не обращая внимания на босоногого пастуха, он наклонился к отцу и начал шептать что-то яростное, быстро шевеля тонкими губами. Такое было впечатление, что слова он вливает прямо в ухо сухой львиной головы, и та в ответ оскаливается.

Саул проговорил убитым голосом:

– Я этого боялся, это и случилось.

Ионафан скорбно кивнул.

Царь обхватил голову руками, что-то бесшумно причитая.

Авенир взял Эхананана за локоть и направил к выходу, давая понять, что теперь царь занят и у него нет времени на праздные разговоры.

– Отправляйся домой.

Поклонившись и подхватив суму, молодой пастух вышел из шатра. Остановился, на мгновение ослепленный сиянием утра, вдохнул чистый прохладный воздух и залюбовался величественной картиной, открывшейся перед глазами. Войско Бога Живого и войско филистимское занимали вершины двух обширных пологих холмов, образуя как бы два спящих муравейника. Меж холмами располагалась небольшая долина, покрытая нежной, свежей травой. Посреди долины росло всего лишь одно дерево – старая, чуть наклоненная смоковница. В сочной тени дерева стоял белый полотняный шатер, с синим овальным пятном входной занавеси. Это было ЕГО жилище. И рядом не было никакой охраны. Поблизости поблескивала в траве только большая алмазная булавка – изгиб родникового ручья.

Эхананан долго смотрел в сторону шатра и дерева, надеясь разглядеть хозяина его, но тот не появлялся. Молодой пастух пошел разыскивать братьев. И отыскал их скоро. Они спали под одним войлочным пологом у погасшего костра, от холодных углей его еще шел запах горелого бараньего жира. Элиав, Аминадав и Самма. Когда Эхананан разбудил их, они не обрадовались. Даже вид отцовских гостинцев не рассеял их пасмурности. Может быть, им всем приснился дурной сон. Младший брат не стал спрашивать об их сне, он сразу спросил о НЕМ.

Элиав, рассматривая куски разломанной хлебны, недовольно вздохнул. Аминадав упрекнул младшего брата в легкомыслии. Самма добавил, что тут не одно лишь легкомыслие, но и греховное любопытство.

– В чем же вы видите одно и другое?

– Ты захотел потешить себя необычным зрелищем, оттого и вызвался доставить посылку от отца. Горе Израиля – для тебя развлечение – вот в чем грех, – объяснили братья, лениво жуя.

– Не наблюдать только, но сразиться с НИМ пришел я.

– Сразиться? Ты с НИМ? Каким же образом? – удивились братья и даже перестали есть.

Вокруг на звук разговора стали собираться любопытные. Люди на войне без дела всегда скучают и рады случаю развлечься.

– Да, сразиться! И я прошу вас, братья, дать мне оружие и панцирь.

– Ты обезумел и не знаешь, что говоришь! – сказали Элиав, Аминадав и Самма, уже не насмешливо, а раздраженно.

– Я выйду против НЕГО и убью ЕГО.

Братья молча переглянулись, пряча неприятные ухмылки в бородах. Старший из братьев, Элиав, сказал:

– Ладно, возьми тогда вон там мой щит и меч рядом с ним тоже возьми.

– А там, видишь, лежит мой панцирь из медной чешуи, бери, – сказал Аминадав.

– Можешь взять мое копье и поножи, – последним из братьев сказал Самма.

– Шлем не забудь. Наплечники возьми, мои возьми. Смотри, какая перевязь для ножен! – со смехом предлагали столпившиеся воины. Элиав, Аминадав и Самма хмурились, им казалось, что младший брат позорит их. Они хотели отделить себя от него, и смеялись над ним вместе с чужими.

Эхананан смущенно глядел на гору собранного оружия. По молодости лет никогда ему еще не приходилось облачаться для битвы по всем правилам. Братья и прочие помогли ему, находя много развлечения себе при виде его неловкости и неопытности.

На голоса явился Авенир, такой живой шум давно уже был редкостью в лагере Израиля. Военачальник едва узнал пастуха под воинским облачением и спросил, для чего он затеял такое.

– Я хочу с НИМ сразиться и должен сразиться.

Мудрый Авенир, воин опытнейший, спросил у него тогда:

– Зачем же тебе оружие, если ты хочешь выйти против НЕГО?

Эхананан уже привык немного к странным словам в царском шатре, не сбился с толку и ответил быстро:

– Говорят повсюду, что у НЕГО броня весом в пять тысяч сиклей меди, и щит в три тысячи сиклей, и копьё тоже в тысячу сиклей. Как же мне выйти против него безоружным?

Ответил пастуху Ионафан. Он вышел из царского шатра вслед Авениру и слышал весь разговор. Ответил с усталой и бескровной ухмылкой на брезгливых губах:

– Слух про то, что броня ЕГО весит пять тысяч сиклей, а щит в три тысячи и копьё тяжелое, правильный. Но если рассудить слух этот на старый лад, ничего не поймешь. Уразумел?

Эхананан помотал головой, великоватый шлем съехал ему на лоб, отчего вид у воина сделался глуповатый. Все снова засмеялись. Ионафан переждал, пока смеялись, потом объяснил:

– Сикль – это наша мера, а у необрезанных филистимлян мера другая – талант. Пять тысяч сиклей, и три тысячи и тысяча – это три ТАЛАНТА, коими ОН обладает. Но это не золото, не серебро и не медь. Он владеет словом, он владеет музыкой, он владеет даром предвиденья. И каждый талант велик. У нас нет слов, чтобы их объяснить, и тогда мы их как бы взвесили. Отсюда и пошли рассказы про его баснословное вооружение. Ты понял меня, пастух? Понял, что тебе нельзя выйти против такого человека? Тебя ждет позор, и это будет новый позор Израиля.

По мере того как Ионафан говорил, Элиав, Аминадав и Самма снимали с младшего брата воинские доспехи. И вот он снова в чем пришел. Крепкий, загорелый, грязный и непреклонный.

– Но с нами Бог Живой!

Царский сын нахмурился. Он хотел сказать: почему же ни в чем не сказывается то, что Бог с нами? Он хотел сказать это, но вовремя сообразил, что ему не к лицу такие речи. Негоже наследнику сомневаться в предназначенном наследстве. Негоже спрашивать, где же он, про Бога. Бог пребывает всегда. Ионафан отвернулся и пошел к царскому шатру. Это выглядело так, будто он разочаровался в пастухе, не желает более тратить на него слов. И все, кто стоял рядом, именно так и подумали. Эхананан же, наоборот, почувствовал, что он победил в этот момент царского сына.

– Теперь же и пойду к НЕМУ и убью ЕГО, – твердо сказал он.

В ответ он услышал даже не презрительный смех, а оскорбительные возгласы. Этот пастух-выскочка очень злил бывалых воинов. Эта злость не испугала Эхананана и не смутила. Она успокоила его. Он посмотрел исподлобья на тех, кто стоял вокруг него плотным кольцом. Рты отверсты, руки воздеты. Были слышны крики, но не было слышно слов. Нельзя было понять, проклинаят они его или приветствуют. Не одно ли это и то же, подумал он и удивился, что так подумал. А потом сразу же пошел на человеческую стену. И люди расступились, не переставая при этом кричать. Толпа некоторое время следовала за Эханананом, редая и вытягиваясь клином вниз по склону холма. Наконец клин этот остановился, от остря отделилась одна капля и покатила дальше. Гольный по пояс юноша с пастушеской палкой в руке.

Во вражеском лагере его тоже заметили. Филистимляне выбежали во множестве за ограду лагеря и расположились на своем склоне, как на трибуне.

Эхананан не оглядывался и не поднимал глаз, он смотрел на шатер в тени дерева. Он шел не прямо на него, он брал чуть левее, но делал это не от нерешительности. Он давал ЕМУ возможность услышать шум Израи-

ля и филистимлян. Эхананан хотел, чтобы поединок был честным и открытым. На глазах у всех.

Ступая по мягкой, юной травке, он вышел на берег ручья, рассекавшего дно долины.

Белый шатер молчал, но было ясно, что он не пуст. Эхананан остановился шагах в двадцати от него. Край солнца выплыл над смоковницей, и свет хлынул в лицо пастуха. Шум левого и правого холма стих, только голос струящейся воды у левой ноги был слышен теперь.

Шатер безмолвствовал, но Эхананан понимал, что выкликать никого не надо. Там, в шатре, известно, что противник явился.

Солнце уже по пояс высвободилось из древесной кроны и теперь уже не только слепило, но и обжигало.

Эхананан встал на одно колено и наклонился над водой, собираясь напиться и освежить чело. И в этот момент услышал, как холм слева от него и холм справа вздохнули. Пастух скосил взгляд и увидел в проеме шатра ЕГО. Пот кипел у юноши в бровях и натекал в глаза, отчего фигура противника была искаженной и сверкающей. Эхананан опустил руку на дно ручья и взял со дна камень величиной с крупный лимон. И медленно выпрямился во весь рост. Хозяин шатра не пошевелился. Пот по-прежнему заливал глаза Эхананану, но он все же смог несколько яснее рассмотреть ЕГО. Это был высокий, но не громадный мужчина средних лет, с волосами до плеч и черной бородой, уложенной кольцами по сирийской моде. Облачен он был в белый хитон, на запястьях горели браслеты. И ОН улыбался. И дружелюбно, и с превосходством. Эхананан почувствовал, что человек этот хорош и светел. Но вместо того, чтобы шагнуть ЕМУ навстречу и поприветствовать, пастух изо всех сил сжал в ладони камень, добытый с ручейного дна.

И тут в воздухе разлился цветочный мед и Эхананан почувствовал приятный холод на щеках и немного в душе. Это ОН сказал:

– Меня зовут Голиаф. Ты утолил жажду тела, юноша, войди ко мне, и я утолю жажду души твоей.

Эхананан вытер пот рукою, но видеть лучше не стал.

– Подойди же ко мне.

И тут пастух понял, что уже начал подчиняться этому голосу и скоро подчинится совсем.

– Что же стоишь, приблизься!

Эхананан остался на месте.

– Я не буду тебе петь, я не буду тебе играть.

Эхананан не шевельнулся.

– Я предскажу тебе, кем ты станешь.

– Я стану тем, кто победит тебя.

Хозяин шатра тихо засмеялся.

– Ты знаешь слишком мало. Войди в мой шатер и узнаешь такое, о чем даже и помышлять не мог.

– Если я убью тебя, этого будет довольно.

– Если ты убьешь меня, ты вечно будешь мучить себя вопросом: зачем я не выслушал его? Что ты теряешь, войди в шатер. И потом, как же ты убьешь меня, разве палкой? Но ведь я же не собака.

– А вот как! – Эхананан одним движением распоясался, и у него в руках образовалась праща. Он вложил в нее камень из ручья и стремительно раскрутил. Сладкоголосый хозяин протянул в испуге руку, было видно, что он быстро говорит. Но пастух, не дожидаясь, когда он договорит, выстрелил. Камень попал точно в лоб чернородому, и он сразу же рухнул на спину, продолжая говорить. Эхананан подбежал к нему и склонился над телом, встав на одно колено.

– Царь иудейский, ты Царь иудейский, – шептали губы.

На горе филистимлян началась паника. Те из необрезанных, кто пошел близко к шатру, начали карабкаться вверх по склону к ограде свое-

го лагеря. Напротив, воины Саула широкой, возбужденной толпой неслись вниз по своему склону, размахивая оружием.

– Ты Царь иудейский, – шептали губы лежащего, хотя сам он был беспомощен.

Пастух озабоченно огляделся, ощупал тело и обнаружил на поясе борозда под благоуханными греческими одеждами обыкновенный сирийский обоудоострый меч. Он был невелик, никак не тянул на три тысячи сиклей по весу, но для задуманного дела годился. Эхананан вытащил клинок из ножен, взял бредящую голову за волосы и несколькими ударами отсек ее. Ионафан, возглавлявший воинов Израиля, бегущих с горы, был уже совсем рядом. Пастух не хотел, чтобы царский сын слышал слова, которые говорит голова.

Эхананан поднял отрубленную голову и показал Ионафану и своим братьям, толпившимся в первых рядах.

– Теперь никто не скажет, что ОН на голову выше любого из воинов Израиля.

Саул ждал Эхананана возле шатра. Тот медленно поднимался по горе, неся в вытянутой руке, уже почти не кровоточащую голову. Ионафан шел рядом с пастухом, но все чувствовали, что он все же на шаг отстает от него.

Царь сказал, когда процессия остановилась и приветственные крики стихли:

– Ты победил Голиафа, как и обещал. Отныне ты будешь называться не Эхананан, но Давид, что значит – любимец!

Приветственные крики вспыхнули с новой силой.



Конькобег. Гармонист

Короковым годам XIX века установилось некоторое правило (ему следовали в первую очередь москвичи, что странно): считать Карамзина более мифотворцем, сочинителем, нежели историком и беспристрастным наблюдателем. Касалось это в первую очередь самой «Истории...» Карамзина, во вторую – его европейских наблюдений, свода «Писем русского путешественника», появившихся в «Московском журнале» после поездки автора в Европу (1789–1790). Нужно сказать, критика в адрес «Писем» совершалась скорее по инерции, главной мишенью оставалась «История»; тем более что путевые заметки Николая Михайловича к тому времени вышли из моды (теперь они забыты почти совершенно). Время их широкой популярности уложилось в первую треть века.

Возможно, миф был тогда потребен больше истории, или сама она еще не утвердила для себя жесткие рамки, – требования ее были пластичны. Так или иначе, но до тридцатых годов XIX века путевые заметки Русского путешественника сохраняли силу документа.

Тогда же «Письма» были переведены¹ – на те языки, которые наблюдал, с которыми столкнулся Русский путешественник в своем одиссеевом странствии, в примерку которых следовал затем в своем творчестве. Он признавал сам, что пустился в Европу «за кистями и красками» и зеркалом, чтобы писать собственный портрет и картину отечества с о и м языком, и потому ему было необходимо освоить опыт художников и писателей в тех краях, где язык уже совершил опыт самообозрения. (Можно вспомнить письма Ломоносова из Марбурга, о правилах российского стихотворства. Только в пределах, уже довольно разграфленных, им был провиден чертеж собственного слова, каркас силлабо-тонический.)

Встреча языков оказалась плодотворна, но последовало неизбежное: эпоха сочинений и эскизов миновала. Поверх первых живых впечатлений наложились во множестве заметки других в Европу визитеров, написанные куда более охлажденно и осмысленно, потому хотя бы, что собственная наша проза (которой Николай Михайлович дал в свое время порядочное ускорение) к тому моменту уже вполне укрепилась, освоила задачу рефлексии внешней и внутренней. Путевые заметки «мифотворца» потеряли документальную актуальность.

Но мог ли потерять значение слово-устроительный опыт «Писем»? Представляется, нет, потому уже, что современный русский язык тогда, собственно, и составлялся. Карамзин попутно творил язык, на котором писал. Да, используя дорожные небывлицы и анекдоты, смеясь и пародифуя или повторяя всерьез Стерна. Язык «запомнил» ту пластику, укоренил в своей грамматике и смысловой конструкции правила движения и рефлексии, удержания словом дорожных впечатлений. Метафора приучена была собирать, нести и передавать читателю объективную информацию. Возможно, в случае с «Письмами» эти упражнения сохраняли род игры, сочинение (или редакторская правка) брало верх над фактом, что и составило в итоге указанный миф. Но миф творился честно: перво-письмо Карамзина сопровождалось поминутно откровениями, которые нам и не снились. Куда? Мы теперь завернуты с головой в бумагу, на которой он выписывал первые слова. А он был как будто гол, сидючи наедине с этой чистой бумагой.

¹ В начале XIX века «Письма» дважды были переведены на немецкий язык; были опубликованы на польском (1802), английском (1803) и французском (1815) языках.

Были и задачи сокровенные; Карамзин проявил себя в двадцать три года исследователем метафизических глубин (или так сказался редактор, Карамзин-куда-более-старший?). Во всяком случае, он оставил нам несколько ключей для отворения своего «почтового ящика»; письма его обнаруживают свойства полифонии, пространства умноженного – по ним самим не один маршрут может и должен быть проложен.

I. ЧАЯНИЕ ЧЕРТЕЖА

1. Карамзин отправляется за границу в мае 1789 года², возвращается обратно в сентябре 1790-го. Свод писем у него в руках. Перед публикацией он собирает основательно их редактировать, но в итоге как будто не решается, говорит: чтобы не повредить живости впечатления. Тем не менее «Письма» обнаруживают последовательность его путевых умозаключений, которая не представляется случайной. Его странствия при всей их *пестроты и неровностях слога* подчинены последовательному сюжету. Сюжет проследил редактор.

Собирая заметки в книгу, он преследует цель сокровенную. Ее толкуют различно; к примеру, пишут о паломничестве *масона* Карамзина, идущего по пути, проложенному его московским знакомым (поэтом, в одну с ним ложу входящим) Якобом Ленцем. В этом случае центром путевой композиции стало бы достижение Рейхенбахского водопада и молитва у его подножия. Весьма вероятно, вся композиция строится по вертикали. Впрочем, и на вершине Карамзин остается художником: «Тщетно воображение мое ищет сравнения, подобия, образа! ... Рейн и Рейхенбах, великолепные явления, величественные чудеса природы! В молчании удивляться будет вам всякий, имеющий чувство; но кто может изобразить вас кистью или словами?»

При желании можно проследить политический фон поездки; по нему иная пишется картина, где центральной фигурой для наблюдений становится революция во Франции. Никакие умолчания, никакие растворения в ландшафте не могут заслонить революции (мы еще рассмотрим эпизод с бурей, внезапно накрывшей путешественника под Лейпцигом в чистом поле *14 июля 1789 года*). И тогда Париж превращается в Мекку и предел странствия, однако многословные его описания не оставляют такого впечатления; Карамзин в нем не паломник и даже не художник – зритель. Также и революция – зрелище, которое разыгрывает сотая часть народа, остальные – зевачи.

Сам Николай Михайлович от этих толкований, как может, отстраняется.

Он заявляет задачу филологическую: возведение здания нового языка по образцу тех стран, где это строительство уже закончено, и потому более всего *алчет увидеть великих писателей, чьи сочинения пробудили в нем первые движения души.*

Это не отменяет других задач: все должно включить в словоустроительный миф, матрицу, первочертеж языка.

На то и направлена редакция, переосмысление постфактум. Упомянутый Якоб Ленц, поэт, один из представителей «Sturm und Drang»³ («Бури и натиска»), в самом деле отправляет Карамзина в паломничество к водопадам Рейхенбах и Триммербах, у которых он сам того ранее молился. Родом Ленц был из Дерпта, города на краю русской польны, оттуда его занесло (затянуло) в Москву. Судьба его здесь была печальна.

² Первое письмо он отправляет из Твери в Москву 18 мая; постоянные его корреспонденты – супруги Плещеевы. Формально пунктом старта Русского путешественника считается Тверь, но, несомненно, исходной точкой странствия (скорее центром тяжести, к которому стремятся, куда адресовано, куда течет письмо) является Москва.

³ Карамзин был знаком и с другими представителями «Бури и натиска» (большая часть заочно: переводил Лессинга, «Эмилию Галотти»), однако, по мнению исследователей (Г.П. Макогоненко и др.), в целом относился к ним настороженно. Не бури он искал у немцев.

Ленц является в «Письмах» под именем *несчастливого Л.* Это свидетельство позднейшей обработки писем: Карамзин только задним числом мог помянуть Ленца *несчастливым* – зимой 1792 года, когда Карамзин, уже вернувшись из Европы, готовил свои письма к изданию, Ленц погиб: его нашли на московской улице замерзшим.

Несчастный Л.! Оледенение поэта теперь представляется Николаю Михайловичу знаком более важным, нежели те, что слали водопады, символы поднебесья, с которыми Якоб знакомил его перед поездкой. Более того, теперь его гибель выглядит отчего-то логичною – теперь, когда путешествие замкнуло свой собственный смысловой круг.

2. Еще один исправленный портрет. Знаменитый Лафатер, с которым он переписывался, сидя в Москве над переводами, мудрец из мудрецов, при внимательном рассмотрении оказывается более филантропом, нежели философом. Русский путешественник, восходивший к Лафатеру в Альпы точно на вершину мира, разочарован, однако находит в себе силы посмеяться над собой. Шутя Карамзин присягает физиогномике, метоскопии, науке, читающей прошлое и будущее человека по морщинам на его лбу, и подоскопии (неужели от *пода, подошвы?*), дисциплине, различающей характер человека по рисунку его ступни. Последнее может оказаться весьма важно для пешехода, перескакающего Европу с севера на юг.

Почему-то Карамзин представляет, что спускается в Европу с севера, чуть ли не с самого полюса. Сходит вниз и одновременно поднимается вверх – к высшему знанию.

Немцев начитался, посмотрелся карт: в своем движении Николай Михайлович следит за метафизической траекторией. И после возвращения он исправляет ее – он наполовину «бумажный» путешественник, и потому путь его двойится.

3. То же и с политикой. Карамзин отстраняется от революции – на бумаге, в программе, и вместе с тем на деле спешно движется в вольные области, овеяны идеей свободы и не дает себе успокоиться, пока не докапится до самого края свободного и разумного мира (каковым пределом оказывается не Париж, но Лондон, однако тянет как магнит все-таки Париж). Настолько ясно прочертится в его пути западный вектор, такими туманными покажутся нелады с паспортом на границе с Францией и пространные рассуждения о дружеском долге (никак не мог отпустить одного своего дорожного знакомого), что все нагромождение причин *не ехать в Париж* покажется – опять-таки задним числом – камуфляжем. Он желал попасть и попал в Париж, где *не только дышат, но живут*.

Нет, программе он не изменил, не изменил и свободе, теперь необходимо добиться третьего, что сложнее всего: *слово* о свободе должно войти в новый его словарь.

Поместить *свободу* в слово: задача самая сложная – предмет безразмерен и подвижен. Это автор «Писем» ощутил уже на подступах к Европе, в Дерпте и далее. Перед ним мешаются языки и самые пространства; сто дорог ганзейских отверсты разом. Московия провожает Карамзина в Нарве ломаной кибиткой и скверными лошадьми. «Лишь только отъехали с полверсты, сломалась ось: кибитка упала в грязь и я с нею»...

Но «есть всему предел; волна, ударившись о берег, назад возвращается...».

Волна отпрянула на восток, оставив путешественника на европейском берегу. Здесь все иное, в прусскую фуру (и дорожные снаряды новы: перед нами как будто вагон электрички без рессор) набились эстляндцы, лифляндцы, немцы, шведы, итальянец, парижский купец со своею дамой, офицеры и магистр и сам К. – пространство олицетворенное. Это – свобода?

<...жены моряков едут в Гданьск, куда после полугодового плавания пристают, наконец, их мужья. Студенты из Литвы едут в Польшу, студенты из Польши возвращаются домой. Жены рассказывают, как живут по полгода с мужьями – но без денег: моряки стоят в очереди в агентстве; потом живут полгода с деньгами – но без мужей. Встречая мужей где-нибудь в Амстердаме, Мурманске или Гданьске, куда на два-три дня заходят их корабли, они готовы спус-

тить все заработанные деньги на радостях в барах ресторанов: «Иди оно все в звезду!».>⁴

Свобода как связанный мыслью космос. О звездах: Карамзин минует Фрауенберг – *здесь жил и умер Коперник*.

Свобода как космос языков; при въезде и выезде во всяком прусском городе каждый должен записать на таможене свое имя – пишут кто во что горазд: Люцифер, Мамон, Авраам (при въезде), Исаак (при выезде). Карамзин отказывается играть в такую игру, попутчики пишут за него: Баракоменевеверус с горы Араратской, Аристид, из Афин изгнанный, Альцибиад, стремящийся в Персию, и наконец доктор Панглос.

Панглос – Всеслов. Его он «выдумал» уже в Москве, вернувшись из похода, поставивши себе задачу: обнять мир словом.

4. Задача была поставлена много раньше. Карамзин пустился в странствие задолго до поездки реальной, еще в Москве, сидя за переводами – не только с немецкого (начинал в 1783-м с гесснеровой «Деревянной ноги»), но и с французского, и с английского: здесь Карамзин выделяет Ричардсона и Филдинга. Однако более других ему близок Стерн: позже в «Письмах» он не таясь снимет кальку с «Сентиментального путешествия». Прототипом самому Русскому путешественнику станет Йорик, главный герой Стерна, праправнук шекспировой шута, – его Карамзин вспоминает ежеминутно. Йорик задает тон в оценках, легком настроении поездки.

Потому на Русском путешественнике бумажные очки: прежде странствия явного Карамзин едет через библиотечную полку. Собственно, и далее, выбравшись на волю, он всегда готов спрятаться в книгу. Вот смысл рассуждения его о Лейпцигской книжной ярмарке: *она одна может заменить всю Европу: сиди, читай и не двинься с места до скончания века*.

К чему эти бумажные шоры? Ответ (подсказка, не знаю, верная или нет) обнаружен у Гессе. Недавно я разбирал книги у матери; среди них оказался принесенный подругой в больницу «Степной волк». Роман не читан с интитута; тогда, помнится, он весьма был популярен. Сел, начал было листать и вдруг на первой (третьей, пятой) странице обнаружил список книг героя, Гарри Галлера. Вот она, книжная полка *европейца на закате* (Гессе в двадцатые годы был увлечен Шпенглером). Первое же название остановило взгляд.

«Путешествие Софии из Мемеля в Саксонию», о шести тома, эпистолярный роман лютеранского пастора Иоганна Тимотеуса Гермеса (1738–1821). Совпадение, исторически и географически буквально: Карамзин проезжал тем же маршрутом, что и София, в те же годы. Мемель – нынешняя Клайпеда, Саксония – Саксония.

Сначала совпадение показалось мне случайным: чего только не встретишь созвучного поливалентным «Письмам» Карамзина? Но затем простая формула сама себя обнаружила. Карамзин вместе с Софией двигался в Европу – в поисках обнадёживающей, укрепляющей слово и дух системы; Степной Волк, Гарри Галлер, Г.Г., рвался вон из нее, ломал систему, искал выхода из тесни цивилизации на просторы дохристианские, дионисийские.

Гессе чертит маршрут бегства: Европа для него удержана в рамках классического века немецкой словесности (зимой 1925 года он работает в университетской библиотеке Базеля над составлением антологии «Классический век немецкого духа. 1750–1850»). Он расставляет книги классиков на полке, точно опорные точки движения.

Фрагментарный роман Фридриха фон Гарденберга⁵ «Генрих фон Офтердинген» (прочитать эту фразу громко, вслух – смысл уносится с громом вагон-

⁴ Из эссе «Гданьск – Симеиз» московского писателя и публициста Юрия Нечипоренко. В Гданьске он побывал в нынешнем, 2002 году. См. далее выдержки из его эссе, часть V, «Где Гданьск?»

⁵ Фридрих фон Гарденберг (Новалис) (1772–1801), немецкий поэт и философ, представитель йенского кружка романтиков; см. часть III, его «Eislauf» («Конькобег») в переводе и с комментариями Алексея Прокопьева.

ным). Здесь же Рихтер, Лессинг, Якоби и иные имена, прямо совпадающие с подорожной запиской Карамзина.

Беглецы Карамзин и Галлер следуют по одной дороге, только в разных направлениях. Притом пути (цивилизации, ветхой культуры) на Волке слабеют, Русский путешественник готов чертить их сам на себе, готов надеть костюм бумажный.

Они отражены зеркально.

5. Зеркало, важнейший символ, мы еще не раз к нему вернемся. Карамзин отправляется в Европу за зеркалом для самообозрения, чтобы через будущее – в устрояемости языка утверждённое! – сходство добиться единения с Европой.

Пока, до старта, путеводительное стекло ему явлено в зеркале набора книжной страницы.

Стало быть, пока – и далее, в пути, до завершения строительной работы – сам юный путешественник (волчонок?), равно как и его язык, нетверд и зыбок. Душевно обнажен, доверчив, исполнен всех страстей, которые прячет, порой неискусно, за сказками, притчами и прозрачными эвфемизмами. Заглядывается на дев, бежит от них – и прячется в бумагу. Такова изнанка его сентиментализма.

<То и дело лезет целоваться, ко всем, даже к швейцарской невесте в виду жениха. Пересказывает историю о славном графе, ушедшем в Крестовый поход (еще один путь из Европы вовне с мечом-крестом координат в руке), где войско гибнет, но графа спасает дочь восточного владыки. Далее, забыв о кресте и укрепляющих душу (стальных?) координатах, граф вступает с ней в любовную связь и с нею же возвращается домой безмятежно, где ждет его верная жена. При этом жена (где Сад, где Ланкло?) не только прощает графу его азиатку, но к ним присоединяется третьей, и в этом противоестественном союзе они блаженствуют до самой смерти. Памятник им Путешественник ставит в церкви (!), не скрывая слез умиления.

Плачет поминутно. Сразу после графа – опять сквозь слезы – рассказ о монахе и монашке, которые окаменели, не успев согрешить. А полная чувств попутчица в экипаже с головою, прыгающей на его плече? А «нимфы» из Пале Рояля? И всякий раз Путешественник поспешно оборачивает свою страсть в бумагу, в рассказ, в гладкий текст – спасается словом. Метафоры при том подбирает аптекарские: *симпатические слезы в глазах ея*. Ну что это? Нимфы! Книгу ему вместо клетки. Он и рвется – в книгу.>

Сентименталист обнажен или двоятся, но стремится по-прежнему преодолеть это двоеение (плодотворное, анимирующее в необходимой степени его бумажного двойника), преодолеть в искомой идеальной схеме. Ищет в зеркале героя.

6. С очевидной симпатией Карамзин пишет о Клейсте⁶; в его портрете столько восхищения и добрых карикатур (на себя же, на своих), столько подложено смысла, что стоит привести весь отрывок целиком.

«В 1759 году, в жарком сражении при Куммерсдорфе, командовал он батальоном и взял три (русские. – А.Б.) батареи. У правой руки отстрелили у него два пальца, он взял шпагу в левую. Пулю прострелили ему левое плечо; он взял шпагу опять в правую руку. В самую ту минуту, как храбрый Клейст уже готов был лезть на четвертую батарею, картеча раздробила ему правую ногу... Наехали казаки, раздели Клейста и бросили в болото. Кто не подвигнется тому, что он сию минуту смеялся от всего сердца над странною физиогномиею и хватками одного казака, который снимал с него платье? Наконец от слабости заснул он так покойно, как бы в палатке. Ночью нашли его наши гусары, вытащили на сухое место, положили близ огня на солому и закрыли плащом. Один из них хотел всунуть ему в руку несколько талеров, но как он не принял сего подарка, то гусар с досадою бросил деньги на плещи и ускакал с своими товарищами. Поутру увидел Клейст нашего офицера, барона Бульдберга, и сказал ему свое имя, барон тотчас

⁶ Эвальд Христиан Клейст (1715–1759), немецкий поэт и философ, автор поэмы «Весна» (1738).

отправил его во Франкфурт. Там перевязали ему раны, и он спокойно разговаривал с философом Баумгартеном, некоторыми учеными и нашими офицерами, которые посещали его. Через несколько дней умер Клейст с твердостью стоического философа. Все наши офицеры присутствовали на его погребении. Один из них, видя, что на гробе у него не было шпаги, положил свою, сказав: «У такого храброго офицера должна быть шпага и в могиле».

<Были еще Клейсты; кто склеивал нас, кто бомбил. Энциклопедия отмечает Эвальда фон Клейста (1881–1954), генерала-фельдмаршала гитлеровской армии. В Великую Отечественную он командовал танковыми армиями в Польше, во Франции, на Балканах, на советско-германском фронте. Воевал на Северном Кавказе и Южной Украине. Был пленен, осужден советским военным трибуналом и умер в заключении.>

Шпага – стальная нить, за нее держатся близнецы-братья (как говорят масоны) по обе стороны границы (взаимно отражающего стекла). Шпага, тем более та, что кладут в могилу, – ось несущая для ее носителя. Как орудие для защиты жизни, тем более убийства (перемычка, связь из стали между бытием и небытием), шпага обладала характеристиками мистическими и использовалась постоянно (к примеру, при произнесении клятвы: пальцы касаются стали).

Связь вечная, дружеская, обнадеживающая, связь в слове Карамзиным успешно обнаружена. (О Христиане Клейсте пишет в 1932 году Осип Мандельштам: «Есть между нами похвала без лести / И дружба есть в упор, без фарисейства, / Поучимся ж серьезности и чести / У стихотворца Христиана Клейста...»).

Шпаги, точно стропы, поднимали калечных философов из болота.

Карамзин крепко держится за эти стропы, собираясь в дальний путь. Он смотрит вовне, едет вовне для того, чтобы прояснить внутренний взор и после того *по образу* переделать самое себя.

Цитата из Лафатера, которую, отправляясь в путь, он готов заявить всякому встречному (на границе со случайным попутчиком это вызовет спор, да такой, что сломается карета): «Глаз, по своему образованию, не может смотреть на себя без зеркала. Мы получаем понятие о себе исключительно при содействии других предметов. Чувство бытия, личность, душа – все это существует единственно потому, что существует вне нас».

Германия для Русского путешественника есть наилучшее, до блеска отполированное зеркало, в коем он стремится различить Россию. Несомненно, и язык немецкий, что должным образом темперирован, проникнут искомою системой, может послужить (служит, и успешно, еще со времен Ломоносова) примером для разумного устройства русского языка.

Германия Николаю Михайловичу представляется Аркадией – Северной.

Тем же зеркалом для Германии, как и всей Европы, была собственно Аркадия, античная Греция. Связи и стропы и зеркало, опрокидывающее в прошлое, сличающее и сливающее с прошлым, европейцы искали в античности. Искали золотого века, творя о нем свой миф.

II. ЛЕСА И ЛЕД

7. Алексей Прокопьев, живущий в Москве поэт, переводчик с немецкого, говорит о *лесах* – конструкциях (здесь – поэтических размерах), необходимых всякому языку на пороге нового века. Новый век – девятнадцатый; в Европе зачинается революция. Грядут потрясения, но уже задолго до того поэты начинают крепить свой дом (язык), в коем предстоит укрыться от ветра времени. Так заявляет себя классицизм; старт его в этом контексте связывают с уходом Баха (1750).

Мы еще вернемся к Баху, здесь же в качестве манифестанта нового стиля выступает Фридрих Клопшток⁷.

⁷ Клопшток Фридрих Готтлиб (1724–1803), немецкий поэт эпохи Просвещения.

<Фридрих Клопшток; любитель верховой езды и бега на коньках. Стал знаменит в 24 года, когда были опубликованы три песни из его эпоса «Мессиада» («Messias»). Тут же поэта стали называть (не совсем обоснованно) немецким Мильтоном. *Клопшток в 1747 году объявляет себя «Учеником греков»* (так называется одно из первых его стихотворений). Отчасти этим можно объяснить то обстоятельство, что за всю свою жизнь он не написал ни одного рифмованного стиха. Трагедии и до Клопштока писали без рифм. Но Клопшток перенес это правило и на лирику. В те времена это было новостью. И требовало более жестких конструкций от стиха, нежели привитая (к тому времени уже столетие как!) благодаря Опицу и Векерлину силлабо-тоника. – *Алексей Прокопьев.*>

Карамзин в «Письмах» поминает Клопштока постоянно.

8. Еще одна причина для общеевропейской рефлексии, вздохов по Аркадии: успехи археологов, открытие Помпеи связывают времена новейшие и античные. Историк Гиббон с его «Историей упадка и разрушения Римской империи» делается популярнейшим из авторов. Все черпают себе примеры в истории уже завершившейся, конец ее каждый толкует на свой лад, монархисты и тираноубийцы.

Но всем одинаково виден – мраморный остов, сохранившийся, преодолевший время.

Вот они – леса, конструкции прозрачные и ясные, проникнутые светом от основания до вершины. То же и в языке, античные размеры и ритмы возвращаются, встраиваются – и одновременно перестраивают современные (Карамзину и Лафатеру) языки.

Немцы весь век этим заняты.

При этом Алексей отмечает последовательность: сначала видится *временная* необходимость новых-старых конструкций в деле систематизации языка, внесения в его роение ясной структуры.

На время перестройки, реформы языка он должен внешними обрасти лесами.

Но затем – после того как язык делается укреплен и просвещен, проникнут светом простого понимания – выясняется, что эти внешние и будто бы чуждые леса становятся его собственным скелетом, неотъемлемой частью организма.

Это очень по-немецки.

Алексей Прокопьев (сам немец, сам переводчик, сам поэт) полагает необходимость в этой приобретенно-неотъемлемой конструкции, как потребность почти физическую.

В путешествии по языку, в языке, за языком эта потребность оборачивается вопросом о *транспортном средстве*. О грамматике дорожного снаряда.

<Это существенный акцент. Предшествующая (г-ну Клопштоку) эпоха подарила Европе точный расчет пространства – в движении. Исчисления Лейбница и Ньютона (последний в 1704 году опубликовал «Трактат о квадратуре кривых») разрешили задачу удержания цифрой всего пространственно-временного континуума; но для того, чтобы «квадрат покорил круг», он должен был прийти в движение, описать круг, вращаясь. Идеи о времени, расчет бесконечно малых его частиц совершили переворот в сознании европейцев; механика начала победоносное шествие во всякой ипостаси, в том числе музыкальной, в том числе грамматической. На этом фоне вопрос о «конструкции» языка становился не столько вопросом о его архитектуре, сколько о его механизме, средствах движения. >

Кстати, первый вопрос Алексея после предложения Путевого Журнала о русско-немецком (дорожном) диалоге был следующий:

На чем подем?

И далее он продолжил так: *исследуя мир как текст, занимаясь географикой, не следует забывать и о том, благодаря чему ты вообще не стоишь на месте. Хотя бы*

внутри одного предложения. Не говоря уже о попытке анализа. Взгляд на предмет может сильно измениться, если, допустим, с линкора пересядешь в рыбачий баркас. Или с русского крейсера в китайскую джонку.

Тут понадобится механик, и просвещенный. Русскому путешественнику, что приближается с востока к равнорасчерченным немецким пределам, поэт Алексей Прокопьев выводит навстречу доктора F.

Алексей ПРОКОПЬЕВ

КТО ТАКОЙ ДОКТОР F?

О докторе F. можно говорить только апофатически. Пойдем от обратного.

D-r F. – не доктор Фрейд, не доктор Фауст и тем более не доктор Фаустус...

D-r F. – фокусник, но не в смысле совершения магических действий с их последующим разоблачением, а в оптическом смысле.

Его странствия – это наведение резкости, когда снимающий фото колдует над фокусом. В стране поэтики – не обойтись без оптики.

Современные автоматические игрушки лишают человека маленькой радости вращать объектив, когда он видит сквозь прицел то приближающихся к нему, но тающих в осеннем влажном воздухе друзей, то их же, но удаляющихся, как Эвридика в квадратике под прищелчком незримого Гермеса.

Оптические средства, которыми пользуется D-r F., защищены авторскими правами.

Повторим: D-r F. не фотографирует – он только наводит на резкость.

D-r F. – один из врачей (там был еще D-r D.), присутствовавших на месмерическом опыте с умирающим господином Вальдемаром, о чем столь живо и красочно поведал нам Эдгар По⁸.

Симпатично, что господин По взял для этого героя немецкое имя. «Раздумывая, где бы найти подходящий объект для такого опыта, я вспомнил о своем приятеле мистере Эрнесте Вальдемаре, известном составителе «Bibliotheca Forensica» и авторе (под псевдонимом Иссахаара Маркса) польских переводов «Валленштейна» и «Гаргантюа».

Кто этот персонаж, Эрнест Вальдемар? Из рассказа нам ясно только, что жил в Гарлеме (во времена По это место было пригородом Нью-Йорка) с 1839 года без каких-либо родных польский немец, зачем-то взявший себе псевдоеврейский псевдоним.

Опыт гипноза на переводчице с немецкого и французского, находящемся в состоянии предсмертной агонии, проводит якобы сам господин По. Опыт с «коллективным» европейцем, живущим в Америке без всяких корней.

Повторим: там был и D-r F. – конечно же, немец. Хотя и обрусевший.

D-r F. любит наводить фокус русской словесности на немецкую литературу. И не только немецкую.

⁸ Эдгар По. «Правда о том, что случилось с мистером Вальдемаром». Рассказ о том, как с помощью месмерических пассов мистер По семь месяцев удерживал между жизнью и смертью не просто умирающего, но, по сути, умершего мистера Вальдемара. Окончание опыта было ужасно: едва чары были сняты, мистер Вальдемар мгновенно пришел в состояние, которое и положено умершему спустя полгода после кончины. – А.Б.

D-r F. не имеет ничего общего с австралийским врачом Филиппом Нитшке по прозвищу Доктор Смерть, который открывает в Мельбурне очередную клинику, где будет осуществляться этаназия.

Равным образом D-r F. не имеет никакого отношения к доктору Фридриху Ницше (или ожившему в нем Эрнесту Вальдемару).

А может быть, D-r F. каким-то образом связан с доктором Гаше?

«Нет, ни одно имя к нему не пристало – просто за ним не успело; ясно то, что доктор, сортирующий исчезающие малые (перед шелчком аппарата) отрезки времени непременно на границе (жизни и смерти; русско-немецкой), сведущ и в работе механизма слово-устроительного, того и довольно. Мы сами следим за путешествующим, пересекающим границу за границей *переводчиком*. – А.Б.»

9. Попробуем решить первую загадку. D-r F., что поджидает нас у шлагбаума при въезде в Европу, спрашивает: как хитроумный грамматик Эдгар По семь месяцев удерживал жизнь, как будто завершенную? Но здесь как будто и заключен ответ. *Грамматически*. Он удерживал время *в фокусе слова*. Слово само стало каркасом – теми лесами, что на время превратились в скелет аморфного, оплывающего тела. И едва отзвучало это верное, сквозь время прошедшее, время покорившее слово, как мгновенно разрушилось тело бедного переводчика. Вот что увидел «наводитель резкости», мастер поэтики и оптики D-r F. в квартире на окраине Нью-Йорка.

10. Здесь можно предложить другое толкование произошедшего в Гарлеме, одновременно отвлеченное, метафорическое и максимально материальное. Слово было не скелет, но кристалл. Слово было – *лед*.

В самом деле, лед подошел бы в опыте с удержанием *в форме* тела умирающего; но это то самое максимально материальное и даже циничное прочтение ситуации, от которого следует немедленно отказаться.

Но вот метафора: «лед» как кристаллическая структура, здесь – языка. Грамматика «леденит» подвижный, льющийся водою язык своими правилами, выравнивая страницу, как зеркало катка. Такой лед не столько сковывает слово, сколько оформляет его для последующего бега (отметим эту *воду*, мы еще вернемся к ней).

И теперь спрашивает поэт, переводчик с немецкого на русский, с «ледяного на водный» – *на чем поедет?*

И сам отвечает: *Сегодня мы помчимся – на коньках. На «крыльях для ног», «крыльях из стали», «крыльях, подаренных Гермесом-Меркурием».*

«В который раз встречаем мы Гермеса. Вспомним: первый, пастор, был проводником Софии из Мемеля в Саксонию (в романе Гессе, кстати, прячется еще и *Гермина*, танцовщица из ресторана «Черный орел», проводница Гарри Галлера из Европы на волло); второй в Аид провожал Эвридику. Теперь перед нами небесный конькобежец, *быстрейший*, проникающий время. Образ, подходящий эпохе: классицизм связывает времена. Гермес-посольный (послание герметично) дарует своим адептам-северянам переделанные сандалии, коньки, – средство передвижения в просвете между стихиями воздуха и воды (по льду). Дар Гермеса символизирует вооруженность не только ног, но и головы. Сталь режет лед, сталь покоряет время. – А.Б.»

11. Вслед загадке – урок Русскому путешественнику⁹, подошедшему вплотную к границе с миром иным: зеркало перед ним, сияющая плоскость льда.

⁹ Увы, содержание урока ныне прочно забыто. Вот эпизод. Вопрос Интернет-курса среди средних школ Новосибирска «Мир без границ»:

Вводная часть: *Дань этому виду спорта отдавали не только знаменитые немецкие поэты и писатели – Гете, Клопшток, Гердер, Лессинг, но и известные педагоги – Герхард Ульрих*

Он ищет правил для слов, слов в движении. Пусть посмотрит, как слово, «упакованное в сталь», скользит по странице. Посмотрим и послушаем, как действуют, как режут лед коньки. Даже не знающий языка (латинскую транскрипцию представляют себе все) увидит и услышит в первой же строке *бег льдин и блики*; и раньше того, в самом названии – *Eislauf* – свист разворота в первом слоге и осыпание морозной пыли во втором.

III. NOVALIS

Der Eislauf

Blühender Jüngling, dem noch Kraft im Beine,
Der nicht Kalte, als deutscher Jüngling scheuet,
Komme mit zur blendenden Eisbahn, welche
Glatt wie ein Spiegel.

Schnalle die Flügel an vom Stahle, welche
Hermes jetzt dir geliehn, durchschneide fröhlich
Hand in Hand die schimmernde Bahn und singe
Muntere Lieder.

Aber, o Jüngling, hüte dich für Löchern,
Welche Nymphen sich brachen, nahe ihnen
Ja nicht schnell im Lauf, du findest sonst den
Tod im Vergnügen.

Wenn sich die schwarze Nacht herunter senket
Und das blinkende Kleid der Himmel anzieht,
Leuchtet uns der freundliche Mond zu unserm
Eiligen Laufe.

Конькобег

Перевод Алексея Прокотьева

Отрок цветущий, в ногах – мощь и правда,
Немцу – тебе – мороз ведь отнюдь не страшен,
Ждет каток нас, бьющий в глаза, слепящий
Зеркалом гладким.

Фит и Йоганн Кристоф Фридрих Гутс-Мутс. Они считали этот вид спорта важнейшим элементом физической культуры. В изданной в 1793 году (отметим дату!) «Гимнастике для молодежи» Гутс-Мутс писал, что не знает «более замечательного упражнения».

Вопрос: Назовите этот вид спорта.

На этот вопрос, к сожалению, не было правильного ответа. Правильный ответ: *бег на коньках*.

И дополнение: В своем эссе «Пятидесятилетний мужчина» Гете писал, что бег на коньках имеет определенное преимущество перед другими видами спорта: необходимое в нем усилие не слишком горячит человека, а его длительность не мучает. Конькобежец становится гибче, ощущает прилив новых сил. И в то же время это является превосходным отдыхом. Современники свидетельствуют, что поэт весьма лихо исполнял на льду довольно сложные танцевальные па.

Еще о целительных свойствах коньков. Клопшток советовал больному другу: «От легкой хворобы ты можешь вылечиться только коньками. Самый лучший рецепт – три часа на коньках до обеда и два – после». – *Алексей Прокотьев*.

Крылья из стали надень, дал на время
Их Меркурий тебе, и взрежь в веселье –
Руки вместе – сверкающий путь – горлана
Бодрые песни.

Дыр лишь остерегайся, отрок милый, –
Нимфы прорубили их – приближайся
Шагом к ним умеренным, или примешь
Смерть в наслажденьи.

Если ночь к нам черная снизойдет, то
Небо выйдет в мантии – в искрах, в блестках,
Месяц станет, как друг, светить – предадимся
Быстрому бегу.¹⁰

КОММЕНТАРИИ D-г F.

О размере

Стихотворение написано античным размером, сапфической строфой, с короткой последней строкой. В трех одиннадцатисложниках, как в греческом театре, происходит какое-то действие, но в последней выходит хор и, как ему и положено, говорит о главном.

Поэтому: приглядимся и прислушаемся к тому, о чем вещает хор греческой трагедии.

Пробежимся вместе с цветущим немецким юношей по коротким четвертым строчкам:

(1) Зеркалом гладким: *Это он говорит о катке, каковой по-немецки Die Eisbahn – ледовый путь.*

¹⁰ «Конькобег» Новалиса во много раз стремительнее одного у Клопштока. Одноименная ода Клопштока разворачивается неспешно:

Слишком часто имя изобретателей, (первооткрывателей) лежит словно бы по-ребенное в вечной Ночи. Мы используем то, что в раздумьях открыл их ум; Но честь (открытия) вознаградит ли их?

Кто смог бы назвать тебе имя смельчака, который первым натянул парус на мачту? Но, увы, разве слава не миновала даже того, кто изобрел крылья для ног?..

Когда-нибудь мое имя станет бессмертным!

Я для скользящей стали еще придумаю танец...

О, юноша, который умеет вложить душу в котурны для передвижения по воде и танцует летя...

И так – на протяжении 15 четверостиший.

Однако многословный, торжественный, хотя и захватывающий гимн этому виду передвижения заканчивается недвусмысленным предостережением. Так и видишь грозящий пальчик – из незримых волн, из таинственных источников подо льдом течет Смерть. *Как эти (опавшие) листья, легко заскользишь ты туда (соскользнешь, поскользнешься), о юноша, провалишься и погибнешь!*

Новалис тоже предостерегает, но предостережение его куда энергичнее и метафизика конкретнее.

Новалис – поэт раннего романтизма. А романтизм впоследствии отказывается от тяжелых конструкций, не отказываясь, впрочем, от античного наследства, а скорее присвоив к нему открытия средневековья (в том числе лирику трубадуров, которым жесткие стихотворные формы были также к лицу), вернувшись к рифме, к большей ясности и просветленности стиха. Размеры становятся более гладкими, более удобными для читателя – коньки начинают скользить! В стихотворении «Конькобег», правда, все еще вокруг поэтического слова стоят античные леса, но они уже воспринимаются, как органичные ему. Там, где Клопштоку нужно 15 четверостиший, Новалис обходится четырьмя. – *Алексей Прокопьев.*

Первая строфа посвящена зрению и осязанию. Мы ослеплены. Ослеплены великолепием зрелища. (Dr. F.: Величайшее, изысканнейшее из наслаждений – временная потеря зрения. Закрывать глаза – чтобы увидеть...) Что?.. Вот именно – в этом и есть наслаждение. Наслаждение, предвкушением которого впоследствии с блеском воспользовалось искусство кино. Мы и буквально ослеплены, то есть ничего не видим, так что нам остаются –

(2) *Бодрые песни.*

Здесь нам отмерено полной мерой наслаждение звуками, голосом, мелос ласкает нам слух. А какое счастье взрезать одолженными у Бога крыльями из стали сверкающий путь! Но –

(3) *Смерть в наслаждении.*

Смерть может прийти именно в тот момент, когда все чувства раскрываются в удовольствии. Но тут выходит греческий хор и возвещает о настоящей опасности ослепшему от счастья юноше.

(4) *Быстрому бегу.*

Преодолеть смертельное препятствие можно лишь движением, быстрым бегом.

Пробежимся еще раз, с начала:

И! – раз-и-два-и-три-и-четыре!

Приглашение в путь начинается с отметания первой опасности – холода, мороза – как несущественной для немецкого юноши, у которого в ногах еще есть сила. Естественные, природные, физические опасности – ему нипочем. Радости пышущего здоровьем юноши зримо отвечает слепящий «ледовый путь», гладкий, как зеркало.

Во второй строфе подтверждается, что это не просто физическая нега. (Вернее сказать, что физическая культура сама по себе, вне связи с другими сегментами культуры, лишена смысла). Природные, физические опасности несущественны. Ибо звучит призыв надеть – не коньки! – крылья из стали¹¹, которые одолжил Гермес-Меркурий.

В третьей – речь о настоящей опасности, нимфы нарубили здесь (на катке – на ледовом пути) прорубей¹², которых следует остерегаться. Но что для Древней Греции было естественным, со-природным (нимфы), теперь становится метафизикой. В самом деле, странное занятие для нимф – дыры, проруби. В северных реках зимой им трудно дышать? Или они заботятся о рыбах?

О судьбе конькобежца

Клопшток и Новалис: мы видим работу двух немцев, двух конькобежцев. Один пишет поэтический трактат на тему «Конькобег». (Эссе в стихах, как мы бы сейчас сказали.) Другой пишет гениальное стихотворение. Один заливает лед, другой бежит по нему.

Романтик Новалис поверил классицисту Клопштоку и побегал по тонкой корке льда (бумажного листа, «укрепленного» стихотворным размером). Насколько лед оказался тонок, показала трагическая судьба еще одного немецкого поэта.

Георг Гейм, представитель раннего немецкого экспрессионизма (1887–1912), погиб за два года до начала Первой мировой, когда катался на коньках со своим другом Эрнстом Бальке (друг утонул тоже). Еще один немецкий юно-

¹¹ Wasserkothurn называет их Клопшток. Котурнами для передвижения по воде. Как же здесь греческий хор не услышать! – *Алексей Прокопьев.*

¹² По-немецки *прорубь* и *дыра* – это одно слово. *Das Loch.* – *Алексей Прокопьев.*

ша, ушедший из жизни в раннем возрасте (в 25 лет). Гейм писал, как принято говорить, апокалиптические стихи, предсказывая в них как собственную смерть (смерть утопленника), так и мировые войны. В его времена в изысканно оформленных альманахах безраздельно властвовали пейзажные и любовные стишки, сочинявшиеся подражателями Стефана Георге и Рильке в больших количествах. Против такого рода «мертвечины» Гейм со товарищи боролся, выступая в кабаре с чтением собственных «страшных» стихов (Стефана Георге, главного поэта югендштиля, он прямо называл «красивым трупом», «*der schone Kadaver*»). Нелепая смерть поэта странным образом предвещала гибель «Титаника», который в том же 1912 году тоже пойдет ко дну. Гейм находился под огромным влиянием Бодлера, Рембо, Ван Гюга и Гельдерлина.

Благодаря Гельдерлину в последние полтора года жизни Гейм стал писать странным нерифмованным стихом, в котором угадываются прежние античные размеры (впрочем, именно что *угадываются*). До этого он писал исключительно пятистопным ямбом (отчасти пародируя засилье этого размера в современной лирике, отчасти превращая его в своеобразную жесткую структуру, не знающую исключений)¹³. Унылость и монотонность входят в его поэтику составной частью – внутри этой конструкции властвуют экспрессия и выразительность, доведенная (не без блеска!) до натуралистического абсурда (так, по-видимому, ведут себя в тихом омуте черти). На смену греческим героям классицизма и греческим божествам романтизма приходят демонические силы – фавны, лемуры, демоны городов, Ваал, Кибела, корибанты и пр. Они то и ломают лед, и поэт буквально проваливается под него, заплатив за столь ценный опыт собственной жизнью.

Об отверстии (зеркала)

Löchern,

эти черные дыры – не забудем, на зеркале! – как негатив звездного неба.

И в четвертой строфе оно появится неизбежно. Но сначала появляется черная ночь – амальгама на зеркале.

Тоже опасность, но вместе с тем и основа зеркальности, подкладка под отражение.

Если опустится черная ночь, то небо наденет блистающую мантию и месяц будет дружелюбно светить нашему быстрому бегу. Мы не просто спаслись вместе с юношей Новалиса (с юношей Новалисом!), но еще и *снова стали видеть*. Негатив проявился и стал позитивом – ледовый путь с черными дырами прорубей – где он теперь? – не по небу ли мы бежим? По черному небу с круглыми блестящими звездами.

Неизбежно всплывает сакраментальное для русского уха.

Выхожу один я на дорогу;

*Сквозь туман кремнистый путь блестит*¹⁴.

Вот разница. Михаил Юрьевич хочет забыться и заснуть, а спасение – в движении¹⁵. Он выходит на дорогу, в путь – один («И Лермонтов о д и н выходит на дорогу». Разрядка моя. – **Dr. F.**), тогда как надо бы вдвоем, с другом.

Вот чего еще не было у Клопштока, который просто обращается к юноше-конькобежцу с велеречивым текстом. А Новалис *бежит вместе с ним*. Тоже ведь юноша – 17 лет. *Bluhender Jüngling*. Еще десять лет – до «Гимнов к ночи».

¹³ К величайшему сожалению, в изданном недавно переводе Георга Гейма («Памятники литературы», переводчик – М. Гаспаров) никакого пятистопного ямба нет и в помине. Формообразующий принцип просто похерен. Совершенно непонятно в таком случае, ради чего затевалось это издание. – *Алексей Прокопьев*.

¹⁴ И где этот путь? Я всегда думал, что это о звездном небе. – *Алексей Прокопьев*.

¹⁵ Вспоминается также мандельштамовское (и даже кажется, что теперь это становится понятнее):

«И Шуберта в шубе замерз талисман – Движенье, движенье, движенье...». – *Алексей Прокопьев*.

Интереснейшее, кстати, совпадение – главное свое произведение Новалис напишет в лермонтовском возрасте. В возрасте, когда Лермонтов, ночное светило русской поэзии (по слову Мережковского), закатилось.

Луна закатилась, светить некому. Ледовый путь покрыт мраком. По льду идут обозы с продовольствием в замерзающий Ленинград. Может быть, единственный случай в российской истории, когда лед используется как дорога, как путь.

Бодрые песни красноармейцев сменились грохочущими маршами нерадостной послевоенной советской действительности.

<Доктор (переводчик), связующий в своем наблюдении времена, заявляет *профетическое свойство слова*. Перво столкновение языков, русского и немецкого, которое спровоцировал, проанализировал, результат которого использовал Карамзин (наше слово заново себя в то мгновение оформляло), разрешилось вереницею следствий, веером связей, которые действуют по сей день. Можно ли назвать его пророком? Пусть Николай Михайлович будет *мифотворцем*: его миф сохраняет силу. Доктор (механик) утверждает: действие его явлено в применении правильных размеров. Мы же еще раз отметим сцену: зеркало между нами, стена изо льда. – А.Б.>

После крушения

После крушения льда немецкий юноша оказывается сразу и в горних, и в катакомбах.

О триумфах, иллюминациях, гекатомбах,
Об овациях всенародному палачу,
О погибших и погибающих в катакомбах,
Нержавеющий и незбылемый стих ищу...

За расчерченную, исследованную сферой,
За последнюю спондеическую крутизную,
Сверхтяжелые, трансурановые размеры
В мраке медленно поднимаются предо мной.

(Даниил Андреев. Гиперпеон. 1951)

В 1943 году Даниил Андреев в составе 196-й стрелковой дивизии перебрался по ладожскому льду в блокадный Ленинград. В 1947-м его роман «Странники ночи» будет сожжен в подвалах Лубянки. Для поэтического творчества русского визионера характерен поиск новых стихотворных размеров, способных выразить ад советской действительности. Размеров, с помощью которых можно было продвигаться по голому льду уже *безо всяких коньков*.

На чем поедем?

Клопшток воспел бег на коньках, а Новалис превратил его в средство передвижения. Присмотревшись, мы увидим, что помог ему в этом «античный» размер, его освоение. Но и Клопштоку не забудем отдать должного. Не в этом конкретном стихотворении, но во всем своем творчестве он тем только и занимался, что экспериментировал, как мы бы сейчас сказали, с безрифменным стихом. И не чета нынешним верлибристам – заковывал его в жесткую форму! Что ни стихотворение, то лобаэд¹⁶.

¹⁶ Ввиду чрезвычайной важности этого термина приведу несколько определений лобаэда:

«Лобаэды – стихотворные размеры, образуемые сочетанием неодинаковых стоп (напр., дактилей и хореев), последовательность которых правильно повторяется из стиха в стих или из строфы в строфу. В метрическом стихосложении – основная фор-

А с чего начался Золотой век русской поэзии? (Вернее, что ему предшествовало?) Конечно же, с русского гекзаметра. С Гнедича, Жуковского. Чтобы было потом что разрушать? Расшатанный гекзаметр отозвался уже в Серебряном веке дольником Ахматовой и Кузмина, преодолевших раскисшую невнятицу (прежде всего ритмическое застойное болото) русского символизма. Но это было мнимое разрушение, ибо немедленно разлившийся причудливый модерн был схвачен логаэдами Мандельштама («Сегодня дурной день...») и Цветаевой¹⁷.

Подобием логаэда было также сочетание шестистопных строк с четырехстопными (обычно ямбическими), размер, которым охотно пользовались и Баратынский, и Батюшков, да и Пушкин не считал зазорным им побаловаться. К слову, самый хрестоматийный логаэд проходит в школе – это «Онегинская строфа». (Вот и говорите после этого, что логаэд в силлабо-тонической поэзии малоупотребителен!) Рифма у Пушкина – ледяная, зеркальная. Речка подо льдом. *Шалун уж заморозил пальчик.*

Россия – страна, где слова «заморозить» и «потепление» социо-мифологичны. При чем поэтика и реальность – зеркально противоположны. По состоянию одной можно судить о другой, только с точностью наоборот. «Цветущему юноше» Новалиса в России соответствует тот «Юноша, он же поэт, твердо стоящий на крыльях Гермеса», который мужественно несмотря на заморозки (то есть несмотря на запрет) надевает коньки – пишет крепкие, отточенные, крошащиеся графитом строчки («Какие странные дощечки И непонятные крючки» Даниила Хармса).

В оттепель все пишут как попало, лишь бы успеть выкрикнуть наболевшее; и надеть коньки (то есть сделать нечто противоположное тому, что заключено во фразе «откинуть коньки») опять становится мужественным поступком. Писать стихи в России – всегда некое мужество. Особенно в то время, когда позитивизм отрицает и то и другое. После фразы «Мы не знаем, что такое гениальность» неминуемо следует вторая: «Мы не знаем, что такое стихи». (Витгенштейн – основоположник аналитической философии, правда, тоже предупреждал, чтобы не ходили пешком по льду логически безупречных научных формул.) У нас же не было мудрого Витгенштейна, всегда знавшего пределы теоретического знания. Всякую теорию у нас стремятся претворить в жизнь.

Заключение

Цветущий юноша после временной потери зрения видит в дырах, прорубленных во льду краснозвездными нимфами, Россию: она является ему в двух параллельных сновидениях. Первый – сон о действительности. Второй – о поэтике. Когда они сливаются, то есть когда логаэд сливается с верлибром (не синтезируется, как у Блока, а именно – вследствие нехватки ли времени или юношеской неразборчивости и торопливости – сливается), то вот вам и поэтика постмодернизма, где все можно оправдать всем.

«Заблудился я в небе, что делать?» – это сон о поэтике-действительности. Цветущий юноша (Новалис-Лермонтов) провалился в эту дыру и вывалился с

ма античной песенной лирики; в силлабо-тонической поэзии малоупотребительны» (Советский энциклопедический словарь). «Слово «логаэд» по-гречески означает «проза-песня», т.е. как бы стихи менее правильные, более приближенные к прозе, чем обычные. Выражалась эта «прозаизация» в том, что обычные стихи состояли из однородных стоп, а логаэды – из разнородных стоп, но в твердой постоянной последовательности: например, два хоря, дактиль и еще два хоря. (Такой размер назывался «сапфический 11-сложник» – по имени поэтессы Сапфо...)» (Гаспаров М.Л. Русские стихи 1890-х–1925-го годов в комментариях. М.: «Высшая школа», 1993, с.119.) – *Алексей Прокопьев.*

¹⁷ Даже если это не логаэд, то у Мандельштама в «Камне» потрясающее сочетание ясности и пластичности, а у Цветаевой такой завораживающий ритм, что античных шаблонов и не требуется. – *Алексей Прокопьев.*

другой стороны неба трагическим Мандельштамом. Трагическим и в личной судьбе, и в судьбе поэтики, которая сначала отвергалась слишком ленивыми и трусливыми, а теперь пожирается слишком торопливыми.

Коньки бы нам всем! И побежать бы вместе!

Средствами языка нельзя описать язык. Но, может статься, язык путешествия удастся описать транспортными средствами поэтики. Мандельштам называл их «орудийными средствами». По сути, это одно и то же.

И вот мы входим опять в тот переломный момент русского стиха, когда следует озаботиться выбором сих средств. Ибо в поэтиках некоторых локально «культовых» авторов декларируется совершенный отказ от них. Стихи проговариваются речитативом, что было бы еще ничего, но только ритм в них – фондовый, внешний. Это ритм рок-музыки, это рэп. Это полная подчиненность слова, отказ от его самости и самостояния.

Где вы, античные размеры? Где вы, размеры вообще? «Где вежество, где горькая украдка?» Где ритм, я вас спрашиваю? Неужели один только рэп?..

IV. УМОЛЧАНИЯ

Приговор доктора дню сегодняшнему: размыты грани, растаял кристалл (слова), время демобилизовано, растеклось лужею. Всё метафоры о воде. Но вернемся к столу Карамзина-редактора (следствия его опытов, которые мы проследили задним числом – до рэпа, ему, разумеется, неизвестны). Но он *ведает о воде*. Тут уместно вспомнить о наставлениях несчастного Л. о водопаде, а также о судьбе беглого немца в зимней Москве.

Теперь иначе мы попытаемся прочесть, пройти под сводом «Писем». Вооружившись (изо льда вырезанным) оптическим стеклом или так: рассмотрев отражение письма в зеркале страницы, мы яснее видим закономерность *воспоминаний* Карамзина.

Он внимательно следит за поведением воды.

12. Вот Николай Михайлович стартует *весь в слезах* из Москвы, к тому же изрядно в тот день дождем его поливает, путник карабкается по карте вверх, точно из болота, его провожает знаменитая станция: Черная Грязь. Голубое небо первый раз проглянуло в Твери. Такова исходная точка пути, материковое, материнское влажное лоно: только вне его взгляд *младенца* понемногу проясняется.

13. Город Питер в «Письмах русского путешественника» оказывается странно сух – этого быть не может, там же одни наводнения, вода поверх болота; видимо, сам Николай Михайлович был сух к Питеру. Миновал его молниеносно.

Начинаются умолчания, не менее красноречивые, чем сокращения (Ленц – в Л.).

Первое о Петербурге. Питер вообще-то сам сух: сух, как калька, поспешно снятая с некоего идеального, классического образца.

<Сух, как Клопшток?! Ответ отрицательный.>

По идее, он и есть та самая линза, через которую русский язык смотрит в Европу, город-переводчик. Город-перевозчик, всей России целиком – в Европу.

Готов перенести *мгновенно*.

Петербург вне истории, возможно, отсюда сухость К., будущего историка, в отношении бумажной (город-на-кальке) столицы. Карамзин, при всем его стремлении к точной и ясной системе (мысли и слова), при всей своей жажде ученья у постигших регуляцию немцев, не приемлет механицизма в применении этой системы, насилия в насаждении ее.

Во всяком случае, так можно истолковать его умолчание о Петербурге.

14. Куда проще (на первый взгляд) причина умолчания Карамзина об Иоганне Себастьяне Бахе. В «Письмах» Бах вовсе не упомянут.

В принципе, ничего тут нет удивительного.

То есть сначала просто непонятно. В июле 1789 года проезжая Лейпциг – город, где великий композитор прожил многие годы, где был похоронен, – Карамзин исследует в нем все и вся, прочитывает от корки до корки книжную ярмарку, делает сто визитов к ста мудрецам – *и не пишет ни строчки о Бахе*. Позже, редактируя «Письма» по возвращении в Москву, сличая даты и события, добиваясь максимально возможного обобщения увиденного, он Баха вновь не замечает. Передним разложены все календари и карты, он разгадчик всех тайн, он настроен на уловление флюидов и тайных дуновений и их последующее толкование (заметим: в образах, на языке воды); так Николай Михайлович «вспоминает» о страшной грозе, что застала его в поле под Лейпцигом, среди бела дня – 14 июля, *синхронно с взятием Бастилии*: «В нынешнее лето я не видал и не слышал такой грозы... В несколько минут покрылось небо тучами; заблестала молния, загремел гром, буря с градом зашумела, и – через полчаса все прошло...».

С таким-то телескопом, точнее сказать, время-скопом (скопом – все время), он не видит Иоганна Себастьяна Баха.

Причина проста. Карамзин ни о чем не умалчивает, он просто вовсе не ведает о Бахе.

Но здесь возникает вопрос об общем, существенном и многозначительном умолчании.

Что Карамзин? Вся Германия к 1789 году *забыла* о величайшем своем композиторе.

И здесь уже всякая простота исчезает и подступает сложность. К тому же к вопросу «почему забыли?» добавляются еще вопросы, рассматривая которые, мы вынуждены будем на время отвлечься от рефлексии редактора Карамзина (хотя на самом деле речь по-прежнему будет идти о нем и круге его метафизических рассуждений – о слове, его устройстве, его отражении во внешней сфере и отражении им, словом, внешней сферы, все на примере русско-немецкой взаиморефлексии, и – о воде), просто вокруг этого «внутреннего» круга вопросов очертится еще один, «внешний», это и будут *большие вопросы о Бахе* – о большой тишине, о многозначительном умолчании, о дифференциальном исчислении и – о воде.

О ЗНАЧЕНИИ ПРЕДЕЛА

Эти вопросы мы обсуждаем с историком и теоретиком музыки Еленой Энделевой Городжей; происходят одновременно спор и консультация, диспут междисциплинарный: что означает столетнее умолчание о Бахе?

О круглых датах

Первым пределом в этой истории (*пределом* в значении привычном, не математическом: началом) можно обозначить 1750 год. Здесь показательно четко искусствоведами проведена граница между эпохами барокко и классицизма; вместе с тем – или *потому, что это год смерти Баха*.

Дефиниция, однако, прямо с его именем не связана. Классицизм начинается с отчетливой и осмысленной переориентации на античные образцы. (См. выше: Клопшток с его присягою 1747 года на верность грекам; время пронизав, связав, сложив эпохи, в Европу возвращается Гермес и проч.) Бах в рамках данной хронологии с немецкой аккуратностью «укладывается» в предшествующую эпоху барокко, ее исчерпывая и завершая. Нет, он подготавливает в должной мере и классицизм, он учитель из учителей, он видится сущим Моисеем, учителем и пророком от музыки, который привел народ свой к земле обетованной (здесь аллегорий может быть множество, суть их одна).

Может быть, и умолчание о нем «Моисеево»? Баху не дано войти в золотой век, им же приуроченный.

(Гессе пишет о его музыке: «тихая готовность к смерти».)

Грядущий век кружится идеально: как будто шестерни вращаются, музыкальный механизм отбивает ритм. По смерти Баха о нем забывают прочно и надолго, но вот спустя *пятьдесят лет* как будто вспыхкою он освещен. Несколько концертов дали повод музыкальному критику Рохлицу написать в 1800 году: «Вращающееся колесо истории на один миг подняло на самую высокую точку славного Себастьяна Баха».

И вот очередная дата: после следующих *пятидесяти лет* тишины (только в 1829 году Мендельсон исполнил «Страсти по Матфею», это имело резонанс, тем более заметный, что ничего подобного более не происходило, длилось умолчание), в 1850 году в Берлине было создано баховское общество. Вдруг вспомнили о Бахе, поняли и приняли его, заиграли его в полную силу – и век классицизма закончился.

1750 – 1850. Сто лет – минус Бах.

Какой-то странный фокус произошел со временем, именно со временем, с самим материалом его. Или механизмом? *Вращающееся колесо истории... на один миг...*

Как будто сработал некий музыкальный автомат.

Фокус в том, что сам Бах его и выдумал, этот хорошо работающий автомат.

<Точнее говоря, он разработал и применил *темперированный звукоряд*, полагающий деление октавы на двенадцать равных полутонов, что позволило объединить ладотональное пространство, прежде того существовавшее как бы по отдельности, группами родственных тональностей. К этому следует добавить новую систему настройки клавира, позволяющую исполнять на нем сочинения любой тональности, без дополнительной перестройки. – Елена Горджая.>

Иначе говоря, он создал систему универсальную: объединяющую универсум звука. Сочинил – среди прочего, несчетного – «Хорошо темперированный клавир», где в двадцати четырех веером разложенных прелюдиях и фугах представил этот новый универсум, новый мир, и сыграл этот мир-клавир в одно выступление – и не однажды! Тут выяснилось, что вышеозначенный универсум звучит как законченное философское и вместе с тем эмоционально насыщенное произведение (мир есть опус!) *И при этом не был услышан.*

Бах словно произвел на свет тишину, сумму всех звуков, – так сумма всех цветов складывается в один прозрачный и, в сущности, невидимый свет.

В этот свет вступил летом 1789 года Карамзин – и света не различил, не услышал звучания переполненной здешней тишины; точнее, и различил, и услышал, как различал и слышал раньше эту полноту порядка – в слове, но просто не связал эти свет и порядок, эту совершенную сферу с именем гения, который ее создал. Сыграл на клавире. И округлая эта сфера вместила – в свою полноту-тишину – следующие сто лет (молча крутились шестерни, отбивая ритм.) Весь следующий век был изъят из хаоса, темперирован, если угодно – классицизирован. Но Бах, Моисей, мастер, – был вне этой сферы, «вне изделия».

Как жаль, что Русский путешественник не ведал о Бахе: в контексте его исканий история музыканта стала бы ему лучшей подсказкой, мифом в мифе.

Одного «ручья» ему хватилoby для составления законченного сюжета.

Бах (bach) в переводе с немецкого – «ручей, поток».

<«Не ручей: морем он должен был называться». Бетховен – о Бахе.>

Русскому уху в это поверить трудно: у нас слово «бах» не течет, но, напротив, кратчайшим образом (ударом) прекращает всякое движение.

О ручье

Господин Ручей родился 21 марта 1685 года в небольшом городке Эйзенахе, в Тюрингии. В роду его все были музыканты. (Для немцев XVIII века слова «Бах» и «музыкант» означали одно и то же.) Легендарный основатель рода

был мельник по имени Фейт, услышавший все возможные музыки *в лете ручья*, вращающего колесо его мельницы. Он приходил на работу с цитрой и заволаживал природу своей игрой, точно легендарный Орфей. От него истек многозвучающий род Бахов.

Еще о ручье. Согласно древнескандинавскому мифу, верховный бог Один, проходя круг ему отведенных испытаний, вышел на берег ручья. Беседовал с ручьем и оставил ему свой глаз. Толкование следующее: небесный ручей, прозрачная граница между мирами земным и небесным, поток чудного света, заменил будущему главному богу Одину обыкновенный глаз на сокровенное око, видящее невидимое.

Здесь сам собою подверстывается известный (всем, кроме Путешественника) рассказ о юном Себастьяне Бахе, который после смерти родителей жил в доме старшего брата, Иоганна Христофора, где тайно по ночам переписывал ноты, токкаты Букстехуде. Труд в темноте повредил ему зрение – но он услышал неслышанное.

(Печать Одина и далее над ним имела власть: к концу жизни зрение композитора стремительно ухудшилось. После неудачной операции Бах ослеп.)

Поток невидимый не иссяк: он продолжал сочинять, диктуя свои произведения для записи; всего их было создано более восьмисот. 28 июля 1750 года Бах скончался. Ручей влился в море?

Без метафоры

«Влился в море»: обозначил предел, читаемый на языке геометрии очень просто: так линия растекается в плоскость.

<Здесь можно вернуться к различению барокко и классицизма. Искусствоведы (Вёльфлин) одной из характерных черт классицизма называют плоскостность, барокко же характерно пространством. И еще: классицизм как система замкнут, барокко открыто. – Елена Городжая.>

В таком случае Бах (пространство открытое, воздух, свет) объемлет последующий век –изделие, замкнутый «предмет», классический слепок.

Но трудно уложить в барокко всего Баха. Он видится именно на пределе, переломе измерений, которые равно объемлет. И если музыка – то, что создавали Телеман, Кайзер и Граун (те, кого слышали его современники), то Бах (которого не слышали) создавал не музыку, а «помещение» для нее, универсальный метод ее производства. Его музыка – *открытие врат, за коими слышны залы, полные эхом.*

<Гете о слушании музыки Баха: «У меня было такое чувство, будто вечная Гармония беседовала сама с собой, как это было, вероятно, в груди Господа перед сотворением мира. Так же волновалась моя смятенная душа, я чувствовал, что у меня нет ни ушей, ни глаз, ни других органов чувств, да в них и не было необходимости».>

Бах до-музыкален, над- и сверх-музыкален. Он может взять любую тему: свою, Фридриха Великого, почтальона, почтового рожка. Важно то, что он творит с нею. Множит на голоса, их складывает и смещает, понукает бежать друг за другом; интервалы слышимы – и видимы: *пространство льется ручьем.*

Нет, это не музыка, не просто музыка. Просто музыка начнется после, когда в им построенную залу войдут и рассядутся многие, и вдохнут его нововоздуха, и заговорят, и запоют свое. А о нем забудут.

Николай Михайлович вошел в оную залу и стал снимать с нее чертеж, не зная ничего об архитекторе, ее возведшем.

Чертеж

<Темперированный звукоряд, сводящий весь универсум звука в единую стройную систему, был рассчитан и пропорционирован не одним Бахом, но целым поколением музыкантов и математиков на рубеже XVII и XVIII веков. Он предполагал использование исчезающе малых поправок к натуральному звукоряду, выводимому из пифагорова деления звучащей струны на части в пропорции 1:2:3:4:5 и т. д. Этот классический, известный с античных времен

расчет дополнялся теперь дифференциальным исчислением Лейбница (см. выше), которое оперировало уже не метафорическим, но *математическим* понятием предела. – А.Б.>

<Чтобы понять, насколько Бах опередил свое время (и потому уже не мог быть услышан и оценен в полной мере), нужно обратиться к современным исследованиям зонной природы звуковосотного слуха (Н.А. Гарбузов). Эти исследования говорят о том, что звуки определенной высоты мы воспринимаем не точно, а в некотором интервале, зоне. Внутри этой зоны музыканты различают большое количество интонационных оттенков. Собственно, это и позволило Баху – слыхом не слышавшему ни о каких зонах, но движимому гениальной интуицией – перенастроить свой клавир так, чтобы он мог играть в любой тональности, или в нескольких, или сразу во всех тональностях. Открылись новые возможности (прежде ограниченные) модуляции и гармонии, и это открытие переменило саму сущность музыкальной мысли, которая теперь заключалась в «производстве» музыки как некоего нового пространства. Музыкальная мысль существует в этом пространстве, одновременно образуя это пространство. Слушатель, побуждаемый, увлекаемый этой мыслью, «перемещался» в это пространство, как в мир совершенный, мир большой, в котором живет все дивное царство тонов в глубоко осмысленных пределах. – Елена Городжая.>

<Слово *пределы* можно развернуть и прочесть иначе и дополнить все сказанное сухою математикой. Если я правильно понял, зонная природа слуха подразумевает известную пластику в высотном восприятии музыки. Не инструмент, но ухо слушателя в процессе исполнения музыки может быть «перестроено». То есть – слушатель слышит тот «верный» тон, который ему подсказывает, к которому его подводит музыкальный контекст. Верный тон становится *пределом* последовательности (тональности), «вершиной», с которой он может спуститься, ведомый изменившимся контекстом, в «долину» другой тональности. Так, благодаря пластике своего слуха, способного «подтянуться», двинуться в сторону верного тона, слушатель приходит в движение. *Движение* – здесь для меня ключевое слово. В движении квадрат описывает круг. В движении только и может открыться *лучший из миров* Лейбница и т.д. – А.Б.>

Вот она, сфера, или зала, полная тишины. Открытие *пространства как продукта*, сложного изделия стало главным содержанием эпохи; Бах воспринял это открытие во всей его полноте и озвучил его – и был награжден тишиной.

Вот внешний круг, воздух, тишина, обнимающая «предмет» классицизма.

Такова мизансцена, в которую угодил Русский путешественник. Он чаял чертежа, по сути, по списку имен – классицистического. Он и в гости пришел к классицистам и с ними вместе не заметил Баха (как мы не замечаем воздух, которым дышим).

Такова природа его невольного умалчания о Бахе.

15. Карамзина – спасает? извиняет? не те слова – ему, несомненно, способствует то, что он пришел извне. К тому же в его сокровенном исследовании пропуск фамилии (Бах) ничего существенно не меняет. Он русский мифотворец, новый алхимик, он подвижен, как «конькобег» (в свое время Карамзин прочтет и поймет Новалиса, но поймет и собственную великую задачу и потому умолчит, уже осознанно, о Новалисе), он исследует воду и виды льда и делает выводы из поведения оных.

Отсюда полнота его впечатлений и осмысленность редакции.

Карамзин, не говоря ничего о Бахе, замечает *ручей*, точнее, сначала он видит *море* как верный знак того, что он вошел в новые для себя пределы. С этого начинается настоящее его путешествие. Он видит пространство.

Впечатления реальные в виду северного моря настолько сильны, что он некоторое время отстраняется от него.

Карамзин как будто боится погрузиться в него с головою и утонуть и потому «не замечает» моря в Питере, всё едет посуху, в Ригу, отстраняясь от побережья. В первый раз уверенно выходит на берег в Паланге: «около часа си-

дел на берегу и смотрел на *пространство волнующихся вод*. Вид величественный и унылый!»

Он видит Баха.

Таков ключ (один из ключей, источников, ручьев), его записки проникающий.

Далее мы двинемся быстрее; вместе с наблюдением за Николаем Михайловичем последуют заметки, содержащие живые впечатления о реальных поездках моих друзей, писателей и путешественников. Они прямо касаются предмета нашего исследования (все о пространстве – и воде).

V. ГДЕ ГДАНЬСК¹⁸?

Отрывки из эссе Юрия Нечипоренко «Гданьск – Симеиз. (2002)»

... Самая передовая, самая европейская часть России – Калининградская область – уже почти цивилизовалась, едва не оторвалась от России – и теперь переваривается Европой.

«Или наоборот?»¹⁹

Королевский замок в Калининграде-Кенигсберге разрушен. Развалины его скрыты сравнительно недавно, лет тридцать назад – однако, по слухам, сохранились подвалы. Есть проект восстановления замка, на месте которого памятником бессмысленной алчности властей стоит недостроенное административное здание с провалами окон и пропастями лестничных пролетов.

Весь былой Кенигсберг – огромный замок, он окружен валами и фортами, а самый дальний подступ к Кенигсбергу, если считать его бастионом Запада, можно обнаружить на Нарве. Да, в Нарве, где стоят друг против друга две крепости через реку, где тевтонский Орден построил свой замок и наш Ивангород соорудил свою крепостенку. Столетиями надстраивались башни: какая выше! Наша круглая, их – квадратная. Так же и вся крепость наша – с мягкими формами, похожа на живую клетку, какую-нибудь инфузорию в разрезе. Немцы же настроили параллелепипедов, все – с острыми краями, с резкими гранями. Вот где проходило противостояние цивилизаций: через речку Нарву стояли друг против друга столетиями Восток и Запад.

Как стоят они там же и сейчас.

Но на Западе есть свой Восток, на Востоке – свой Запад.

Польша – Восток на Западе, Россия – Запад на Востоке.

Мы пересекаем место, где эти заразившиеся друг другом, влипшие друг в друга страны сошлись: землю несуществующего народа и мертвого языка – землю пруссов.

Узкая и ровная дорога пошла меж двумя шеренгами лип. Этими липами, стоящими, как правильные бойскауты (по колено в белых гольфах!), обсажены все дороги в Пруссии. И дороги эти до сих пор никак не расширят: случись авария – ползут, сжатые рядами лип машины – ни разъехаться, ни просочиться.

Висла: новый мост, повисший на струнах, напоминает гусли, лежащие на боку. Морской ветер гонит речную волну, перебирает струны мостов. Вставшие на цыпочки крабы портовых кранов усеяли берег – они объедаются лакомствами заморских грузов. Один из самых известных домов в Гданьске – «Журавль» – представляет собой помесь дома с портовым краном: дом выставил свой нос (или хвост?) над рекой и по лебедке готов в любую минуту при-

¹⁸ Во второй раз Карамзин «замечает» море в Данциге, смотрит с горы Штоценберг через город на водный горизонт. Там раскинулось *необозримое пространство вод*.

¹⁹ С уходом Прибалтики наш голод *по пространству* только усилился. Только варим мы его (если посмотреть на карту области и послушать наши названия) все больше на полевой солдатской кухне. Багратионовск, Черняховск, Советск, Гвардейск, Краснознаменск. Не поле топонимов, но плац. – А.Б.

нять в свое чрево груз с корабля. Вот она, известная польско-немецкая функциональность, вот оно, наследие Ганзы!

Число монастырей, соборов и храмов в Гданьске превосходит все то, что можно наблюдать в Варшаве. Пожалуй, только Краков с его королевским дворцом – Вавелем может соперничать с Гданьском-Данцигом. Но богатство Кракова имеет другие истоки: святость королевской власти и шик польских магнатов делает былую столицу Речи Посполитой неподражаемой. Гданьск же – город свободных граждан, город купцов и мастеров, моряков и путешественников, это город гильдий и граждан, а не город власти и аристократии. Деньги Данцига имеют иной исток, чем поборы и завоевания, это деньги рынка и риска, путешествий и мастерства.

Толпы иностранцев, особенно немцев, гуляют по Гданьску и разглядывают Нептуна с гарпуном в руке на главной площади. Нептун – символ города: он почитается, как покровитель моряков и купцов.

Кафедральный собор в Гданьске кажется неправдоподобно высоким, он столь плечист и вместителен, что может собрать внутри не один город, а еще и все окрестности, порт с кранами и даже целые корабли с мачтами легко поместятся в этом грандиозном соборе. Если же прогуляться по собору, то изумлению не будет предела: где можно увидеть столько подлинников XIV–XV веков, спокойно пылящихся на стенах!

Гданьский порт можно навестить изнутри, с материка – промчав вдоль каналов до дальнего форта на машине или проплыв на прогулочном кораблике, где экскурсовод будет что-то щебетать на своем птичьем польско-немецком наречии (а приморский ветер будет перемешивать и относить слова). Хотя поездка такая недешева, дело того стоит. Во-первых, потому, что вы увидите край польской земли с изумительным морем (а море в Польше очень разное, об этом чуть позже), а во-вторых, потому, как в порту стоят корабли. И какие корабли! Один «*Lukey inspireg*» чего стоит! Это же надо, кораблю такое имя дать! «Удачливый вдохновитель» – да так впору роман назвать, не только корабль! Откуда же такие корабли берутся, из каких стран приходят к нам вдохновители? Под именем корабля написан порт приписки. Лимбассу! Где же такое место на Земле, где это соединение Лимпопо с Потассу, где находятся эти чудесные страны, в которых водятся духовные Айболиты, племя счастливых и удачливых вдохновителей!

Спутница, не разделяющая моих пылких восторгов, показывает на надпись, которая проступает большими рельефными буквами под «*Lukey inspireg*», – проступает понятная вполне надпись «Молодая гвардия»!

И порт проступает – Ленинград!

Вот откуда берутся вдохновители – из России, и называются они там молодогвардейцами, а прописаны они в каменных джунглях Ленинграда...

Такая странная конфигурация была обнаружена нами в Гданьском порту, перевод с русско-героического на англо-романтическое... Но все равно я напишу роман о вдохновителях – ведь они наполняют смыслом нашу жизнь! Тут уже, после Молодой Гвардии, вполне к месту услышать, что порт этот оказался тем краем польской земли, который дольше всего не сдавался фашистам, – и здесь поставили памятник оборонявшим последнюю цитадель свободной Польши героям. Да, геройские люди живут у моря (недаром тут же и «Солидарность» на верфях взбунтовалась).

А вот и море – его ни сеять, ни пахать, оно играет волной с десятком чудиков: туда и обратно, в воду и под воду, барашки рассыпаются в волосах. Мы смеемся холодному морю, мы наступаем на него, потом оно наступает на нас – известные забавы купальщиков.

Море изменчиво по сути своей.

В зависимости от того, откуда смотреть на него, под каким углом и в какое время дня, вы увидите разные моря.

Солнце ходит по кругу за морем на Юге, солнце ходит по кругу перед морем на Севере.

Человек оказывается в фокусе этого кружения.

На Юге вы видите море как линзу, что преломляет солнце – и пропускает его сквозь всю свою глубину, на Севере лучи солнца светят у вас из-за спины и уходят в море и за море, почти не отражаясь, оставляя море опалово-серым. Лишь утром и вечером солнце заглядывает в море сбоку и слегка подсвечивает. Море открыто перед вами, распахнуто на Юге – и замкнуто на Севере. Северное море хранит тайну – но оно и более живо: в Черном море остался с десятком видов животных, в северных морях видов неизмеримо больше.

Море Севера не собирается открывать свои тайны, и холод его – тоже способ защиты, способ сокрытия глубин. Насколько эта защита эффективна? Люди здесь издавна не могли так навредить природе, как на Юге. В равновесии природы и человека северянам не позволено быть столь самоуверенными и беспечными, как южанам.

На Севере море не для нас – оно для себя, и попользоваться им так легко не удастся...

Октябрь 2002 года, Москва

VI. ВВЕРХ ПО ТЕЧЕНИЮ

16. Зрелище северного моря, зрелище холодного *иного* так путника взволновало, что успокаивается он только в Дрездене: вид благоустроенного города заслоняет в памяти вид моря-зверя. При этом чувствуется, что Карамзин увлечен не столько зрелищем, сколько *чтением* города. Не вид, но слово о пейзаже.

Или он устал от бега? Или политические известия взволновали: бег дней ускорился стремительно. См. выше: под Лейпцигом настигает его гроза, он напуган, чем – пока ему неизвестно (в Москве поймет: взятием Бастилии), и Николай Михайлович прячется там же – в книги, в ярмарку, в бумагу с головой: *сиди и не двинься*.

Но отсиделся и двинулся далее по областям покойным: Карамзин ищет в Германии спасительной системы – и находит ее. Все правильно: мы разобрали, как немец «леденит» время (воду) – мыслью, твердым словом и расчетом, темперированным аккордом (прямая во времени структура) и тем создает себе кристалл пространства.

Это слишком жестко, лучше метафора о *лилии*.

Цитата в путевом дневнике из Гердера: цветок лилии являет собою модель идеально устроенного мира; оси координат расходятся, точно лепестки...

Швейцарии белейшие снега лилией легли на вершине Европы. Здесь его ждет истинный покой, зрелище совершенства, источник не столько вод, сколько тех именно координат...

17. Карамзин – в голове лепестки и румбы – повсюду называет себя северянином, вырезанным как будто прямо изо льда. Он движется будто бы по меридиану сверху вниз, от самого полюса, что и объясняет на пальцах случайно встреченной селянке.

На самом деле снизу вверх, от моря.

Теперь всеобъемлющую систему он строит, наблюдая метафизический рельеф Европы. Взбирается – от самого дна – по евролестнице вверх, ступень за ступенью, к возвышенному центру мира. Буквально: в Альпы.

Еще точнее – в Цюрих (Цюрих), к Лафатеру. Лафатер на фоне этих исканный выглядит знатоком не столько пластики физиономической, сколько фи-

зиогномики мира целиком: Европа видится правильно слепленным, ангельским лицом. Мир разбегается от переносицы морщинами горных складок. Метоскопия, подоскопия – послушайте, а не смеется ли над нами юный Карамзин? Или другой Карамзин, редактор, забавляется над читателем в Москве.

18. В Швейцарии он вспоминает о Москве (или в Москве «вспоминает», как вспоминал в Швейцарии о Москве?). Неважно. Его спрашивает (не помню кто, наверное, Лафатер): сочиняют ли московиты стихи?

Молитвы.

Правильный ответ. В Лафатере он несколько разочарован.

Зато ни капли не разочарован в *ручье*, здесь – Рейне. Пьет на Рейне рейнское вино: вот еще рифма! Он в совершенном восторге. В этом стройно сложенном мире укрощено течение всяких вод.

Наблюдая сельскую свадьбу, к невесте лезет целоваться. Здесь можно: на этой высоте греха не существует физически.

19. Наконец он на вершине! Рейхенбахский водопад, два вида его, совершенно различные (опять двоенье): сверху, откуда он мал и тих, как ручей, и снизу, в ревушей яме. Оказывается, близость к Эдему (среднеевропейскому) не означает райского покоя. Но путник еще тянется вверх, словно к первопричине, и метафору ее наконец находит – в ледниках, источнике движения. Вот кристаллы Божьего строения, явленные глазу!

Вершины гор достигают небес. «Ледники, с которых, кипя, упадет небо».

Горный мир расчерчен немцами и охраняем швейцарской гвардией.

Вход в рай расположен где-то здесь, это несомненно.

Соблазн твердого чертежа, идеальной системы румбов (чертежа в языке: стоп, размеров, времен, падежей, в музыке: стройного звукоряда), вместе – обещание опоры метафизической: вот чем нас манит Германия, это несомненно.

Манит сама себя, себя же и пугает. Гёссе возводит у самых ледников (вместо них) свою Касталию; но праведный Йозеф Кнехт – не тонет, замирает во льду горного озера. Волк рвется вон из этих идеально расчерченных пределов.

Мгновение не тянется, не длится.

20. Одно мгновение Николай Михайлович на вершине, самом острие альпийского кристалла, но спустя мгновение вот что с ним приключится.

Его смывает вниз, во Францию. Словно по сточной трубе. Только об этом и думаешь, читая описание подземного тока реки Роны.

«Ночью приехали мы к тому месту, которое называется la perte du Rhone, вышли из кареты и хотели спуститься на берег реки, но добросердечный извозчик не пустил нас, уверяя, что один несчастливый шаг может стоить нам жизни... При слабом свете фонарей видели мы везде страшную дичь. Ветер шумел, река шумела – и все вместе составляло нечто весьма оссианское. С обеих сторон ряды огромных камней сжимают Рону, которая течет с ужасною быстротою и с ревом. Наконец сии навислые стены сходятся и река совершенно скрывается под ними; слышен только шум ее подземного течения. По камням, образующим над нею высокий свод, можно ходить без всякой опасности».

Река (времени?) двух стран (двух возрастов, эпох, этических систем) валится в черную дыру.

На этом заканчивается публикация его писем, остальные – нет, в черную дыру не валятся, ждут своего часа. Приключения свои в революционной Франции и далее в Англии Карамзин сможет опубликовать полностью только спустя десять лет, с приходом к власти либерального (поначалу) Александра, в 1801 году.

Мы также ограничимся кратким конспектом и репликами корреспондентов: разбор второй части путешествия Карамзина впереди. Здесь же достаточно будет проследить в общих чертах, что же случилось далее с сокровенным построением Русского путешественника.

VII. ФРАНЦИЯ (ВИХРИ)

21. Во Францию его толкает высокое чувство (не оставляет друга, с которым познакомился в дороге, тому опасно ехать во Францию, К. отправляется вместе с ним). Ему дан швейцарский паспорт самого возвышенного содержания.

Падение совершается по всем статьям. Ощутимы турбуленции духа, самые лица людей по ту сторону границы перечерчиваются, вернее так: пластика их опасно смазана. О чистоте портрета более нет речи. В первой же французской гостинице хозяйка встречает его улыбкой, «которой он не видал ни в Германии, ни в Швейцарии».

Он близится к Парижу.

Париж лишает Карамзина спокойствия. Статика совершенного мира осталась за спиной.

«Мне казалось, что я, как маленькая песчинка, попал в ужасную пучину и кружусь в водном вихре».

Франция вращает Карамзина в *декартовом вихре*.

<...Карамзина легко спародировать – например, взять две фразы Н.М. – о пяти днях, прошедших, как пять часов, и о том, что французы исхитряются давать любой ответ, не дослушав вопрос, и вывести отсюда теорию французской (парижской?) временной аномалии (что-то вроде Бермудского треугольника) – либо время идет там с каким-нибудь сдвигом фаз, либо просто быстрее, либо и вовсе как-нибудь навстречу (а может, все вместе), поэтому французы (или парижане; либо французы вслед за парижанами) оказываются (точнее, некоторое время оказывались – пока аномальная зона не рассосалась или не отдрейфовала, как магнитные полюса Земли, куда-нибудь еще) во многих отношениях впереди всех.

Применительно к Франции, если все же поискать там «воду», очень хотелось бы трактовать ее не как «время» (эта трактовка, разумеется, бесспорна и вполне традиционна), а как «свободу», для чего, как мне кажется, некоторые культурные основания есть, но все-таки это вовсе не так бесспорно, как в случае с водой и временем. Поискать же воду (самым хулиганским образом) можно непосредственно во французском языке. Во французском языке, как известно, многие звуки (и в том числе гласные) изображаются на письме совокупностью двух, а то и трех букв. Правописание (и соответственно произношение) слова «вода» – *eau* (если взять без артикля) полностью совпадают с начертанием (и соответственно произношением) одного из (их несколько) звуков «о», чрезвычайно распространенного и входящего в такие слова, как, например, *beau* (красивый), *reau* (кожа), *chameau* (верблюд), *tableau* (картина), *cadeau* (подарок), *morseau* (кусочек) и т.п. (Надо заметить, что ровно тот же звук «о» в некоторых других французских словах изграфляется иначе – *au* или просто *o*. Таким образом, и без того широкий круг слов с отзвуками воды становится еще шире.) Беда в том, что отыскание объединяющего смысла во всех этих словах – по-видимому, задача, посильная лишь безумцу.

Получается, что французский язык прямо-таки пронизан стихией свободы – свобода плещется во французской письменной и устной речи. Что же касается визуального явления воды-свободы во Франции, то она очевидным (а также вкусным, обонятельным, а также головокружительным, освободительным и многая прочая) образом является всякому знакомому с французской цивилизацией в несколько преобразенном виде, а именно: вина (трудно отрицать достижения французов в этой области). Отметим, что подобная трансформация не кажется нам натяжкой и имеет как естественно-научные (химические, биологические) объяснения, так и религиозно-мистические (Кана Галилейская). Отсюда, по-видимому, и укорененная в веках легкость и непринужденность французов.

К сожалению, автор этих строк относится к непосредственным поискам воды-свободы в стихии французского языка, а также к явлению ее в образе вина, как к шутке. Чего нельзя сказать о роли категории «свободы» (и свободолубия, поисков вольности) для Франции и французов: ее определяющий

характер для французского менталитета и французской истории кажется нам безусловным.

К приезду Карамзина в Париж (бесспорную столицу тогдашнего христианского мира) Франция уже явила миру разнообразные (но, безусловно, связанные между собой) проявления вольнолюбия: в социальной сфере (революций), в духовной сфере (вольнодумие вплоть до атеизма), в области нравственности (от идеалов галантной эпохи через персонажей Ш. де Лакло к «либертианству» – не знаю, как по-русски, – от слова *libertin de Сада*).

В расширение маршрута Н.М., сравнивая и противопоставляя Францию и Германию, любопытно было бы, мне кажется, рассмотреть прошлую и нынешнюю Голландию. Возможно, Голландия воплощает собой что-то среднее между духом немецким и французским...

Амстердам – натуральная северная Венеция, утопающая в сети каналов, заковывающих его зимой ледяными цепями. Что-то есть архетипическое для европейской мысли и вообще жизни в этой сезонной смене стихий, объявляющих Амстердам – воды и льда. Что же касается «Конькобега» и его движения по ограниченной поверхности катка, то сразу же вспоминается как продолжение и развитие темы и связанных с ней метафор путешествие голландских детей на коньках по Голландии («Серебряные коньки»). Голландию и с Францией любопытно сравнить – там (если не ошибаюсь) и революции случились раньше, да и сегодня в некоторых проявлениях свободы Амстердам, как известно, заметно обскакал Париж – вот уж где на сегодняшний день прямо-таки физически ощущаются всякие «вихри».

А что касается «вихрей», так сказать, естественно – (а может, и неестественно, а как-нибудь уже иначе) научных, то к диаде Ньютон – Декарт неплохо бы добавить и жителя Голландии – Гюйгенса (внесшего, кстати, свой вклад – опыт с синхронизацией часов – в то, что в конце XX века выросло в теорию хаоса). Кстати, Бенуа Мандельброт – создатель фрактальной геометрии – американец, по-моему, не просто французского происхождения, но и выросший во Франции. Но это уже совсем так – а гророс. – *Борис Белкин, переводчик с французского, преподаватель физики, путешественник.*>

22. Теория хаоса, фракталы!.. Поток не утихает. После Франции турбуленция времен несет Путешественника – все ниже по ступеням мира – в Англию, к хаосу демократии.

Ла-Манш. Вместо моря – морская болезнь.

АНГЛИЯ И МЕРИДИАН

23. Попал к сумасшедшим англичанам, не знающим покоя до такой степени, что ударения ставят в слове на первый слог, ударяют по нему, точно по лошади, чтобы она (оно, слово, лошадь с повозкою) неслась вдвое быстрее. Не то у французов: те садятся на последний слог, осаживают слово, не говорят, а гарцуют.

Странное дело, но Карамзин обвыкся в Англии и многое увидел в ней полезного – при всем критическом настрое. *Хвалю англичан, но похвала моя так же холодна, как они сами.*

При этом главная хвала Гринвичу. В нем не проведено еще нулевого меридиана, это случится много позже, сто лет спустя. Но там уже находится госпиталь *матрозов*, ветеранов флота. Здесь они живут в достатке и благополучии. Госпиталь устроен, как музей морской славы, с картами, бронзовыми глобусами, крылатыми Никами и проч.

Музей! Рубеж не в пространстве, но во времени. *Матрозы* в Гринвиче и вместе с ними вся Англия крепко ухватилась за эту черту: меридиан – дословно – полдневная, центральная черта, ось симметрии мира – сам собою начертился.

Англия попала в точку!

«Если немецкий – скелет, то английский – мускулы и сухожилия. По крайней мере таков «русский сон об английском». Английский – тело, поддерживаемое в чистоте и «тонусе», английский – ясность и бодрость, английский – точность (up to the point). Знаменитый английский юмор – это именно точность высказывания и психофизиологическое удовольствие – губы сами растягиваются в *невольной* улыбке, – этой точностью доставляемое. Подтянутый, суховатый, остроумный джентльмен – боксер, скрипач (поэт, художник) и ученый – собственно, и есть оплотненный в типическую фигуру образ английского языка. Американцы со своим ковбойско-полицейским кино просто делают этот образ более демократическим. Но и у них точность на первом месте. Замечательный эпизод в «Великолепной семерке»: один из семи смельчаков с невероятного расстояния стреляет в почти уже скрывшегося за горизонтом бандита. Бандит падает. «Самый прекрасный выстрел, который я видел в своей жизни!» – восхищенно восклицает местный юноша, и мы, зрители, вместе с ним. «Ты хотел сказать – самый бездарный, – отвечает ковбой. – Я метил в лошадь». Попадать надо туда, куда целишь, или, как говорил Честертон, за станцией Charing Cross должна идти не просто станция, а именно Piccadilli Circus. В этом красота и надежда. «Русский сон об английском» – это вера в человека и его возможности. Несмотря ни на что. Вера в то, что замысел, труд по его осуществлению и результат – реально, а не иллюзорно связаны между собой.

Если немецкий – лед, а русский – вода, то английский – наверное, порох. И повторяю: точный удар, меткий выстрел.

О привлекательности, а может быть, и необходимости *английских* черт и качеств для русского языка и культуры свидетельствует хотя бы тот факт, что Набоков (проза) и Бродский (поэзия), произведшие, наверное, наибольшее впечатление на пишущих в России в конце XX века, оба русские «англоамериканцы». На другом полюсе, конечно, Андрей Платонов. Но это отдельная история.

Итак, английский сегодня – это неленивый темп-ритм и *нормальность*, необходимое условие и фон абсурдизма (кстати, тоже именно поэтому выросшего на английской почве), без которого нет современной культуры. – *Дмитрий Веденягин, поэт, переводчик с английского.*

Остров-корабль, именуемый Англией, утвердил себя на меридиане, укротил течение внешних вод, заставил время крутить колеса своей машины. Не так возвышенно и научно, как у немцев с их «нижним» (плоским) морем и горнею ледией (ледником, пиком, точкой) и между ними ручьем (линией – времени), не так, как во Франции вихрево-воздушно (недвижно статично: никто на свете так не разыгрывает статуи, пьесу из одной позы, как француз) – нет, в Англии время используется утилитарно.

Но почему-то именно Англия окончательно мирит Карамзина с водной стихией.

24. В Петербург он возвращается морем, теперь он должным образом темперирован, и морская болезнь его не берет.

Впрочем, вспоминает некую Марию, которая плыла из Америки и померла дорогою; ее выбросили за борт. Капитан, не моргнув глазом, кладет Карамзина в ее же постель – ему уж чудилось, что кладут в гроб. В нем он, точно Исмаил, возвращается к жизни, в Россию.

VIII. ЗЕРКАЛО РАЗВЕРНУТО

Первое впечатление по возвращении.

«Нет город хуже Кронштадта, но и он мне мил».

Нет здесь городов вовсе. В море времени (нерасчерченного) плавают холмы-острова.

Поморы знали один город – Архангельск. Что тогда был для них Новгород? Опять неметчина?

Какой тут встанет город? Или так: какие тут могут быть *города*? Один – ладно, не город, но центр тяжести. Один центр; не сказывается ли тут память о диглоссии, где число для писанного на бумаге слова могло быть только единственное? Умножение числа – от лукавого: не *человеков*, но *человек*, не *святых отцов*, но *отец*, а где написано *отцов* – опасная ошибка, тут хвостом водил рогатый.

Поэтому – один город. И даже не город, но стол под небесами, на который всё взбирается (из моря, со дна) для будущего спасения. Такова Москва. Она же не гора, но яма, в которую всё валится и пропадает втуне. Остальные города – не более чем кальки, как-бы-города, недо-города. Оттого и – *в Москву, в Москву!*

Если подумать, и Москва – не город, скорее уж сумма, сто городов. Или Питер, тут другое дело, это пере-город (чертеж вместо жилья, вместо колокольного звона по утрам барабанный бой), после-город. Всё не город.

(А.Н. Островский: «Петербург – немецкое пятно на русской карте».)

Нету и карты, возможно, еще нет. Все, что есть, самые координаты миллиметровой бумаги – немецкое. Даже ворота в новгородской Софии (решетка одушевленная: цветение координат) и те не наши: увезли – пишут поляки – из Польши.

Нет карты, есть *дно*.

Исходный наш пейзаж, новгородский, обнажен до дна. Это такая «карта», по которой все движется, и Николаю Михайловичу нужен новый закон для описания (удержания) на этой плоскости спешно построенной, выдуманной суши. Нового текста.

Новой истории – или нового мифа? Скажем, для слияния-различения себя с норманнами (эта задача постепенно перед ним вырисовывается) ему нужно помнить: граница между ими и нами проведена по воде.

Поведена, скорее так. Действие длится. Действие – чертеж, рефлексия по поводу разделяющей нас грани, – важнее результата, разделения двух миров. *Поведение* границы занимательно. То течет, то схвачена льдом. Граница следует за языком, и напротив: язык есть следствие этого странного процесса – поведения границы.

На ее фоне все вопросы, тайные и явные, о масонах и политике, характерных чертах русского сентиментализма и собственно о свободе обретают подтекст совершенно своеобразный. Во всяком случае, прежде решительного их разбора требуется оформить заново самое язык, на котором мы будем вести о них разговор.

После поездки за границу «конькобег» Карамзин становится главным участником реформы русского языка. Вот что дал ему поход за море, от воды, по воде, за водою.

ГАРМОНИСТ

Стоит вспомнить, как после путешествия станет гладок *в течении письма* Николай Михайлович. Неровности слога, о которых печалился он, читая направленные «Письма», будут разглажены.

По грани зеркала, равно отражающего Восток с Западом, потечет его письмо.

По оси симметрии построится будущий язык (все время будущий, вчера был будущий и завтра им останется: Набоков поместился в просвете этой оси с его *Zemблей*, слова его *Zemblанского* наречия звенят, как льдинки, осколки стекла; зеркало разбито – ударились о *дно*).

Налицо перелом, грань измерений, на которой западное трехмерие сталкивается с током здешней почвы. На этом переломе мы ищем многомерие будущего языка максимально поместительное. Ищем гармонии.

Вот некоторые наблюдения, способные показать, каково гармонисту играть на грани.

Земля угры: водный горизонт стелется, необозрим; действие его чудесно (от однокоренных *чуди* и *худесника*). Так же близки по корню *волшебство* и *влага*. Волхование прямо связано с волглой субстанцией, водой, влагою. (С Волгой: Николай Михайлович прибыл в Москву из Симбирска.) Многие обряды угры обыгрывают освоение горизонтали водного зеркала. Знакомство с ним начинается с запрета на прикосновение к водной плеве, нарушение ее строгой горизонтальности (на искажение отражения), и заканчивается церемониями массовых игровых погружений в хладное лоно, имитирующих переселение в иной мир.

Горизонталь превалирует, понятия, связанные с вертикальной игрой рельефа (и неизбежно с бегом воды, потоком, *ручьём*), кажутся второстепенными. Но это первые наблюдения; последовательное изучение финноугорского языкового «пейзажа» начнется позже, в начале XIX века, когда после наполеоновских войн к России будет присоединена Финляндия.

Константы его действительны по сей день. Основная часть наших топонимов, в первую очередь гидронимов, пребывает финскою, что неудивительно ввиду способности здешнего языка осваивать дно своим ровно плывущим словом.

Языки мордовский и финский, условно говоря, двумерны. Особенно финский язык: он со своим ровным приращением к корню суффиксов стелется очень ровно. К тому же, чтобы не спугнуть эту (водную?) гладь, согласные у финнов большей частью глухие. Некоторым образом это компенсировано пением гласных, коих много, и часть их удвоена.

В мордовском языке такой ясности нет. Притом он спрятан, залит с запада русским, а с востока тюркским наречиями. Сумма грамматических требований, предъявляемая им, своеобразна. Так, один из исследователей насчитывает в нем одиннадцать времен.

Какое потребуется напряжение, чтобы достичь должного синтеза этих двух текущих один сквозь другой чертежей, двух мифов, двух частей света, неметчины и мордвы? Так перенапряжен Питер, стоящий на финском болоте и поднимающий вертикально вверх немецкие кубы. Он хрупок и склонен к революции. Страница питерского текста рвется поминутно.

Всё это темы будущего исследования.

Что есть письмо и чтение «сквозь зеркало», задом наперед, или в обе стороны, от оси симметрии, от корешка книги? Или по кругу, обнимая мир согласно закону сингулярности?

Тут надобно сложить времена заново, слить и поделить слова.

Учебники мордовской грамматики приводят пример, как двенадцать русских слов сливаются в четыре финноугорских. Предложение на русском языке звучит довольно искусственно, однако само действие – предельное, напиказ, сжатие – придает ему известный смысл.

Предложение о гармонисте.

Я прочитал его и подумал: подходящий эпиграф.

Молодой русский парень хочет продать гармонь и для того, чтобы скорее продать, беспрепятственно играет.

ГАРМОНИСТ. КОНЬКОБЕГ.

Ведущий рубрики Андрей БАЛДИН

Светлана АКСЕНОВА-ШТЕЙНГРУД

КТО МЫ?

ДИАЛОГИ В «ДИАЛОГЕ»

Закончив чтение литературного альманаха «Диалог» (выпуск 3 – 4, главный редактор – Рада Полищук), два тома, семьсот пятьдесят страниц, более семидесяти авторов, я поняла, что совершила подвиг, поскольку давно уже не читала ни альманахов, ни журналов так скрупулезно – от корки до корки. Да и кто читает – в наше-то время оглушительно-обвального информационного стресса?! Но – потрясенная количеством и качеством текстов, я, очевидно, на некоторое время впала в транс. Иначе чем объяснить легкомысленное желание и последующее за ним обещание написать обзор, да еще для такого солидного журнала! Какой обзор, когда даже беглое упоминание обо всех авторах и текстах займет не одну страницу! Это – всего лишь скромные заметки по поводу. А повод – серьезный. «Диалог» назван российско-израильским литературным альманахом. Наверное, потому, что так привычнее и все равно никакое другое название не обозначит многообразие публикаций: проза, поэзия, драматургия, публицистика, исторические очерки, философские эссе, архивные материалы и воспоминания – все мыслимые и немислимые жанры. Причем многие материалы посвящены не только литературе, но и театру, кино, живописи. В публикации разнообразных по жанру, стилю, направлению и эпохам материалов, написанных по-русски, переведенных с идиша, иврита, французского, немецкого, прослеживается четкая логика Рады Полищук – автора идеи, составителя и главного редактора издания. «Диалог» – вот ключевое слово, не просто удачное – единственное, оправдывающее, заменяющее эклектику многоголосицей. Любой человек, а тем более творческий, ведет нескончаемый диалог – прежде всего с самим собой – в поисках цели, призвания, самореализации. Диалог с другим – в жажде любви, понимания, сопереживания. Диалог с Богом (или Природой) – в стремлении вырваться из быта, постичь вечные загадки бытия, жизни и смерти, самого смысла нашего существования. Диалог с обществом, в противостоянии личности и государства, свободы и долга. Диалог со временем, во всех трех его измерениях – прошлым, настоящим и будущим. Диалог поколений, отцов и детей, в их напряженном отталкивании и притяжении. Диалог народов и культур, с их своеобразием и взаимовлиянием. Все это существует на страницах «Диалога», во всех четырех выпусках. Есть и специфическая, но не менее важная тема, объединяющая публикации. О ней точно сказал в июне 1998 года замечательный писатель Лев Разгон: «Это оживленный, порой страстный и всегда захватывающий разговор писателей, поэтов, философов, историков самых разных стран, направлений, эпох. Их всех объединяет самый предмет споров и разговоров, размышлений и воспоминаний – судьба еврейского народа, его культуры и искусства, его связей с другими народами и другими культурами, его прошлое, настоящее и будущее... «Диалог» – это то, что останется после нас. Мы не должны его потерять».

В «Диалоге» объединились не только разные авторы, но и организации, без финансовой поддержки которых такое издание было бы невозможно. Они названы на титульном листе. Это посольство Государства Израиль в России, Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса – Россия), Американский Еврейс-

кий объединенный распределительный комитет «Джойнт», Еврейское Агентство в России.

Издательской культурой отмечены и изящные, точные рисунки Григория Ингера, и художественное оформление, со вкусом выполненное Маратом Закировым. Даже название издательства, подготовившего оригинал-макет, кажется мне не случайным: «Муравей». И забавно, и символично, если вспомнить о неутомимых муравьях-тружениках. Да простят мне соредакторы альманаха Рада и Виктория Полищук некоторую иронию: это – чтобы не впасть в выпренность. А еще потому, что единственное, пожалуй, чего, на мой взгляд, недостаточно в «Диалоге», так это юмора, иронии. А разве нужно что-либо говорить «за еврейский юмор»? Он сам говорит за себя, этот неистребимый смех изгнанника – сквозь слезы всех истреблений и гонений... Впрочем, придираюсь. Вот, например, воспоминания Лидии Лебединской о блестящем остроумце Эмиле Кротком, сочинявшем веселые слова о своей и чужой грустной жизни. «Сделал неосторожной шаг в три тысячи километров» (об аресте и высылке в Сибирь за «антисоветские» басни). «Сплю в очках, чтобы лучше видеть сны». В публикации Бенедикта Сарнова «Наш советский новояз» писатель цитирует и комментирует придуманные и непридуманные анекдоты, стихи, главный герой которых, как иронизировал Михаил Светлов, «товарищ еврей, бывшая жидовская морда».

Но с первых страниц первого тома, со статей популярного ивритоязычного писателя А. Б. Йехошуа «Война культур? Это абсурд» и известного российского критика Льва Аннинского «На ветру и в прибежище», ведущих воображаемый диалог, нас настраивают на вдумчивое серьезное чтение. Одна из основных тем XX века – Катастрофа европейского еврейства. Это тема общечеловеческая, а не только еврейская. И речь идет не только о количестве уничтоженных – шесть миллионов! Советский Союз в годы второй мировой войны потерял много больше. Но впервые полное уничтожение целого народа стало национальной программой другого народа. И человечество допустило это. Как точно сформулировал израильский писатель Бен-Цион Томер: «Трагедия нашего века состоит в том, что не выродки, а обыкновенные (в массе своей) люди совершали чудовищные злодеяния. Произошла прежде всего Катастрофа всех духовных ценностей человечества». Катастрофа Духа привела к тому, что один из героев поэмы Бен-Циона Томера «Письма из страны Мертвых» (речь идет об Освенциме) говорит: «Если Бог все-таки выжил, то здесь он совсем утратил свой облик». Другой поэт и философ, Пауль Целан, писавший на немецком языке, словно отвечает своему ивритоязычному соплеменнику и коллеге в стихотворении «Псалом»: «Тычинок прах из пуст-небесья...». Небеса пусты, и потому: «Нас вновь из глины и праха не вылепит Никто». Публикация Натальи Мавлевич, посвященная Паулю Целану, вместе с переводами его стихотворений, выполненными самой Мавлевич, а также Ольгой Седаковой и Марком Гринбергом, – несомненное открытие альманаха. Судьба Целана, еврейского юноши, родившегося в Черновцах, чудом уцелевшего в нацистском лагере, бежавшего от советского режима, преподававшего в Сорбонне, как пишет Мавлевич, «зеркало истекшего столетия, его имя звучит рефреном к трагическим мотивам XX века». Он переведил на немецкий, французский, румынский Шекспира и Чехова, Аполлинера и Блока, Рембо и Мандельштама. Но этот космополит, впитавший космос мировой культуры, принадлежит прежде всего своему народу и его судьбе, вновь и вновь возвращается к теме Катастрофы: «Еврейская прядь, ты не будешь седой»; «Смерть это немецкий учитель глаза у него голубые». В «Диалоге» опубликованы также отрывки из двух книг: французского философа, социолога, переводчика Филиппа Лаку-Лабарта «Поэзия как опыт» и французского писателя, бывшего узника Бухенвальда Хорхе Семпруна «Литература или жизнь». Пытаясь понять и объяснить стихотворение Целана «Тодтнауберг», посвященное встрече поэта с немецким философом Хайдеггером, Лаку-Лабарт пишет: «Вот о чем идет речь в «Тодтнауберге»: о языке, которым говорил Освенцим, который договорился до Освенцима».

В рубрике «Между дуализмом и диалогом» опубликованы философские эссе Александра Воронеля (Израиль), Григория Померанца и Елены Твердисловы (Россия). В статье Елены Твердисловы речь идет, казалось бы, о сугубо теоретических вещах: о понятии встречи как диалога в современной европейской философии. И здесь неожиданно возникает эта тема: «Но кто мог предугадать, что эти философствования будут заново прочитаны опытом второй мировой войны и Катастрофы в трудах француза иудейского происхождения Эммануила Левинаса (1905 – 1995); кошмар пережитого (в том числе и в немецком плену) заставит его подойти к философии с позиции одной – незащищенной – личности и увидеть, что подлинным мерилom человеческого бытия и истории является этика, интерпретируемая им в свете блага, истины и познания».

Катастрофа духа, распад человеческих связей – в рассказе нобелевского лауреата Исаака Башевиса Зингера «Рукопись» (перевод Михаила Членова). О творчестве Зингера, этого великого еврейского мистика и реалиста, на страницах «Диалога» размышляют критики Лев Аннинский (Россия) и Владимир Френкель (Израиль). Они пишут о разном и по-разному, но снова возникает диалог. Френкель: «Разумеется, тень Катастрофы лежит надо всем этим. Катастрофы, после которой нельзя поверить, что Бог есть, и страшно вообразить, что Егонет, ибо тогда исчезает последняя надежда понять хоть что-то в безумном мире». Аннинский: «...Этот протокольный ритм делает роман «Шоша» – мистически – одной из самых потрясающих книг о трагедии еврейства, а через нее – о трагедии современного человека, тайна бытия которого темна для него самого, ибо путь спасения, который он ищет, он ищет, в сущности, вслепую».

«Яд Ва-Шем» – буквально – место и имя. В современный иврит вошло в значении «память». Этим именем назван в Израиле музей Катастрофы и героизма европейского еврейства». Это – из примечания переводчика с иврита Е. Генделевой к рассказу Аарона Меггеда «Яд Ва-Шем». Внучка старика и ее муж снисходительно выслушивают воспоминания Зискинда об уничтоженном местечке, родных и близких: «...И ничего не осталось. Памятника – и того нет. Прах и пепел». Но они не хотят назвать своего новорожденного сына галутным именем Менделе – в честь внука старика, юного гения-музыканта, уничтоженного фашистами. Зачем, когда так много современных израильских имен? Зачем помнить все это? Вопрос не праздный! Споры о том, нужно ли тащить память о страшном прошлом в настоящее, ведутся в Израиле со дня его основания. Хотя самому своему существованию государство «обязано», как это ни кощунственно звучит, Катастрофе. Стремление забыть трагедию, создать новый мир, нового человека – без комплексов и страха, понятно. Но, как говорит старик Зискинд: «Эх, дети, дети, не знаете сами, что творите. Своими руками продолжаете то, что начали враги Израилевы. Они уничтожали тела, а вы – память и имена».

Память и имена. Этому посвящены многие разделы двухтомника, в том числе «Забывтые страницы», «Кадиш по местечку», «Архивы, воспоминания». Это и глава из монографии Леонида Юниверга «Немецкий погром», и публикация Евгения Иглицкого «Из истории одесского еврейства» – о трагической судьбе семьи Иглицких в дореволюционной Одессе: интеллигентов и интеллектуалов Михаила Моисеевича Иглицкого и его сына Ильи. Это и записки доктора Билинкиса о еврейских погромах на Украине «О жизни внутри смерти»

В «Казни» Юрия Давыдова (отрывке из книги «Этот миндальный запах») юный Яша Шапиро становится революционером, чтобы защитить свой народ от погромов, приблизить время, «когда будут люди-братья». Какой новой трагедией обернется этот идеализм – и для России, и для русского и еврейского народов, казненный Яша не узнает. Зато узнал вместе с миллионами других Григорий Прейгерзон, ученый-горняк, чужак, всю жизнь писавший на иврите об уничтоженном еврейском местечке. Писал в сталинских лагерях и московской квартирке. Прейгерзон умер в Москве в 1969 году, а его книги на иврите издаются в Израиле. Русскому читателю он практически неизвестен. В альма-

нахе опубликован рассказ Прейгерзона «Между Пурим и Песах» в переводе Лили Баазовой. О еврейском местечке и рассказ «Пятно» Ривы Рубиной. Она писала на идиш и сама переводила свою прозу на русский. «Я не умею отмотать вину» (памяти мамы) – так озаглавлена подборка стихов дочери Рубиной – Елены Аксельрод, бывшей московской, а ныне израильской поэтессы. Подборка ее стихов, опубликованная в альманахе, – это диалог, разговор с матерью и отцом, художником Меиром Аксельродом, это «Плач по непрочитанным книгам»:

Осколками желтых звезд город чадающий вспорот...
Куда они подевались – те, кто тебя читали?

В «Кадише по местечку» опубликован рассказ Григория Кановича, писателя из Литвы, ныне живущего в Израиле. С рыцарской преданностью, философской глубиной и пронзительной лиричностью всю жизнь создает Канович на русском языке летопись литовского еврейства, уничтоженного, исчезнувшего мира местечка. С ним перекидывается эссе ныне живущего в Париже Бориса Носика – о замечательном художнике парижской школы Хаиме Сутине, о белорусском местечке Смиловици, откуда родом и Хаим Сутин, и предки самого Носика.

Из этого исчезнувшего мира вышли Марк Шагал, Овсей Дриз и много других замечательных поэтов, художников, музыкантов, артистов. Например, великий Михоэлс, судьбе и творчеству которого посвящено в «Диалоге» два театральных произведения: пьеса Якова Кумка «Играй, Михоэлс!» и поэма-оратория для хора, солистов и оркестра «Поющий Михоэлс» Марка Розовского.

В разделе «Театр» опубликована еще одна пьеса, что уже само по себе неслыханно для альманахов, обычно не жалующих драматургию. «Это великое море» Йосефа Бар-Йосефа, как и другие его пьесы, перевела на русский язык прозаик Светлана Шенбрунн. Один из немногих примеров удачного многолетнего творческого сотрудничества двух израильских писателей. В разных театрах России с успехом идет несколько пьес Йосефа Бар-Йосефа. Например, спектакль «Трудные люди», поставленный главным режиссером московского театра «Современник» Галиной Волчек. Действие новой пьесы драматурга происходит в пятидесятые годы. В Тель-Авиве, на берегу моря, поселяются молодой адвокат Ноах, сбежавший из ультраортодоксального иерусалимского квартала в другую жизнь, символом которой кажется ему море, и его жена Пнина, страдающая от разрыва с близкими, с привычным укладом жизни. Их соседи – новые репатрианты: инвалид Миша, потерявший на войне ноги, и его жена Рита, жаждущая наслаждений – после всех пережитых ужасов. Но невозможно порвать с прошлым, и ампутированная душа болит так же сильно, как ампутированные ноги, отказ от идеалов и веры приводит к пустоте, а суетливые поиски смысла – к бессмыслице. Каждый из героев пьесы терпит крушение в столкновении с эти великим морем – морем жизни...

Пустота гложет и героя рассказа Шамаа Голана «Неодолимая слабость» (авторизованный перевод с иврита Анатолия Кудрявицкого). Школьный учитель Сегал, пытаясь вырваться из небытия каждодневной привычной суеты, бросает работу, уходит из дома, но – ненадолго, потому что гораздо труднее убежать от самого себя и собственной «неодолимой слабости»... Зато герои рассказа Эли Люксембурга «Ворота с калиткой», пройдя через трагические обстоятельства жизни, обретают чувство гармонии – с окружающим миром, собой и близкими – в ощущении божественного присутствия, вере в Бога. Эта вера – не умозрительная, а живая и искренняя, как у самого автора, на какое-то время утешает. Как пишет в послесловии Рада Полишук: «И я ему верю, преодолевая собственное неверие...».

Удачей «Диалога» кажутся мне публикации стихов двух замечательных поэтов, двух патриархов – израильского и российского: Иегуды Амихая, с чьим творчеством русский читатель почти незнаком, и Семена Липкина. Грустный мудрец и тонкий лирик, Семен Липкин долгое время был известен как переводчик. И только в последние годы мы познакомились со стихами поэта, которые он почти всю жизнь писал «в стол». Иегуда Амихай родился в 1924 году

в Германии. Когда ему было двенадцать лет, семья бежала в Палестину. Избежал Катастрофы. Не погиб, сражаясь против фашистов в составе еврейской бригады британской армии. Не пал в войне за Независимость и других войнах Израиля. Не погиб в войне с фашизмом, не сгинул в сталинских лагерях и Семен Липкин. Оба выжили и стали поэтами. Такие непохожие, незнакомые друг с другом, пишущие на разных языках, воспитанные в разных культурах, они ведут неожиданный и в то же время закономерный диалог, совпадая в главном, как, очевидно, совпадают все истинные поэты: почувствовать чужую боль как свою собственную; рассказать о своих личных чувствах и переживаниях так, что они становятся достоянием другого – человека, народа, мира. Совпадения в мироощущении пишущих «на двух разных концах земли» порою кажутся удивительными, мистическими. Вот начало стихотворения Иегуды Амихай:

Я пал в бою на подступах к Ашдоду,
и теперь, спустя тридцать лет,
мама говорит: «Ему пятьдесят четыре».
И зажигает поминальную свечу,
Словно свечку на торте в день рожденья.

(Перевод с иврита А. Графова)

В том же, 1967 году Семен Липкин пишет стихотворение «Зола».

Я был остывшею золой
Без мысли, облика и речи,
Но вышел я на путь земной
Из чрева матери – из печи.
Еще и жизни не поняв
И прежней смерти не оплавав,
Я шел среди баварских трав
И обезлюдевших бараков.
Неспешно в сумерках текли
«Фольксвагены» и «Мерседесы»,
А я шептал: «Меня сожгли.
Как мне добраться до Одессы?»

Смерть в печах Освенцима – бессмысленная, бесчеловечная, безнадежная трагедия, гибель в войне за Независимость Израиля – надежда на возрождение. Но «меня сожгли» и «... пал в бою» – одинаковое чувство сопричастности, идентификации себя – со своим героем и своим народом. В слове и сердце поэта продолжается жизнь уничтоженных и павших. В тоске о мире обреченного воевать: «О, эта разодранная страна, как одежды, которых не залатать»; «Все люди были детьми и пахли миром»; «А я хотел бы умереть в своей постели» (Иегуда Амихай). Последнее его желание сбылось, он умер в вечном городе, о котором когда-то сказал так божественно: «Иерусалим – Венеция Бога». «Что мы знаем, поющие в бездне?» – спрашивает Семен Липкин. «Дети рисуют историю моей жизни и историю Иерусалима лунными мелками на асфальте», – отвечает Иегуда Амихай...

Обширен и интересен раздел «Их век XXI», в котором представлены стихи и проза молодых литераторов России и Израиля. Среди них есть люди с литературным и житейским опытом и совсем юные, начинающие. Но, как пишет Рада Полищук в предисловии, «нет возраста у творца, есть память о прошлом и устремленность в будущее». Подборку стихов российских поэтов составил Анатолий Кудрявицкий, израильских русскоязычных – Елена Аксельрод. Стихи ивритоязычных поэтов подготовила и перевела Гали-Дана Зингер, прозу – Некода Зингер, Наталья Левина, Оскар Минц. Двадцать четыре автора представлены в этом разделе. Любопытно отметить, что ивритоязычные молодые литераторы больше заняты поиском формы, нежели их молодые русскоязычные собратья – российские и израильские. Быть может, сказывается классическая школа русской литературы с ее извечным поиском смысла. У одних – вещи более зрелые, у других видны следы ученичества (что закономерно в молодости), но нет невнятных, невыразительных, вялых текстов. Многих хочется процитировать, но, поскольку это в короткой статье сделать

невозможно, назову хотя бы их имена – в той последовательности, в которой они опубликованы: Александр Рапопорт, Ася Шнейдерман, Максим Гликин, Герман Гецевич, Ася Завельская, Евгений Шкловский, Василий Розен, Шоам Смит, Петр Межурицкий, Павел Лукаш, Цруйя Шалев, Этгар Керет, Денис Липатов, Яков Шехтер, Наталия Пылаева, Ривка Баринштейн, Ярослава Фаворская, Виктория Орти, Рами Саари, Шимон Адаф, Эфрат Мишори, Якир бен-Моши, Шарон Асс, Керен Климовски. И все-таки приведу несколько строчек. Не потому, что они лучшие, а в качестве примера переключки времен и поколений. Эхо Катастрофы, войны, ГУЛАГа, ужас уничтожения в стихотворении об осени:

желтые шестиконечные
листья
деревьям приказала носить...
(Ася Шнейдерман)

или:

Полукровка... Названья горчей
И больше никто не придумал.
Только пепел летит из печей.
Только проволока – караулом.
(Виктория Орти)

У Ярославы Фаворской:

Троллейбус проплывает мимо остова взорванной синагоги,
И рушатся схемы, оставляя нагие каркасы.

У Керен Климовски:

Меня ластиком стирают с земли
И нет грозových отдушин.

Однако в генетической памяти народа, которая передается молодым, – и преодоление трагедии, и огромность жизни, и вечный диалог:

шагнешь за порог и чужая жизнь
обступает тебя
она неисчерпаема и безгранична
в ней действуют законы больших чисел
(Александр Рапопорт)

Проблема самоидентификации важна для каждого человека и народа, но особенно остро она ощущается евреями. Кто мы? Кто мы, потерявшие в годы Катастрофы треть народа, сотворенные из праха, восставшие из пепла? Кто мы, рассеянные во времени, разбросанные в пространстве, говорящие и пишущие на разных языках, выросшие в разных культурах, такие непохожие друг на друга и все же причисляющие себя к одному народу? Этот вопрос – прямо или косвенно задают себе и другим все авторы альманаха. И не находят однозначного ответа, потому что его нет в неоднозначно-сложном мире. А есть только надежда на продолжение диалога.



Ирина ЛИПОВЕЦКАЯ

Воспоминания для настоящего

Знаменитый белый коридор Кремлевского дворца был и остается яркой и непреходящей метафорой кулуаров власти. В этом еще раз убеждает книга, выпущенная издательством «Вагриус», «Совершенно несекретно» с подзаголовком «Кулуары российской власти» Сергея Филатова – одной из ключевых фигур российской политики последнего десятилетия, – который три года возглавлял Администрацию Президента, а затем общественное движение поддержки Б.Ельцина на президентских выборах 1996 года. Автор не без горечи пишет об атмосфере в кремлевских коридорах власти, метко изображает противоречивые портреты наиболее значимых государственных деятелей.

Книги такого рода писать вообще тяжело, особенно если есть внутренняя авторская установка – не опускаться до уровня бульварных изданий с полным арсеналом средств и приемов заманивания широкой публики. И хотя название книги утверждает, что все поведенное в ней совершенно несекретно, прочтя до конца, понимаешь, что писатель обладает-таки одним секретом. Он знает, как рассказать о непростых событиях политической жизни, не впадая в спекулятивный пафос обличения или, напротив, подбострастия. За ровным тоном повествования читатель, без сомнения, увидит серьезные авторские размышления о становлении демократической власти, о природе путча, о реформах: «Расчет подлинно демократического государства всегда основывается на том, что все его институты высокопрофессиональны, не политизированы, ответственны и все мерки, с которыми мы подходим к своим государственным структурам, приближены к идеалу. Но вот когда в этом расчете что-то не срабатывает и происходит сбой, тогда и начинается давление на человека, занимающего высший пост: «Что же ты, президент? У тебя власть – ты ее примени!»». Но вместе с этим возникает вопрос, на который никто отвечать не хочет: как применить власть? Так же, как большевики? Тогда зачем эту власть было у них брать? Если же применять ее высокоинтеллектуально, как это делается в цивилизованных странах, тогда нам придется ждать еще несколько лет, пока мы поднимемся к соответствующему уровню и у нас появятся соответствующие кадры и развитая судебно-правовая система. Но я о дне сегодняшнем. А его главная проблема состоит в том, что из-за неподготовленности кадров, из-за отсутствия четкого законодательства и по целому ряду других причин – в том числе и в силу инерции нашего все еще пробольшевистского мышления – нам требуются величайшие терпимость и терпение как во власти, так и в обществе».

Интересны и полезны страницы, где события последнего десятилетия исследуются не только для понимания логики политической борьбы тех лет, но и для того, как приобретенный опыт можно с пользой транспонировать в нынешнюю ситуацию.

Но все же основная тема книги – это наркомания власти – так и назвал одну из глав Филатов. Когда это было? Вчера, в прошлом веке, несколько лет назад? Позабывтое время. Намеренно не перечисляю тех, о ком так или иначе упоминает повествователь, – их много, многие уже исчезли с политического горизонта: читаешь ту или иную фамилию, и как наваждение – помилуйте, а

ведь действительно был такой, заполнял собой теле- и радиоэфир. И как заполнял! А ныне где он? Здесь как нельзя к месту вспоминается, что писал Гоголь своему «близорукому приятелю»: «...ты стремишься изо всех сил быть похожим на тех государственных людей, которые скоро блеснули и скоро исчезли, которые имели в себе все для того, чтобы сделать множество добра, которые даже пламенели желаньем сделать добро, даже работали, как муравьи, всю свою жизнь, и при всем том не осталось после них никакого следа, и сама память о них позабыта; как исчезнувший круг на воде, исчезнула жизнь их посреди России».

И в наши дни «исчезнула», как круг на воде, политическая карьера некоторых, и не всегда только по воле злой фортуны, часто вступали в борьбу силы отнюдь не мифические. Вот как описывает это автор книги: «Схема stalkивания проста и хорошо отработана: ближайšie в окружении президента (обычно это люди из службы безопасности) после прослушивания разговора между тоже ближайшими, только другими, подают информацию наверх и, конечно, в небезобидном, порой необъективном для одного из абонентов, виде. А далее такая информация накапливается, и только от техники исполнителя зависит, как и когда привести дело к развязке. Сколько людей оказалось жертвами такой дьявольской кухни!.. В первый же день моего пребывания на посту руководителя Администрации ко мне пришел некто полковник Гольцов и представился руководителем закрытой аналитической группы в Администрации Президента. То, что он мне рассказывал, вызывало у меня внутреннюю брезгливость, но я заставил себя выслушать его до конца. Речь шла о ближайшем окружении первых лиц государства, и все сплетни, вся грязь оказались озвученными у меня в кабинете. Я понял, что это никакая не аналитическая группа, а просто-напросто обыкновенные стукачи. Когда я услышал, что у Бурбулиса два сотрудника работали на эту группу, то отказался вообще брать к себе кого-либо из аппарата Геннадия Эдуардовича (за что, наверное, он до сих пор на меня косится), а аналитическую группу распустил, даже не познакомившись с ее составом. Правда, предварительно я спросил у Бориса Николаевича: знает ли он, кто такой Гольцов? Получил отрицательный ответ. А после того как я вкратце рассказал ему, чем этот Гольцов занимается, Борис Николаевич поморщился: «Гоните»... Однако непотопляемый Гольцов так и оставался на службе у премьера, ему, уж не знаю, за какие заслуги, даже присвоили звание генерала – такие чудеса встречаются в нашей стране... А этот эпизод довольно наглядно характеризует методы, которые, наверное, и поныне имеют место на верхнем уровне власти. Мы порой гадаем, отчего так складываются или вообще не складываются те или иные отношения, а разгадка-то, если до нее докопаться, бывает очень простой... К тому времени ко мне от службы безопасности уже начали поступать записки-письма с отрицательными оценками работы отдельных наших сотрудников, как правило, ответственных и наиболее толковых, с намеками на их якобы принадлежность к иностранным разведывательным службам. Сначала я отнесся к этим посланиям серьезно и сделал некоторые перестановки: одного направил учиться, второй уволился сам, как только порочащая информация дошла до него: видимо, еще по инерции боялся связываться со спецслужбой. Причем я с каждым разом все больше убеждался, что эти письма – неправда, заведомые оговоры честных людей. Дальнейшие события и поток аналогичных бумаг подтвердили мои сомнения и показали, что идет целенаправленное выбивание ключевых фигур из администрации»...

Конечно, было бы нелепо предположить, что, будучи руководителем Администрации Президента, Сергей Филатов не уделит Борису Ельцину в своей книге должного внимания. Есть не только глава, посвященная первому российскому президенту, но и по всему тексту мозаично разбросаны эпизоды, высказывания, размышления, касающиеся противоречивой фигуры первого лица России. Пересказывать или интерпретировать все написанное – дело не только неблагодарное, но и безнадежное: всегда лучше прочитать. Замечу лишь, что описано многое и описано интересно, а самое главное – достойно. Последнее слово особенно хотелось бы подчеркнуть: достойно даже не лица, о ком речь, а самого писателя, российского интеллигента, у которого с дет-

ства в семье культивировалось искусство общения с людьми и еще – искреннее стремление добиться процветания Родины. Многие в формирование будущего общественного деятеля заложила его мать, которая практически всю свою трудовую жизнь одновременно занималась и общественной работой. Это уже потом, в студенческие годы, Филатов осознал, что только на низшем уровне общества сохранялись товарищеские, человеческие отношения, далее была – по меткому определению автора – «страна говорунов», царство номенклатуры, где властвовала виртуозная демагогия...

Сергей Филатов в своих воспоминаниях избежал соблазна впасть в дешевую беллетристику, когда тот или иной документальный эпизод, в зависимости от авторской задачи, непременно расцветчивается деталями, например, описанием погоды: от холодного осеннего дождя до вешнего ветерка, – или описанием интерьерера кабинета, или, того хуже, описанием душевного состояния владельца этого кабинета – высокопоставленного чиновника, лицо которого непременно должно светиться радостью, пылать негодованием и т.д. Филатов не следовал этому на первый взгляд очевидному пути и оттого только выиграл. Книга при всей намеренной сдержанности повествования несет сильный эмоциональный заряд и в то же время дает читателю право самому домысливать описанное. Драматизм многих политических ситуаций последнего десятилетия нашей отечественной истории постигается через ровный, строгий, порой намеренно отстраненный авторский рассказ.

Но ошибется тот, кто из вышесказанного делает вывод, что книга суха и беспристрастна. Чего стоит эпизод с плачущим Михалковым: «Когда первую премию за кинофильм «Урга» получил Никита Михалков, он попросился на встречу. И начал разговор с того, что никогда не думал получить премию от президента, против которого он выступал вместе с Руцким. Я объяснил Никите Сергеевичу, что в комиссии такой принцип: политика – отдельно, искусство – отдельно. И его «Урга» – истинно талантливая вещь. Никита Сергеевич, к моему удивлению, даже прослезился: настолько его ошеломило решение комиссии и президента.

– А что, и президент такого же мнения?

– Да, я специально обратил внимание Бориса Николаевича на фильм, когда докладывал результаты работы комиссии. Он все поддержал.

– А можно мне с ним встретиться?

– Думаю, можно. Я буду об этом просить.

И такая встреча состоялась, после чего Никита Сергеевич стал союзником президента и много сделал для его победы на выборах 1996 года.

Он не поверил в возможность премии и на следующий год, но удостоился еще одной – за картину «Утомленные солнцем»...

Не часто встретишь в наше время книгу политического или общественно-го деятеля, где каждая глава предварялась бы поэтическим эпиграфом, стихами Бориса Пастернака, Наума Коржавина, Леонида Мартынова или Александра Твардовского. Для нашего же автора обращение к поэзии – естественно, и не только потому, что он воспитывался в литературной среде: отец был профессиональный писатель. Сергей Филатов, теперь уже и сам профессиональный писатель, побывавший на «государевой службе», остро чувствует силу притягивающую и одновременно отталкивающую друг друга: писатель и власть.

Можно еще и еще рассуждать о достоинствах или промахах автора, но безусловным останется одно – книга «Совершенно несекретно» с ее устремлением в будущее написана порядочным человеком, в том изначальном смысле слова, который вкладывали в него люди эпохи Возрождения: «...обязанность порядочного человека – учить других, как сделать все то хорошее, чего сам он не сумел совершить из-за зловредности времени и фортуны. Когда окажется много людей, способных к добру, некоторые из них – те, что будут более всех любезны небу, – смогут претворить это добро в жизнь».

Кирилл КОБРИН

Музей

Предуведомление

«...И вовсе не потому, что хочется новых иерархий, или что устал от бесконечного релятивизма, или просто словосочетание понравилось. Никакое эстетическое размышление о жизни, а автор этого текста, увы, размышляет о жизни преимущественно в эстетических категориях (что несложно угадать, глядя на его вечно недовольную физиономию), невозможно без постоянного припоминания неких образцов, с которыми невольно сравниваешь тот или иной феномен. Ибо, чтобы вынести суждение, надо *сравнить*. И тогда возникает два варианта – либо сопоставлять две вещи в их временном статусе (скажем, песенку сегодняшнюю и вчерашнюю), либо «временный субъект» сравнивать с субъектом вечным; вечным, естественно, не буквально, а занимающим позицию вечного в твоём мышлении. С образцом. С твоим приватным «золотым метром». Так писал я год назад, открывая эту рубрику, выставку персональных образцов для сравнения всего и вся, архетипов художественного и исторического мышления. За это время музей пополнился. Некоторые его экспонаты я выставляю лишь для частных экскурсий, другие пылятся в запасниках, третьи, часто приобретенные за бесценок (или, наоборот, за которые заплачено головокружительно много), уже размещены под стеклом, окружены незримыми щитами сигнализации, снабжены приличествующими объяснительными табличками. Предлагаю читателю тексты с двух таких табличек. Одна из них прибита к стене рядом с громоздким экипажем, который не столько экипаж в физическом смысле, сколько вполне причудливое отображение в духе коллажей Макса Эрнста, клуба ассоциаций и неявных воспоминаний, возникающих в мозгу бывшего советского мальчика при слове «экипаж». Мальчика, который был безума от Дюма и книг про Французскую революцию. Того самого, который потом был без ума от сочинений другого мальчика, англомана и ненавистника всяческих революций; кроме, пожалуй, классификаторских в энтомологии. Сравните мой экипаж с вашим. Может быть, ваш – совсем другого свойства? Тот, на котором совершала любовную поездку госпожа Бовари? Достопамятная бричка бывшего таможенного чиновника? Лондонский кэб, который Шерлок Холмс призывал словно собачку – свистом?

Второй экспонат окончательно имеет отношение к сознанию, а не к грубой вещественности. Демонстрируется архетип мономании, навязчивой идеи, которая в творчестве некоторых сочинителей приобретает статус сквозной темы, сквозного сюжета. В некоторых случаях критики говорят о мета-романе. Почти все крупнейшие писатели прошлого века были несколько в этом роде – пражский крючоктвор, пижон с Большой Морской, тщедушный рисовальщик из Дрогобыча, беспощадная ленинградская блокадница. И, конечно, слепой библиотекарь из земель, населенных антиподами. Выставленный экспонат имеет вид игрушечного картонного театра, в котором все время разыгрывается одна и та же сценка.

Увы, выставка получается довольно скучной; все же, надеюсь, она доставит посетителям несколько странных мгновений. То ли припоминания, то ли узнавания...

Карета (два бегства)

Деревня Варенн на востоке Франции. Арка ворот, ведущая внутрь селения, похожего, как утверждают некоторые, на перевернутое седло. В ночи журчит невидимая речка Эра. У ворот толпится с полдюжины людей, кое-как одетых, вооруженных громоздкими ружьями. Подъезжает огромный роскошный экипаж, «берлин», как называли такие в конце восемнадцатого века: на высоких красных колесах, обитый внутри белым угрехтским бархатом, с зелеными шторами – так описал его потомок баронессы Корф, на имя которой было заказано это транспортное чудо. Во тьме раздаются крики «Стой!», вспыхивают спрятанные под полой фонари, кто-то хватается за лошадей под уздцы, а дула уже направлены на пассажиров экипажа. Прокурор общины Варенна требует паспорта проезжающих. Почтмейстер Друэ, изучив при неверном свете документы, объявляет: «Почтенные путешественники, будь они спутники баронессы Корф или лица более высокого звания, быть может, соблаговолят отдохнуть у господина Сосса до рассвета!» Пассажиры вынуждены подчиниться, а наутро, в сопровождении словно по волшебству появившихся десяти тысяч национальных гвардейцев, их отправляют под барабанный бой назад в Париж.

20 июня 1791 года семья французского короля Людовика Шестнадцатого бежала из охваченного революцией Парижа. Формально царствующим Бурбонам ничто не угрожало; Людовик и его супруга Мария-Антуанетта оставались на троне, впрочем, их власть была ограничена Национальным Собранием, готовящим конституцию. Но на самом деле с того рокового дня 14 июля 1789 года, когда парижская толпа расправилась с немногочисленными инвалидами, охранявшими Бастилию, обстоятельства становились все более и более угрожающими для Бурбонов, а революционеры – все более и более кровожадными. Людовик, этот нерешительный флегматичный толстяк, так же как и его легкомысленная супруга, были не из тех монархов, которые могли бы управиться с восставшим народом. Выход оставался один – уехать. Но короля не пускают даже в окрестности Парижа. 18 апреля он пытается посетить городок Сен-Клу, однако революционная толпа со знаменитым оратором Дантоном во главе не дает ему покинуть дворец Тюильри.

Спасение царственной семьи замышляют маркиз де Буйе и швед граф Аксель фон Ферзен, ближайший советчик Марии Антуанетты. Первый готовит посты и конвой из роялистски настроенных офицеров и солдат, второй продумывает пути и способы бегства. Вот тогда на сцену и является знаменитый «берлин»; Ферзен заказывает его для некоей русской баронессы Корф, которая якобы вместе с камеристкой, лакеем и двумя детьми собирается вернуться домой. Мария-Антуанетта и должна была стать этой Корф, а сам король – лакеем (что, между прочим, неявно соответствовало распределению ролей в этой несчастной семье).

В ту человеческую еще эпоху, когда не было ни мобильных телефонов, ни электронной почты, организовать такое мероприятие, как побег монаршей семьи, было крайне сложно. Королева бесконечно затягивала срок отъезда, закупая зачем-то для себя все новые и новые платья и дорожные сумки. Наконец, когда уже даже беззаботный и недалекий революционный комендант Тюильри Гувьон стал подозревать неладное, царственная семья бежала.

Удивительно, что за этот сюжет не ухватился Александр Дюма-старший. Попытка роялистов увести Бурбонов очень напоминала отчаянную операцию постаревших на двадцать лет мушкетеров по спасению английского короля Карла Первого от безошибочной логики мщения Кромвеля. План начал срываться с первых же шагов: прогрохотав по улицам спящего Парижа с опозданием на два часа, экипаж баронессы Корф стал нестерпимо медленно двигаться на северо-восток. Почти за сутки безостановочной езды он проехал всего 120 километров. Расставленные де Буйе пикеты, не дожидаясь королевской семьи, сворачиваются и уходят или же вынуждены перемещаться между деревнями, чтобы не вызвать подозрения у местных жителей.

Но, конечно, наиболее подозрительным был сам экипаж и его пассажиры. В деревне Сен-Менуэльд, где фальшивые Корфы переменяли лошадей, почтмейстер Друэ обратил внимание на странное сходство лица лакея баронессы с профилем, изображенным на ассигнации. Бравый патриот и республиканец понимает, кто перед ним, – весть о бегстве королевской семьи из столицы донеслась и до этих мест. Друэ седлает лошадь и скачет вперед, чтобы остановить экипаж Бурбонов в Варенне. Дальнейшее известно.

Возвращенные в Париж Бурбоны ничего уже, кроме ненависти и презрения, не вызывали. Участь их была решена. Несмотря на принятую вскоре конституцию, сохранявшую монархию, Людовик Шестнадцатый и его семья оказались под негласным арестом. Восстание 10 августа 1792 года, свергнувшее монархию, поменяло только условия заключения, а еще чуть больше, чем через год, все было кончено: сначала гильотинировали короля, затем – королеву, а наследник престола, мальчик, дофин, умер в тюрьме. Потом казнили тех, кто казнил монаршую семью. Затем пришел молодой и энергичный генерал и разогнал всех оставшихся в живых честолюбцев и создал Первую империю. Именно ее солдаты в 1812 году усеяли своими костями Старую Смоленскую дорогу в России, вернув некоторым образом долг баронессе Корф.

И еще одна русская деталь. Роскошное описание злополучного «берлина», процитированное мной, было составлено никогда не видевшим этот экипаж пра-правнуком баронессы – Владимиром Набоковым. Думается, он не зря вспомнил в своих мемуарах «Другие берега» эту историю: ведь сам-то он вместе с отцом и матерью тоже бежал от революции; только не с запада на восток, как Бурбоны, а наоборот.

Три текста о всаднике и городе

Борхес, вообще не склонный баловать читателя тематическим разнообразием, более пятидесяти лет рассказывал одну из своих любимых историй – историю о всаднике и городе. Первая ее версия датирована 1930 годом; уже там содержится почти все, что будет в дальнейших: всадник, кочевник, оказывается в городе. Его растерянность, страх, непонимание. Гаучо, впервые попавший в Буэнос-Айрес, три дня не покидает свою комнату на постоялом дворе. Отряд гаучо обходит стороной Монтевидео, ибо они боятся города. Еще одна банда гаучо врывается в аргентинский городок Парана, но всадники не находят ничего лучше, чем прогарцевать по центральной площади и ускакать под улюлюканье осмелевших жителей. Тридцатилетний Борхес, следуя привычке, которую лелеял потом всю свою чудовищно долгую жизнь, не довольствуется рассказами о южноамериканских ковбоях; в эссе появляются монголы, не знавшие, что делать со взятым ими Пекином, кентавры, побежденные лапифами, пастух Авель, убитый земледельцем Каином, и совершенно излишнее указание на разгром французской кавалерии британскими пехотинцами под Ватерлоо¹. Завершается текст довольно банально: «Пахарь дает жизнь слову «культура», город – слову «цивилизация», а всадник пролетает минутной грозой». Писано благоразумным интеллектуалом, живущим в неинтеллигидельной стране.

Пятнадцать лет спустя после «Истории о всадниках» выходит в свет одна из самых знаменитых прозаических книг Борхеса «Алеф». В эссе «История война и пленницы» тема интелпретируется несколько по-иному. Это уже зрелый Борхес, начинает он с цитаты из Бенедетто Кроче, который цитирует Павла Диакона², который рассказывает историю война-лангобарда по имени Дроктульф, который изменил своему народу и погиб, защищая Равенну, которую осаждали его соплеменники. Лангобарды, конечно, не были всадниками,

¹ Излишнее, так как исторически некорректное. Французы славились своей плохой кавалерией. Атака британских позиций кирасирами Нея – скорее тактический просчет Наполеона, нежели повод говорить о столкновении оседлой и кочевой культур. Тем более что именно французскую жизнь можно скорее назвать городской, нежели английскую, с ее культом деревенских коттеджей и розовых щек.

² Или, быть может, Гиббона, который цитирует Павла Диакона.

они были варварами; так тема «всадник и город» окончательно становится темой «варвар и цивилизация». Город – символ и главное изобретение цивилизации; не будем к тому же забывать, что именно он и дал ей имя. Борхес трактует Равенну, город, точнее – Город, как откровение, которое ослепило варвара. Дроктульф «увидел строй целого – разнообразие без сумятицы; увидел город в живом единстве его статуй, храмов, садов, зданий, ступеней, чаш, капителей, очерченных и распахнутых пространств». Город покоряет сознание варвара эстетически; заметим, тот самый город, который мы сейчас скорее всего сочли бы жалкой полудеревней: грязный, источающий невыносимую нашему нежному обонянию вонь, не приспособленный для жизни. Но дело не в этом. Город, по мнению Борхеса, оказался эстетически сильнее варварства. Нынешние «зеленые», заметим, особенно нажимают на эстетическую привлекательность варварства; их «зеленый мир» – это мир, откуда Дроктульф бежал в Равенну.

Обратный вариант, тот самый, который назойливо предлагают сейчас «зеленые», реализуется во втором сюжете, завершающем «Историю воина и пленницы». Это рассказ о том, как бабушка писателя, англичанка по происхождению, встретила в пампе землячку, родившуюся в Йоркшире. Давным-давно родители привезли ее в Аргентину, индейцы во время набега убили родителей, а саму увезли в пампу. Жена вождя, она не жала о своей судьбе. После этого разговора прошло несколько лет. Как-то раз бабушка Борхеса отправилась поохотиться: «...мужчина на одном из хуторов резалу поймы овцу. Как во сне показалась та индейка. Спешилась и стала лакать свежую кровь». Нет-нет, «зеленые» лакать кровь не будут (хотя вполне способны ее пролить, не животных, конечно, а людей), но стремительно растущее количество гомо сапиенс, питающихся какими-то побегами и цельнозерновыми продуктами, подозрительно быстро растет³.

Эссе Борхеса завершается словами «Не исключаю, что обе пересказанные истории на самом деле одна. Орел и решка этой монеты для Господа неотличимы». Моральная оценка (а в предыдущем эссе она присутствовала, спрятанная под цивилизационной телеологией) растворяется. Остаются удивление, недоумение, растерянность. Неужели для Господа (или для Ничто) цивилизация и варварство неотличимы? Сейчас сказали бы по-другому: это просто пустые слова, некогда придуманные белыми мужчинами для угнетения цветных и женщин.

Тридцать шесть лет спустя восьмидесятидвухлетний Борхес надиктовывает коротенький текст под названием «Нихон». Как все поздние сочинения слепца, перед нами простое перечисление историй, оставшихся в старческой памяти; Борхес усушивает каждую из них до абзаца и тасует. То, что волновало его полвека назад, не упоминается в его речи ни малейшего упоминания. Угасающий писатель говорит только об одном – о том, что совсем скоро он уйдет, так и не познав даже миллионной доли разнообразия мира. Все оказалось тщетным: мир, культура остались чуждыми его человеческому уделу – уделу зачем-то появиться и неизбежно исчезнуть. И вот Борхес исчезает, десятки раз прорепетировав это исчезновение в своей прозе, так по-настоящему и не вступив в «тончайшие из лабиринтов», выстроенные, например, Бертрамом Расселом, Спинозой, древними японцами. И тут вновь появляется история про всадника и город. «Году в 1870-м в гарнизоне Хунина объявились степные индейцы, никогда не видевшие ворот, дверной колотушки, ставней. Они смотрели, касались этих диковин ... и навсегда возвращались в родную глушь». Писатель, который пятьдесят лет назад воспел город, внушающий страх варвару, теперь увидел себя в этом варваре. Из исторически ограниченной метафоры цивилизации (версус «варварство») город превратился в религиозную метафору жизни, куда все мы, будто несмышленные степные индейцы, приходим, чтобы потрогать дверные колотушки и затем благополучно отправиться в родную глушь, небытие.

³ Одна из самых гениальных сцен фильма «Энни Холл» – несчастный герой Вуди Аллена приезжает в ненавистный Лос-Анджелес для тяжелых объяснений с Энни. Она – изменившая Нью-Йорку, Городу, путешавшая в калифорнийскую кинодеревню, назначает ему встречу в вегетарианском ресторане. Герой Аллена приходит раньше и с невыразимой гримасой заказывает «побеги люцерны». Потом добавляет: «И сусло». Занавес. Любовь возможна только в Городе, например, в Яблочном городе, в Нью-Йорке.

Павел БАСИНСКИЙ

ТОМСК

Василий АФОНИН. ДОМ НА ХОЛМЕ (повествование в главах). Томск, «Красное знамя», 2002. Тир. 700 экз.

Автобиографическое повествование, плотное, насыщенное и бесконечно-скоротечное, как жизнь человеческая. Личность автора: из крестьян, вырос среди ссыльных, работал пастухом, разнорабочим, портовым грузчиком. Вечерняя школа, университет, лекции в Литературном институте.

Эпиграф к книге говорит о многом: «Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей» (А. С. Пушкин). Особого презрения я в книге, впрочем, не нашел. Мысли, наблюдения, иногда очень яркие и меткие – есть.

Из письма лично мне, прилагаемого к книге:

«Прошу Вас внимательно прочесть книгу «Дом на холме», сущность которой – жизнь творческих людей в сибирской (российской) провинции, о чем следует давно начать самый серьезный разговор на самом высоком – государственном – уровне, ибо жизнь творческих людей тяжела: полное равнодушие местных вождей, лживость их, малограмотность, невежество, вороватость, а все это я почувствовал самим собой, рожденный в Сибири, прожив тридцать лет в Тюмени... Вот и все».

Полностью с вами согласен, ВасилийАфонин! Но только где он, этот, как вы выражаетесь, «государственный уровень», я, рожденный во Фролове Волгоградской области и двадцать лет проживший в Москве, до сих пор не знаю. Вот и все.

СЫКТЫВКАР

Е. В. НЕСТЕРОВА. ИЗ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ. Сыктывкар, без изд., б. г. Тир. 200 экз.

«Первая творческая группа по осуществлению проекта «Российская народная идея» представляет поэтический сборник Елены Нестеровой».

Мне здесь очень нравится слово «первая». Следует ли думать, что есть (или воспоследует?) и вторая?

Я помню, как смеялось солнце
На дне замшелого колодца.
Как били желтые ключи,
Как разбегались лучи
Тревожной рябью от ведра.
Как наполнило ведро вода.
Как цепкой тенью крался страх.
Как рвался ввысь цеберь в руках.
И отзывался звон цепей
Далеким кликом журавлей.

Мне нравится это стихотворение. Но – может ли играть солнце на дне колодца? Сомневаюсь. Или колодец был так неглубок?

ЕКАТЕРИНБУРГ

Надежда ЯНЬШИНА. СКАЖИ ХОРОШИЕ СЛОВА. Стихи и переводы. Екатеринбург, издание газеты «Штерн», 2001. Тир. 200 экз.

«Автор выражает благодарность управлению культуры администрации г. Новокуйбышевска в лице Тальян Людмилы Владимировны».

Моя душа, как строгий нотный стан,
Где пять линеек означают струны.
Одна струна – поющие уста...

Вторая – наслаждение для глаз...

Другие две – прикосновенье рук.
Дотронешься – пронизывает током...

А пятая и главная струна – Любовь...

Мне все-таки не совсем понятно, почему первые четыре струны есть нечто иное, чем пятая.

Стихи об Иисусе в пустыне:

Твердая походка,
Дух несокрушим.

Это, конечно, не Иисус, а кто-то другой.
Но есть чудесные строки:

Ты слышишь, как в кончиках пальцев
Пульсирует кровь?

Ну как, ну как отделить истинные стихи от неистинных? Если б я это знал, сам бы их писал!

УФА

Владимир ДЕНИСОВ. ЗЕМНАЯ ПЯДЬ. Стихи и переводы. Уфа, «КИТАП», 2001. Тир. 2500 экз.

«Скажу без обиняков: мне симпатичен этот человек с пронзительно-черными глазами евразийца и фигурой былинного русского богатыря. Симпатичны и стихи...» (предисловие Роберта Паля, председателя отделения русских писателей Союза писателей Башкортостана).

Он бил ее не то чтоб слабо,
Не то чтоб сильно, но уж так,
Что по двери сползала баба,
Держась рукою за косяк.

И, тихо охая у входа,
Пока он, оседлав скамью,
«Я шел к тебе четыре го-ода...» –
Хрипел любимую свою...

И это видеть надо, что ли,
Как женщина, прибравши дом,
Неслышно, охая от боли,
Целует мужа перед сном...

Нет, это не надо видеть. Что ли...

КАЗАХСТАН русскоязычный

МАСТЕР ЧЕКАННОГО СЛОВА. 100 лет со дня рождения Габита Мусрепова. Петропавловск, центр «Асыл мура», 2002. Тир. 500 экз.

Габит Мусрепов – классик казахской прозы. В сборник вошли короткие произведения самого писателя, а также разного рода воспоминания и «слова» о нем.

Сцена из советских времен:

«Нас было трое. Министр, ученый и я, писатель. У каждого за спиной тяжелая связка убитых фазанов. Их яркие перья блестят, переливаются на

солнце, словно перья павлинов. Фазаны – сплошь самцы. Самок мы не стреляли...

Связки фазанов волочили за нами по воде. И мы только сейчас поняли, что немного перестарались. Каждый из нас имел разрешение на трех фазанов. На троих, следовательно, девять. А настреляли столько, что едва несли. Всем было немного неловко, поэтому мы брели по воде молча.

Первым заговорил министр:

– Кажется, перегнули палку, а, джигиты? Задержат, неудобно будет.

– Ничего. Ночью поедem. Не заметят...»

Сорокин, ау!

Валерий ЛЮБУШИН. ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ. Лирика. Петропавловск, издательство «Северный Казахстан», 2002. Без тир.

Стихотворные стилизации под Восток. Есть стихи по мотивам Корана.

Не доверяли мы словам пророка,
И Бога попросил Муса простить народ,
Хоть почитали мы Тельца златого
И не хотели видеть Божий небосвод.

Аллах, твое могущество известно,
Ты наш Творец, Судья, Учитель всеблагой...
Когда мы падали от жажды в бездну,
Муса родник воды нашел нам под скалой...

Муса – это, как сами понимаете, Моисей.

Ермек АМАНШАЕВ. ПЕСНЬ МОТЫЛЬКА. Астана, издательский дом «Сарыарка», 2001. Тир. 2000 экз.

Ермек Аманшаев – уже весьма известный в Казахстане критик, прозаик, драматург. Это писатель нового поколения, из когорты молодых казахов, которые весьма уверенно чувствуют себя при президенте Назарбаеве, благоволящем к молодым кадрам. В том числе и литературы, что резко отличает Казахстан от России. Сейчас Аманшаев занимает важный пост в президентском аппарате.

Судя по его критике и эссеистике, Ермек Аманшаев является поклонником экзистенциалистской философии. Кстати, из всех новейших философских систем именно экзистенциализм наиболее органично сочетается с казахской «почвой». Бесконечные степи, «печаль полей» (говоря словами Сергеева-Ценского), кочевая жизнь, полная риска, и т. д. – как-то естественно заставляют размышлять об абсурдности бытия.

Элементы экзистенциализма (скорее всего бессознательного) есть в прозе всех казахских классиков, не исключая и ныне здравствующего Абдижамила Нурпеисова. У Еркема Аманшаева экзистенциализм принимает осознанные, почти «программные» формы.

Очень хороша его серия статей о Мухтаре Ауэзове, особенно о раннем периоде его творчества, с привлечением М. Бахтина, Ф. Кафки, Ф. Достоевского, Б. Паскаля, Г. Марселя и т. д.

Геннадий ЗЕНЧЕНКО. ЧТОБ К ВНУКАМ ШЛА СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ... Петропавловск, «Издательство Северо-Казахского университета», 2000. Тир. 100 экз.

Автор этой автобиографической книги – лучший на севере Казахстана фермер. Взял разваливающийся совхоз и сделал его процветающим хозяйством. Я лично видел. На конеферме кони английской и буденновской пород ценной от десяти до пятидесяти тысяч долларов за одного. Но ферма, объяснил Зенченко, – это так, для души, в убыток.

Книгу читать интересно, как все мемуарное, но незалитературное.

Владимир ШЕСТЕРИКОВ. БЛАГОДАРЮ ЗА ВСЕ, ЧТО БЫЛО. Лирика разных лет. Петропавловск, «Масс-медиа», 2000. Тир. 2000 экз.

Стихи Владимира Шестерикова хорошо известны русским читателям Казахстана. Его оценил еще покойный ныне редактор «Простора» (в лучшую его пору) Иван Шухов.

Стихи трогательные.

Летом мне не хватает снега
И салазок звонкого бега,
А зимой – зеленеющей ивы,
Серебристого плача иволги.
А еще журавлиной стаи,
Улетающей вдаль, не хватает.

Дни пройдут. И снега растают.
Мне чего-то всегда не хватает.
В радость мне не хватает грусти.
Когда тихо – то песни русской,
Ночью мне не хватает дня,
В холод – ласкового огня,
Когда дождь, – голубого неба,
Когда сыт, – то ржаного хлеба!

Сергей ВЕРШИНИН. ЛИХОЛЕТЬЕ. Роман-трилогия. Книга первая. На распутье. Петропавловск, без изд., 2002. Без тир.

Фактически это самиздат. «Все права на книгу принадлежат автору». Ситуация следующая: Сергей Вершинин в небольшом городе Петропавловске пишет себе и пишет трилогию о русской Смуте. Пишет и пишет, невзирая на то, что шанса прорваться на широкий издательский простор практически нет. Слишком уж много на эту тему написано. Впрочем... «Каждый труд благослови, удача!»



ХУЛИО КОРТАСАР. «Я ИГРАЮ ВСЕРЬЕЗ...». Эссе, рассказы, интервью. Перевод с испанского. М., «Академический Проект», 2002.

«Всего реальней мир воображенья. / Он не очерчен рамкой, отворен / познанию, словно ты, сквозь ночь идущий / своим путем, как рыба, как звезда, / поверх границ Истории вступая / в победный танец бытия и снова», – так написал испанский поэт Хосе Августин Гойтисоло в стихотворении «Хулио Кортасар в обсерватории». Собственно, и предлагаемая читателю книга – обсерватория, созданная Хулио Кортасаром. Здесь мы впервые знакомимся с блестящей эссеистикой выдающегося аргентинского писателя (1914–1984). Из этой обсерватории прекрасно видны привычные схемы, сдерживающие неисчерпаемые духовные возможности человека.

ИРИНА БАРАНЧЕЕВА. СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА ШАЛЯПИНА. Жена великого певца и ее судьба. М., «Аграф», 2002.

В 1896 году в Россию по приглашению известного мецената Саввы Ивановича Мамонтова приехала Иоле Торнаги. Здесь она познакомилась с Федором Шаляпиным и осталась в России. Где и пережила две революции, две мировые войны, крушение царского дома Романовых, сталинский террор и хрущевскую оттепель. На долгие годы Иола Игнатьевна была предана забвению. Собственных воспоминаний она не оставила. Ее дочь попыталась написать книгу, но получился лишь очерк. В основу первой беллетризованной биографии жены великого русского певца легла многолетняя и до сих пор неизвестная переписка Иолы Игнатьевны и Федора Ивановича.

АЛЕКСЕЙ БУТОРОВ. СОБИРАТЕЛИ И МЕЦЕНАТЫ МОСКОВСКО-ГО АНГЛИЙСКОГО КЛУБА. М., ОАО «Издательский дом «Литературная газета», 2002.

«Аглицкий» клуб, отметивший в этом году 230-летие, непременной составляющей входил в историю Москвы, дополняя портрет столицы неповторимыми чертами. Нынешнее прекрасно иллюстрированное издание – попытка восстановить связь времен, напомнить о том, как создавалось национальное богатство России, рассказать о тех людях, которым мы обязаны сегодняшними музейными коллекциями. А фамилии представленных в издании меценатов явлены в наши дни символами благородства, чести и радения за судьбы Отечества: Волконские и Вяземские, Шереметевы и Голицыны, Ростопчины и Строгановы... Нынешним членам клуба есть с кого брать пример. Хочется верить – возьмут.

КЛАССИКИ. Лучшие рассказы современных детских писателей. М., «Детская литература», ЗАО «Эгмонт Россия Лтд.», 2002.

Издатели вспомнили детство и решили поиграть в классики. Пригласив в эти самые классики лучших современных отечественных авторов с их лучшими детскими рассказами. Получилось «Литературно-художественное издание для детей от 7 до 70 лет». Прочтение его всеми упомянутыми читательскими возрастными группами улучшит самочувствие и аппетит, напомнит о необходимости никогда не расставаться с чувством юмора. Ибо только в его присутствии возможна ситуация, описанная Сергеем Седовым, когда «Учитель на радостях всему классу пятерки поставил, а шестиклассники стали прыгать через козла на тот свет и обратно».

РЕВЕККА ФРУМКИНА. ВНУТРИ ИСТОРИИ. Эссе, статьи, мемуарные очерки. М., «Новое литературное обозрение», 2002.

Книгу Р. Фрумкиной «Внутри истории» вполне можно было бы назвать «По ту сторону науки». Лингвист с мировым именем в цикле статей, эссе и

мемуарных очерков попыталась показать ученого как человека своего времени, как хранителя культурной традиции в эпоху, когда сам ход истории стремится эти традиции разрушить.

КАТРИН ПАНКОЛЬ. МУЖЧИНА НА РАССТОЯНИИ. (Современный французский роман.) М., «Монпресс», 2002.

Автор пятнадцати романов, профессор французской словесности Катрин Панколь стремительно осваивает отечественный книжный рынок. Читать ее становится модно. Может быть, потому, что в новом своем романе она заставила переписываться двух любовников, обожающих именно книги. Героиня владеет небольшим книжным магазином. Герой, журналист, пишет путеводитель по Нормандии. А еще они одинаково умиляются изящной расстановке книг на полках, то и дело цитируют любимых авторов. Легкий и нежный роман. Роман людей с Книгой.

ГЕОРГИЙ СВИРИДОВ. МУЗЫКА КАК СУДЬБА. (Библиотека мемуаров.) М., «Молодая гвардия», 2002.

«Для меня Россия – страна простора, страна песни, страна печали, страна минора, страна Христа», – уверял композитор. А другой наш великий соотечественник, Дмитрий Лихачев, скорбно замечал: «Георгий Васильевич Свиридов – русский гений, который по-настоящему еще не оценен». По-настоящему он еще нам и неизвестен. Половина его сочинений не исполнена и не опубликована. Только-только открывается для читателей Свиридов и как автор «летучих» записей, своеобразных литературных произведений, накопленных с 1972-го по 1994-й годы. Написанные горячо, умно, талантливо, они являют фигуру исполинского духа и дара.

СТАНИСЛАВ САВИЦКИЙ. АНДЕГРАУНД (История и мифы ленинградской неофициальной литературы). М., «Новое литературное обозрение», 2002.

Книга С. Савицкого не только знакомит читателя с подлинной историей ленинградского андеграунда и его героями – А. Битовым, И. Бродским, С. Довлатовым, В. Кривулиным и другими. В книге помимо того приведен анализ произведений, многие из которых были опубликованы лишь в машинописных изданиях 1960 – 1980-х годов, позволяющий понять, что же объединяло авторов в неофициальное сообщество.

ИЛЬЯ АНИСИМОВ. КАВКАЗСКИЕ ЕВРЕИ-ГОРЦЫ. М., «Наука», 2002.

Впервые изданная в 1888 году, книга давно стала библиографической редкостью. Выдающийся ученый Всеволод Миллер еще тогда указывал, что «о горских евреях в нашей этнографической литературе до сих пор не было достоверных и обстоятельных сведений». А в этом году исполнилось 140 лет со дня рождения горско-еврейского ученого-самородка, этнографа Ильи Шеребетовича Анисимова (Нисим-Оглы). Его монография на сегодняшний день, по существу, единственный источник, благодаря которому с должной полнотой можно составить представление об этнокультурном облике горских евреев до начала процессов модернизации их жизни.

Александр ЯКОВЛЕВ



Содержание журнала «Октябрь» за 2002 год

ПРОЗА

БЕЛОВА Ольга. За голубыми небесами. Рассказ. XII 32	ЕФРЕМОВ Андрей. Любовь и доблесть Иоахима Тишбейна. Рассказ. XII 3	ПОПОВ Михаил. Любимец. Измышление. XII 135
БОБЫШЕВ Дмитрий. Я здесь. УП 129	КАНТОР Владимир. Ногти. Рассказ. П 67	ПЬЕЦУХ Вячеслав. Сравнительные комментарии к пословицам русского народа. УП 126
IX 74	КАНТОР Владимир. Рождественская история, или Записки из полумертвого дома. Повесть. IX 3	РАДЗИНСКИЙ Эдвард. Наполеон: исчезнувшая битва. УП 3
X 138	КЛИМОНТОВИЧ Николай. Далее везде. Окончание. П 78	УП 12
БУБНОВА Людмила. Стрела Голявкина. X 3	КОБРИН Кирилл. Маленькие рассказы. XI 123	РАДОВ Алексей. Сказки. XII 43
ВАНЕЕВА Лариса. Горькое врачество. Рассказы. XII 124	ЛОМОВ Виорэль. Музей. Повесть. П 20	РОЩИН Михаил. Два рассказа из прошлого. У 144
ВАРДЕНБУРГ Дарья. Случай медвежат. Рассказы. XII 56	МАМЕДОВ Афанасий, МИЛЬКИН Исаак. Самому себе. Повесть. III 89	РУДЫХ Гала. Такой устойчивый мир. Рассказ. XII 66
ВИШНЕВЕЦКАЯ Марина. Опыт принадлежности. X 100	МИХАЛЬСКИЙ Вацлав. Весна в Карфагене. Роман. I 57	СКРИПКИН Владимир. Тинга. Роман. УП 3
ВУЛЬФ Виталий. Преодоление себя. Из книги «Серебряный шар». УП 81	У 118	СОЛНЦЕВ Роман. Полураспад. Из жизни А.А. Левушкина-Александрова, а также анекдоты о нем. У 3
ГАВРИЛОВ Анатолий. Берлинская флейта. Повесть. П 3	У 127	УП 75
ГЕЙДЕ Марианна. Иван Григорьев. Рассказ. XII 62	Х 55	ХАЗАНОВ Борис. Возвращение. Повесть. I 4
ГЕЛАСИМОВ Андрей. Жажда. Повесть. У 89	НАЙМАН Анатолий. Б.Б. и др. Роман. III 3	ХУРГИНА Александр. Три рассказа. I 95
ГОРЛАНОВА Нина, БУКУР Вячеслав. Афророссиянка. Рассказ. III 123	ОБРАЗЦОВ Петр. Так бывает. Рассказы. IУ 143	ХУРГИН Александр. Рассказы. УП 3
ГОРЛАНОВА Нина, БУКУР Вячеслав. Сторожевые записки. Повесть. III 117	ПАСТЕРНАК Аркадий. Сонька-помойка. Воспоминания покойника. III 117	ШЕВЧЕНКО Ольга. Зыезда. Рассказ. XII 50
УП 86	ПЕТКЕВИЧ Юрий. Бессонница. Повесть. XI 3	ЩЕРБАКОВ Александр. Пах антилопы. Повесть. XII 88
ГРАФСКИЙ Юрий. Как звали лошадь Вронского? Повесть. XI 89	ПОПОВ Евгений. Мастер Хаос. Открытая мультиагентная литературная система с послесловием ученого человека. IУ 3	
ДОРОФЕЕВ Александр. Карибские рассказы. IX 107		<i>Нечаянные страницы</i>
		ПОПОВ Валерий. Век такой, какой напишешь. УП 125

Дневник писателя

ЗАДОРНОВ Михаил.
Египет.
X 110

Место жительства

ТАРКОВСКИЙ Михаил.
Жизнь и книга.
IX 122

**ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ**

ШЕНГЕЛИ Георгий. Ис-
кусство. Поэма. Вступительная статья Вадима
Перельмутера.
УП I 51

ПОЭЗИЯ

БАЙБИКОВ Илья. Пять
стихотворений.
III 115

БЛОХИН Дмитрий. Сти-
хи.
XII 122

ГАНДЕЛЬСМАН Влади-
мир. Новые стихи.
УШ 78

ЗАВАЛЬНЮК Леонид.
Через...
XI 84

КАЗИМИРОВА Екатери-
на. Стихи.
XII 86

КЕНЖЕЕВ Бахыт. На
букву «ы».
III 81

КОКОТОВ Алексей. Зна-
менитая игла.
X 52

КРАВЦОВ Константин.
Беспутный наш снег...
У I 73

НАЙМАН Анатолий.
Блеск на ноже.
I 48

НЫРКОВ Дмитрий. Сти-
хи.
XII 30

ПЕТРУШЕВСКАЯ Люд-
мила. Из летних запи-
сей. «Карамзиндеревен-
ский дневник» .
У 80

РИЗДВЕНКО Татьяна.
Кузьминки.
II 16

РИЦ Евгения. Стихи.
XII 48

РОЗЕН Марго Шол.
Одно стихотворение.
УП 85

САЛИМОН Владимир.
Колочая вода.
IY 112

УМКА. Стишки.
IX 70

**ПУБЛИЦИСТИКА
И ОЧЕРКИ**

АКСЕНОВ Василий. Са-
марский фестиваль.
III 127

БЕРЕЗОВЧУК Лариса. У
феминизма не женское
лицо.
I 104

КАНТОР Владимир. Рус-
ская империя и право-
славие.
УП 160

МАРТЫНОВ Игорь.
Большие русские на ма-
ленькой земле.
XI 172

МИЛЬДОН Валерий.
Единица – вздор, едини-
ца – ноль. Тургенев и Ниц-
ше – образы нигилизма.
XI 160

Русский журнал как вы-
зов
XI 149

СТОЛЯРОВ Андрей.
Время вне времен.
III 138

ХАЗАНОВ Борис. Твор-
ческий путь Геббельса.
У 164

ШИМОВ Ярослав. Чет-
вертый Рим, или Бесси-
лие сильных.
X 137

ШИМОВ Ярослав. Рос-
сия как необходимость.
III 130

Путевой Журнал

Рубрику ведет Андрей
БАЛДИН.

БАЛДИН Андрей. Мес-
торожение Александ-
ра Пушкина.
II 117

БАЛДИН Андрей. Поход
на букву «О». ГРИНЕВА
Гела. ГОЛОВАНОВ Васи-
лий, ЗАМЯТИН Дмит-
рий, БЕРЕЗИН Влади-

мир, БАЛДИН Андрей,
РАХМАТУЛЛИН Рустам,
ЗАМЯТИНА Надежда,
БАЛДИН Петр. Геопоэ-
тика и географика.
IY 152

БАЛДИН Андрей. ПРО-
КОПЬЕВ Алексей. Конь-
кобег. Гармонист.
XII 142

ГОЛОВАНОВ Василий.
Тотальная география
Каспийского моря.
Вступление и заключа-
ние ведущего рубрики
Андрея Балдина.
У I 146

РАХМАТУЛЛИН Рустам.
Красная площадь: опы-
ты метафизики.
X 146

**ВОСПОМИНАНИЯ.
ДОКУМЕНТЫ**

«...Гений не замедлит от-
кликнуться гению...»
Письма литераторов
Л.Н.Толстому. Публика-
ция, комментарии и пе-
ревод с английского Ва-
лентины Алексеевой
IX 184

«Я читаю о человеке
все...» Письма А.И.Булга-
кова к В.М.Позднееву.
Публикация и коммента-
рии Е.А.Яблокова.
XI 132

**ЛИТЕРАТУРНАЯ
КРИТИКА**

АКСЕНОВ Василий.
Чудо или чудачество. О
судьбе романа.
УП 171

АКСЕНОВА-ШТЕЙН-
ГРУД Светлана. Кто мы?
Диалоги в «Диалоге» .
XII 171

АНКУДИНОВ Кирилл.
Другие.
XI 176

АРСЕНЬЕВ Л. Записки
усомнившегося.
X 175

БАЛДИН Андрей. Чис-
тые числа.
I 185

ВАРЛАМОВ Алексей.
Пришвин, или Гений

жизни. Биографическое повествование.

I	130
II	151
ВАСИЛЬЕВА Светлана.	
Пустячок, идиома.	
УI	185

Достоевский в современном мире

Игорь ВОЛГИН. **Ничей современник.** * Игорь ЗОЛОТУССКИЙ. «Записки сумасшедшего» и «Записки из подполья».

* Петр НИКОЛАЕВ. **Амбивалентность художественного сознания Ф.М. Достоевского.** * Алексей ЦВЕТКОВ. **Достоевский и Эйн Рэнд.** * Игорь ВИНОГРАДОВ. **Религиозно-духовный опыт Достоевского и современность.** * Дмитрий БЫКОВ. **Достоевский и психология русского литературного Интернета.**

III	143
ЛИПОВЕЦКАЯ Ирина.	
Воспоминания для настоящего.	

XII	177
МИЛЬДОН Валерий.	
Лермонтов и Киркегор: феномен Печорина. Об одной русско-датской параллели.	

IY	177
Национальный бестселлер-2001	

UI	170
РЕМИЗОВА Мария. Кризис жанра. Литературные прения как способ уйти от ответственности.	

У	178
РЕМИЗОВА Мария. Война внутри и снаружи.	

UII	182
-----	-----

Тайна Горенштейна. Воспоминания Бориса ХАЗАНОВА, Леонида ХЕЙФЕЦА, Марка РОЗОВСКОГО, Евгения ПОПОВА, Анатолия НАЙМАНА, Виктора СЛАВКИНА, Юрия КЛЕПИКОВА, Михаила ЛЕВИТИНА.

IX	153
ЦВЕТКОВ Алексей. Империия лжи.	

II	146
----	-----

ПАНОРАМА

Анна КУЗНЕЦОВА о романе Александра Мелихова «Любовь к отеческим гробам». * Виталий ПУХАНОВ о книжной серии «Поэты свинцового века». * Валерий МИЛЬДОН о кн. Владимира Кантора «Русский европеец как явление культуры». * Мария МИХАЙЛОВА о кн. Нины Габриэлян «Хозяин травь». * Александр ЧАНЦЕВ о кн. Олега Крышталя «К пению птиц».

III	173
Валерий ШУБИНСКИЙ. Из других пространств (Арье Ротман. Нинвей). * Владимир ШПАКОВ. Остывшая Европа (Томас Бернхард. Стужа). * Екатерина НИСТРАТОВА. Таврический миф (Александр ЛЮСЫЙ. Пушкин, Таврида, Киммерия). * Александр ПАВЛОВ. Пазлы современного фольклора (Лариса ШУЛЬМАН. Чего уж там...).	

IY	183
----	-----

Александр ЛЮСЫЙ о томе 1 собр.соч. в 5 т. Сигизмунда Кржижановского. * Сергей ТЕЛЕГИН о книге В.И.Мильдона «Вершины русской драмы». * Борис ЕВСЕЕВ о книге Олега Чухно «Стволы и листья». * Михаил РОЩИН о «Письмах из деревни» Вячеслава Пьецуха. * Ирина КОВАЛЕВА о книге Томаса Венцлова «Граненый воздух».

X	180
---	-----

В стиле реплики

Пуханов ВИТАЛИЙ. **92-я параллель.**

IX	182
----	-----

Русское поле

Рубрику ведет Павел БА-СИНСКИЙ

I	188
---	-----

IY	187
----	-----

UII	186
-----	-----

XI	185
----	-----

XII	184
-----	-----

Золотой метр

Кобрин КИРИЛЛ. **Иван Грозный убивает сына своего Ивана?**

III	185
-----	-----

КОБРИН Кирилл. **Утопия больного.**

UII	180
-----	-----

КОБРИН Кирилл. **Музей.**

XII	180
-----	-----

Титульный лист

Рубрику ведет Александр ЯКОВЛЕВ

III-XI	190,191
--------	---------

XII	188
-----	-----

октябрь

предполагает опубликовать
в 2003 году:

Юрий БУЙДА	ОЕ животное. Повесть
Виталий ВУЛЬФ	Главы из новой книги
Анатолий ГАВРИЛОВ	Повесть
Андрей ГЕЛАСИМОВ	Рахиль. Повесть
Михаил ЗАДОРНОВ	Писатель, который разводил кошек
	Из цикла "Фантазии сатирика"
	Роман
Анатолий КИМ	Роман
Николай КЛИМОНТОВИЧ	Американская дырка. Роман
Павел КРУСАНОВ	Морские рассказы
Афанасий МАМЕДОВ,	
Исаак МИЛЬКИН	
Давид МАРКИШ	
	Рыжий. Повесть. Рассказы
	Красный квадрат. Повесть
Александр МИШАРИН	Белый, белый день. Роман
Вацлав МИХАЛЬСКИЙ	Весна в Карфагене. Семейный роман (1920-2001 гг.). Продолжение
	Записки актрисы
Нонна МОРДЮКОВА	Книга "Рассказы о чудесном"
Юнна МОРИЦ	Стихи
	Все и каждый. Роман
Анатолий НАЙМАН	Стихи
	Белая глина. Главы из книги
Александр НИЛИН	"Прости меня, Суок, что значит вся
Юрий ОЛЕША	жизнь". Переписка с женой
	Вольная проза
	Рассказы
Олег ПАВЛОВ	Уроки родной истории. Пособие для
Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ	юношества, агностиков и вообще
Вячеслав ПЬЕЦУХ	Книга о терроризме
	Книга об Олеге Ефремове
Эдвард РАДЗИНСКИЙ	Детский мир. Роман
Михаил РОЩИН	Рассказы в рубрике
Павел САНАЕВ	"Место жительства"
Михаил ТАРКОВСКИЙ	Роман. Рассказы
	Рассказы
Антон УТКИН	Рассказы
Александр ХУРГИН	Рассказы
Евгений ШКЛОВСКИЙ	Цикл рассказов
Асар ЭППЕЛЬ	Рассказы
Сергей ЮРСКИЙ	Рассказы

В рубрике "ПУТЕВОЙ ЖУРНАЛ" - ведущий Андрей БАЛДИН - статьи, эссе Василия ГОЛОВАНОВА, Рустама РАХМАТУЛЛИНА, Гелы ГРИНЕВОЙ и др. Статьи философов Владимира КАНТОРА и Александра СЕКАЦКОГО, политолога Ярослава ШИМОВА, культуролога Ларисы БЕРЕЗОВЧУК, критика Марии РЕМИЗОВОЙ, а также новые произведения Василия АКСЕНОВА, Петра АЛЕШКОВСКОГО, Аркадия БАБЧЕНКО, Дмитрия БЫКОВА, Алексея ВАРЛАМОВА, Светланы ВАСИЛЬЕВОЙ, Марины ВИШНЕВЕЦКОЙ, Игоря ВОЛГИНА, Нины ГОРЛАНОВОЙ, Владимира КАЧАНА, Кирилла КОБРИНА, Михаила ЛЕВИТИНА, Алексея ЛУКЪЯНОВА, Владимира МАКАНИНА, Александра МЕЛИХОВА, Владислава ОТРОШЕНКО, Лилии ПАВЛОВОЙ, Юрия ПЕТКЕВИЧА, Григория ПЕТРОВА, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Валерия ПОПОВА, Евгения ПОПОВА, Владимира САЛИМОНА, Ольги СЛАВНИКОВОЙ, Леонида ФИЛАТОВА, Бориса ХАЗАНОВА и др.

ПРЕМИИ
Октябрь
за 2002 год

Анатолий Найман
Б.Б. и др.
роман

Евгений Попов
МАСТЕР ХАОС

Виталий Вульф
ПРЕОДОЛЕНИЕ СЕБЯ

Андрей Геласимов
ЖАЖДА
повесть

Анатолий Гаврилов
БЕРЛИНСКАЯ ФЛЕЙТА
повесть

Вячеслав Пьецух
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ
К ПОСЛОВИЦАМ РУССКОГО НАРОДА

Василий Аксенов
ЧУДО ИЛИ ЧУДАЧЕСТВО
статья о судьбе романа

проект

ПУТЕВОЙ ЖУРНАЛ

ведущий **Андрей Балдин**,
авторы - **Василий Голованов**,
Рустам Рахматуллин, **Гела Гринева**,
Дмитрий Замятин, **Надежда Замятина**,
Владимир Березин, **Алексей Прокопьев**